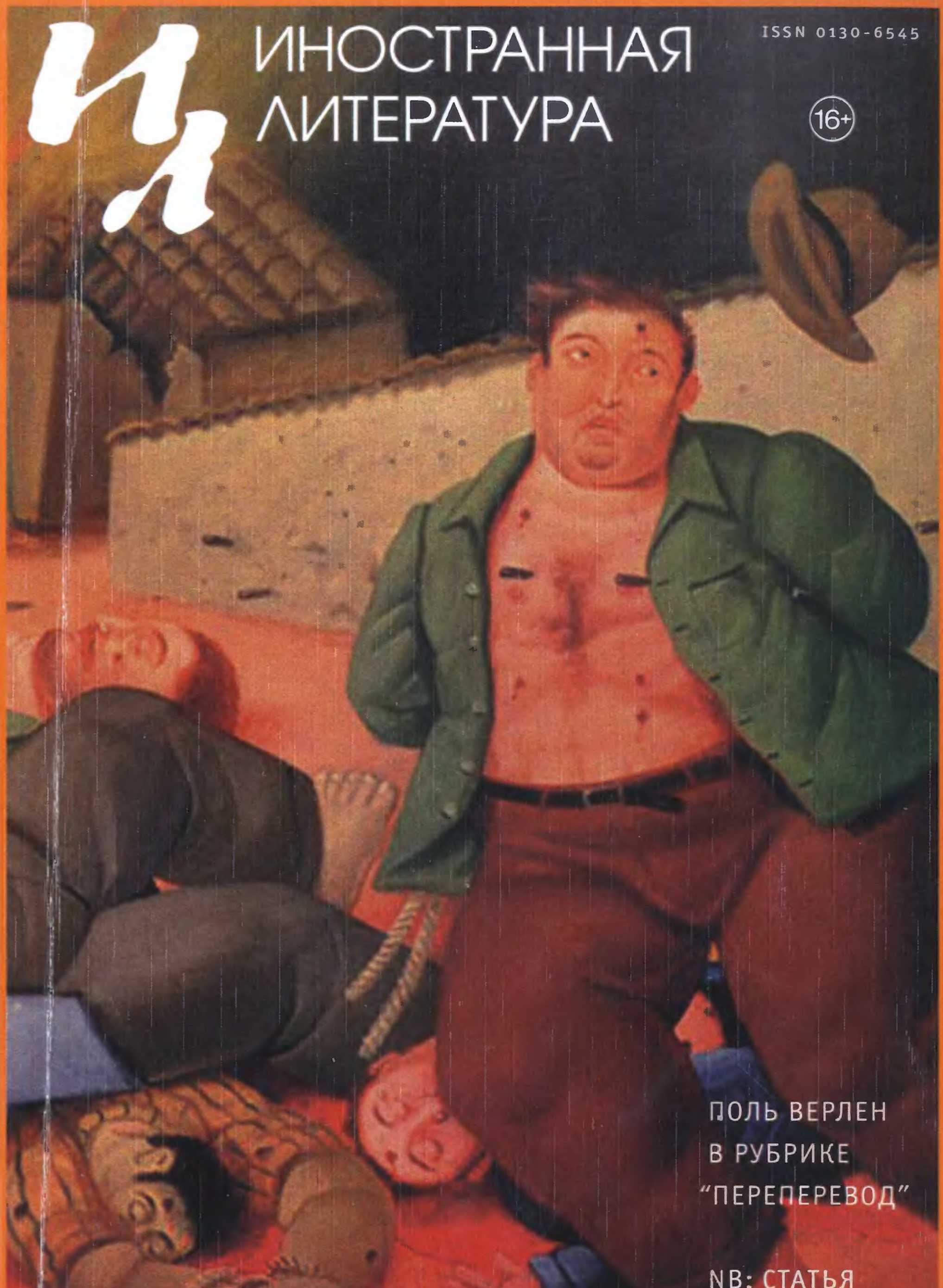
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



ПОЛЬ ВЕРЛЕН
В РУБРИКЕ
“ПЕРЕПЕРЕВОД”

NB: СТАТЬЯ
РИЧАРДА
ПРЕСТОНА
“ВОЙНА
С ВИРУСОМ
ЭБОЛА”

РОМАН
ЭВЕЛИО РОСЕРО
“ВОЙНА”

2017
4

Основан в 1955 году

[4]
2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Эвелио Росеро *Война.* Роман. Перевод с испанского Ольги Кулагиной

107 *Из португальской поэзии XX–XXI веков: традиция и поиск.* Перевод и вступление Ирины Фещенко-Скворцовой

В малом жанре

126 Лидия Дэвис *Рассказы.* Перевод с английского Е. Суриц

150 Цэрэнтулгын Тумэнбаяр *Шаманка.* Рассказ. Перевод с монгольского С. Эрдэмбилэга

162 Ласло Дарваши *Рассказы.* Перевод с венгерского Максима Леонова

170 Цю Хуадун *Халат с драконами.* Рассказ. Перевод с китайского Алины Перловой

190 Милован Марчетич *Рассказы.* Перевод с сербского Василия Соколова

Переперевод

205 Поль Верлен *"Все остальное в пределах текста".* Перевод с французского и вступление Михаила Яснова

№

215 Ричард Престон *Война с вирусом Эбола. Как геномические исследования помогают сдержать распространение эпидемии.* Перевод с английского Александра Авербуха

Писатель путешествует

243 Янош Хаи *Indian Time and My Father. Убежище, или Остров скуки: Швейцария.* Очерки. Перевод с венгерского Юрия Гусева

Ничего смешного

269 Ролан Топор *Рассказы из сборника "Кафе 'Паника'".* Перевод с французского Софии Спиридоновой

БиблиофИЛ

275 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

Авторы номера

281

© "Иностранная литература", 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Редакция :

С. М. Гандлевский

К. А. Жолудева

Е. Д. Кузнецова

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

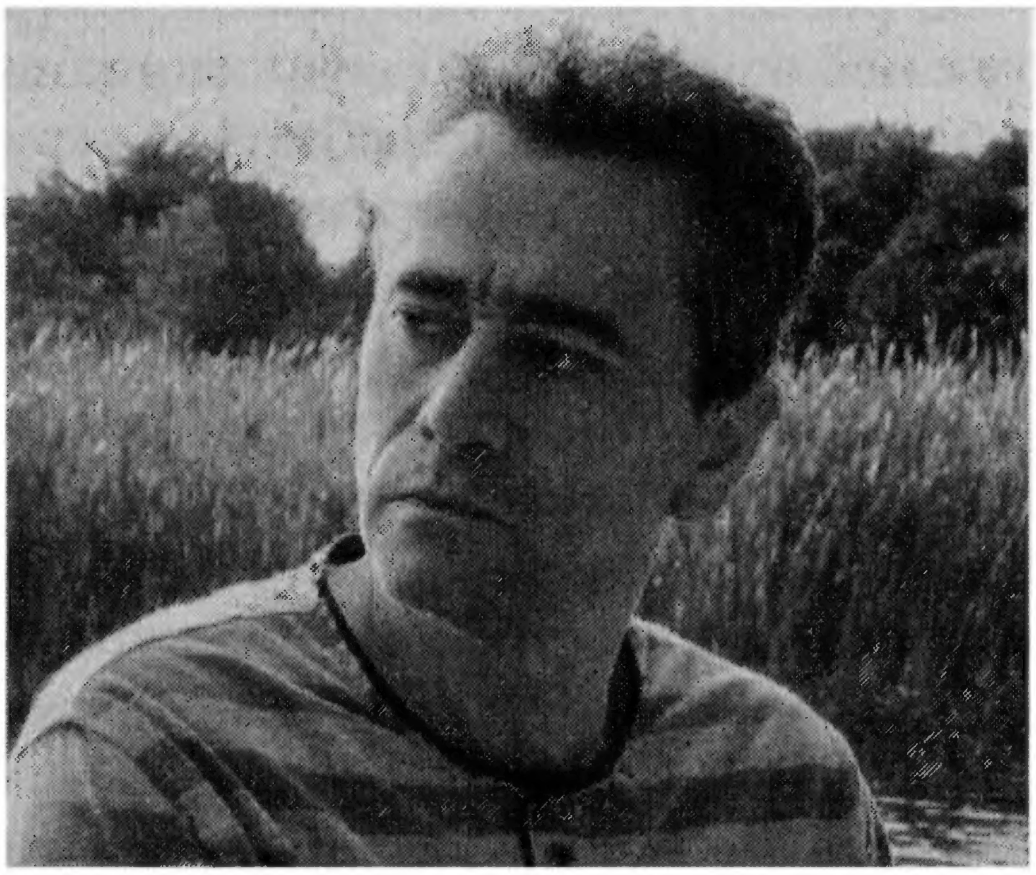
Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Эвелио Росеро



Война

Роман

Перевод с испанского Ольги Кулагиной

Посвящается Сандре Паес

А не опасно притворяться мертвым?

Мольер

ОБЫЧНО бывало так: в доме бразильца целыми днями смеялись гуакамайо[1] — я слышал их через ограду, когда стоял на приставной лестнице и собирал в большую пальмовую корзину свои апельсины; иногда я чувствовал спиной пристальные взгляды трех котов, сидевших каждый на своем миндальном дереве, а что они мне говорили? да ничего, я никогда их не понимал. Еще дальше за моей спиной жена кормила рыбок в пруду; так мы и старились: она и я, рыбки и коты, а что мне говорили моя жена и рыбки? да ничего, я никогда их не понимал.

© Evelio Rosero, 2007
© Ольга Кулагина. Перевод, 2017

1. Крупный попугай с яркой окраской. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Солнце уже вовсю приступало к делу.

Жена бразильца, стройная Жеральдина, грелась на веранде, совершенно голая, растянувшись ничком на пестром красном матрасе. Рядом с ней в прохладной тени хлопкового дерева огромные руки бразильца умело перебирали струны гитары, и голос его звучал спокойно и протяжно, перемежаемый ласковым смехом гуакамайо; так и текло время у них на веранде, с солнцем и музыкой.

На кухне красивая кухарочка — все называли ее Грасиэлитой — мыла посуду, взобравшись на желтую табуретку. Я видел ее через неостекленное окно, выходившее в сад. Надраивая посуду, она непроизвольно вертела попой: под короткой белоснежной юбкой каждый миллиметр ее тела ходил ходуном в такт неистовой, увлеченной работе; тарелки и чашки так и сверкали в смуглых руках, иногда из них выныривал зубчатый ножик, сияющий и счастливый, но все равно как будто окровавленный. Он тоже не давал мне покоя, этот как будто окровавленный ножик, не только Грасиэлита. Сын бразильца Эусебито подглядывал за ней, а я следил, как он, сидя под столом с ананасами, подглядывает, но она, святая простота, думала о своем и ничего не замечала. Бледного и дрожащего Эусебито — это были первые тайны, которые он для себя открывал, — завораживали, лишали покоя мягкие белые трусики на упитанных ягодицах, и, хотя разглядеть их с такого расстояния я не мог, это лишь усугубляло дело: я их себе представлял. Грасиэлите, как и Эусебито, исполнилось двенадцать. Она была почти толстушкой, но складной, с розовым румянцем на золотистых щеках, черными кудрявыми волосами и черными глазами, а ее грудь, два маленьких крепких плода, торчала так, будто тянулась к солнцу. Грасиэлита рано осиротела, потеряв родителей во время последней атаки на наш город какой-то из армий: то ли боевиков, то ли партизан; заряд динамита взорвался тогда посреди церкви, где перед обрядом причастия собралась добрая половина горожан (шла первая месса Великого четверга), четырнадцать человек погибло, шестьдесят четыре получили ранения, а девочка чудом уцелела, потому что в это время продавала в школе сахарные фигурки; с тех пор уже два года по рекомендации падре Альборноса она жила и работала в доме бразильца. Под умелым руководством Жеральдины Грасиэлита научилась готовить и даже придумывать собственные блюда, так что Жеральдина уже целый год, не меньше, и не вспоминала о кухне. Я об этом знал, потому что видел, как жена бразильца каждое утро загорает и пьет вино, то лежа, то стоя, заботясь лишь о цвете кожи и натуральном аромате во-

лос, как будто речь шла о цвете и качестве ее души. Неспроста ее длинная каштановая шевелюра крылом накрывала любую улицу Сан-Хосе, нашего доброго городка, когда Жеральдина доставляла нам удовольствие своим выходом на прогулку. Предприимчивая и еще молодая Жеральдина хранила у себя весь заработок Грасиэлиты: “Когда тебе исполнится пятнадцать, — говорила она Грасиэлите, — я отдам тебе все до последнего песо и много чего в придачу. Ты сможешь выучиться на портниху, заживешь в достатке, выйдешь замуж, мы станем крестными твоего первенца, и ты будешь навещать нас каждое воскресенье, правда, Грасиэлита?”, и смеялась, я это слышал, и Грасиэлита тоже смеялась; в этом доме у девочки была своя комната, где по вечерам ее ждали собственная кровать и куклы. Мы, ближайшие соседи, могли положа руку на сердце подтвердить, что с ней обращались, как с родным ребенком.

В любое время дня дети могли обо всем забыть и играть в пронизанном солнцем саду. Я их видел. Я их слышал. Они носились между деревьями, скатывались в обнимку с мягких травянистых склонов, окружавших дом, а после игры, после бессознательно сплетенных рук, соприкасающихся шей и ног, смешанного дыхания, оправлялись восхищенно наблюдать, как прыгает желтая лягушка или как причудливо извивается между цветами змея, заставляя их цепенеть от страха. Рано или поздно раздавался голос с веранды — голос Жеральдины, все такой же голой, вибрирующей в солнечном мареве, и ее голос тоже напоминал пламя, обжигающее, но гармоничное. Она кричала: “Грасиэлита, пора подметать в коридорах”.

Дети прекращали игру, и унылое разочарование возвращало их на землю. Грасиэлита опрометью мчалась через сад, чтобы взять метлу, белое форменное платье волновалось у нее на животе, как знамя, облепляя юное тело и прорисовывая лобок; Эусебито бросался за ней и незаметно, против воли, втягивался в новую игру, в лихорадочное возбуждение, роднившее его со мной, хоть он и был ребенком, в пугающую игру, в эту непривычную, но неумолимую потребность шпионить за ней, жадно разглядывать ее профиль, мечтательные, как у прощенной грешницы, глаза, икры, круглые коленки, ноги целиком, бедра, а если повезет — и то, что повыше, в глубине.

— Учитель, вы целыми днями торчите над этой оградой, вам не надоело?

— Нет. Я собираю апельсины.

— Но не только. Еще вы пялитесь на мою жену.

Мы с бразильцем некоторое время пристально смотрим друг на друга.

— Похоже, ваши апельсины очень хороши, — говорит он. — Но моя жена лучше, правда?

Мы улыбаемся. Что нам еще остается.

— Наверно, — говорю я. — Вам виднее.

Я не смотрел на его жену, только на Грасиэлиту, однако в этот момент поневоле скосил глаза в ту часть веранды, где Жеральдина, лежа ничком на матрасе, как будто разминала затекшее тело. Ее ноги и руки тянулись во все стороны. Казалось, я вижу не ее, а какое-то сверкающее насекомое; вдруг она рывком вскочила на ноги — эдакий радужный кузнечик — и сразу же превратилась в обнаженную женщину и только; она оглянулась на нас и пошла в нашу сторону с уверенной кошачьей неспешностью, то скрываемая тенью гваяковых деревьев, то оглаживаемая ветвями столетнего хлопкового дерева, то словно истребляемая солнцем, которое не столько высвечивало ее, сколько затемняло своими чистыми лучами, словно глотая ее целиком. Так она шла к нам, похожая на виденье.

Эусебио Альмида, бразилец, держал в руках легкую бамбуковую трость и похлопывал ею по грубым бриджам цвета хаки. Он только что вернулся с охоты. Между спорадическими смешками гуакамайо я слышал нетерпеливый цокот его лошади. Голая жена бразильца приближалась, обходя по кафельной дорожке небольшой круглый бассейн, бразилец за ней наблюдал.

— Я знаю, что ей все равно, — с обезоруживающей улыбкой сказал он. — Не это меня беспокоит. Меня беспокоите вы, учитель, у вас сердце не болит? Сколько, вы говорите, вам лет?

— Я ничего не говорю.

— В чувстве юмора вам не откажешь, это правда.

— А что тут говорить? — я поглядел на небо. — Я учил грамоте нынешнего алькальда и падре Альборноса, обоих таскал за уши, и, смотрите-ка, не зря; и теперь не помешало бы этим заняться.

— Вы все превращаете в шутку, учитель. Это ваш способ уходить от темы.

— От темы?

Но его жена уже стояла рядом, хотя меня от нее отделяли ограда и годы. На ее лбу блестели капли пота. Она вся светилась от удовольствия, начиная с розоватой линии, уходившей вниз от пупка и покрытой редкими волосками — я скорее угадывал ее, чем видел, — до смеющегося рта с мелкими зубами, растянутого так, будто она плачет:

— Сосед, — крикнула она, как обычно, громко и весело, — очень хочется пить, не угостите апельсином?

Благодушно обнявшись, они стояли на два метра ниже меня. Их глаза на молодых, веселых, запрокинутых к небу лицах наблюдали за тем, что я делаю. Я выбрал самый лучший апельсин и стал его чистить, а они ждали, беззаботно покачиваясь, забавляясь происходящим. Было похоже, что ее нагота не смущала ни его, ни ее. Она смущала только меня, но я скрывал свое страшное, непреодолимое волнение, делая вид, что женская нагота меня давно не беспокоит, да и не может беспокоить. Я протянул ей апельсин.

— Осторожно, учитель, упадете, — сказал бразилец. — Лучше бросайте. Я поймаю.

Но я перегнулся через ограду и потянулся вниз: ей оставалось только сделать шаг и взять апельсин. Удивленно приоткрыв рот, она шагнула вперед, взяла апельсин и снова рассмеялась от удовольствия.

— Спасибо.

Горько-сладкая волна поднялась от ее покрасневшего рта. Я уверен, что эта горько-сладкая эйфория накрыла нас обоих.

— Как видите, — сказал бразилец, — Жеральдина не стесняется ходить при вас нагишом.

— И правильно делает, — сказал я. — За свои годы я всякого насмотрелся.

Жеральдина прыснула, словно стайка голубей неожиданно взлетела на край ограды. Но посмотрела на меня с искренним любопытством, как будто впервые заметила. Мне было все равно. Рано или поздно она должна была меня заметить. Она как будто вспыхнула, но только на секунду, и сразу опомнилась, или погрустнела, или пожалела меня. Мое состарившееся лицо, близкая смерть, безгрешность преклонных лет заставили ее угомониться. Она еще не чувствовала, что мой нос, все мое существо жадно впитывает флюиды ее тела, смешанный запах мыла, пота, апельсиновой кожуры и спрятанных в мякоти косточек. Держа апельсин в руках, она расчленяла его на дольки. Наконец, поднесла одну дольку к губам, быстро облизнула, с упоением отправила в рот и стала жевать; по ее губе поползли яркие капли.

— Ну не прелесть ли наш сосед? — сказал бразилец, ни к кому не обращаясь.

Жеральдина глубоко вздохнула. Она выглядела изумленной, но, как бы там ни было, все равно властительницей мира. С улыбкой она щурилась на солнце.

— Да, — рассеянно ответила она, — конечно.

И они пошли в обнимку к тени, но, сделав длинный шаг, она остановилась, оглядела меня, широко расставив ноги — солнечные лучи падали прямо на нее, — и крикнула так, словно экзотическая птица пропела:

— Спасибо за апельсин, сеньор.

На этот раз она не назвала меня соседом.

Едва обратившись ко мне, она сразу поняла, что я не в лицо ей так пристально смотрю. Она поняла, что мои глаза, словно водоворот, полный неведомой силы (так, верно, она подумала), страдая, устремились вниз, к приоткрытой сердцевине, к другим устам, готовым заговорить самым интимным тоном. "Ну, смотри на меня, — кричали другие ее уста, кричали, несмотря на мою старость, а может, именно из-за нее, — смотри на меня, если смеешь".

* * *

Я старый, но не настолько, чтобы вообще меня не замечать, подумал я, спускаясь по приставной лестнице. Жена уже поджидала меня с двумя стаканами лимонада — обычным приветствием, которое готовила нам по утрам. Она посмотрела на меня высокомерно и печально.

— Я знала, что когда-нибудь они над тобой посмеются, — сказала она. — Шпионишь каждое утро, и не стыдно?

— Нет, — сказал я. — А чего мне стыдиться?

— Самого себя, в твои-то годы.

Мы молча выпили лимонад. Мы не разговаривали, как обычно, о рыбах, котах и апельсинах, которые не столько продаем, сколько дарим. Не выясняли названия незнакомых цветов, новых побегов, не обсуждали перепланировку сада, хотя в этом состоит наша жизнь. Мы сразу пошли на кухню и позавтракали, думая каждый о своем, хотя черный кофе, яйца "в мешочек" и жареные ломтики бананов помогали, конечно, отвлечься от ссоры.

— На самом деле меня беспокоишь не ты, — заговорила, наконец, жена. — Тебя я знаю сорок лет. И не они. Вас не исправишь. Но дети! Что творит эта голая сеньора, когда прогуливается нагишом перед сыном, перед бедняжкой Граси-элитой? Чему она их учит?

— Дети ее не видят, — сказал я. — Они, похоже, ее даже не замечают. Когда она загорает голая, а бразилец поет, дети всегда играют в другом месте. Они просто привыкли.

— Много ты знаешь. Думаю, тебе нужно обратиться за помощью. К падре Альборносу, например.

— За помощью? — удивился я. И удивился еще сильнее: — К падре Альборносу?

— Я не слишком задумывалась над этой твоей манией, но мне кажется, в твоем возрасте она опасна. Падре мог бы выслушать тебя и сказать что-нибудь более дельное, чем я. Если честно, ты меня больше не интересуешь. Мои рыбы и коты для меня важнее, чем жалкий старик.

— Падре Альборнос! — от удивления я даже рассмеялся. — Мой бывший ученик. Которого мне самому приходилось исповедовать.

И я ушел, чтобы лечь на кровать и почитать газету.

Моя жена, как и я, — учитель на пенсии; нам обоим министерство просвещения задолжало пособие за десять месяцев. Жена работала в школе города Сан-Висенте, где родилась и выросла, в шести часах пути от Сан-Хосе, в котором родился я. В Сан-Висенте я и познакомился с ней сорок лет назад на автобусной станции — в те времена это был огромный навес из цинковых листов. Я увидел ее среди мешков с фруктами и лотков с кукурузным хлебом, среди собак, свиней и кур, среди дыма выхлопных газов и пассажиров, томившихся в ожидании своих рейсов. Она сидела одна на металлической скамейке, предназначенной для двоих. Меня заворожили ее черные мечтательные глаза, широкий лоб, тонкая талия и крутые бедра под розовой юбкой. Светлая льняная блузка с короткими рукавами открывала восхищенному взгляду точеные белые руки и темнеющие через ткань бугорки сосков. Я, было, разлетелся сесть рядом, но она вскочила, сделала вид, что поправляет волосы, украдкой покосилась на меня, отошла и стала нарочито внимательно изучать плакаты транспортной компании. И тут произошло событие, которое отвлекло меня от ее необычной красоты, красоты горянки; только что-то подобное могло заставить меня отвести от нее глаза: на соседней скамье сидел человек, уже немолодой, весьма упитанный, одетый во все белое, в белой шляпе и с белым же носовым платком в нагрудном кармане; он жадно поглощал мороженое, тоже белое; этот белый цвет пересилил мою вспыхнувшую с первого взгляда любовь — уж слишком он был белый; капли пота густо покрывали бычью шею толстяка, он изнывал от жары, хотя сидел прямо под вентилятором; его туша по-хозяйски вальяжно расползлась на всю скамью; на пальцах обеих рук блестели серебряные перстни; рядом стоял пухлый кожаный портфель; незнакомец производил вполне благопристойное впечатление, его голубые глаза рассеянно бродили по сторонам, умиротворенные и спокойные, один раз они скользнули по мне и больше ко мне не возвращались. К нему подошел другой человек, полная его

противоположность: истощенный юнец, босой, в майке и коротких обтрепанных штанах, он приставил ко лбу толстяка револьвер и выстрелил. Дым из ствола накрыл даже меня; для всех присутствующих, включая жертву, действие разворачивалось, как во сне — незнакомец в белом костюме успел только моргнуть, и, даже когда револьвер уже выстрелил, еще казалось, что он и дальше будет уплетать свое мороженое. Человек с револьвером выстрелил только раз; толстяк закрыл глаза и осел на бок, но не упал, а как будто вдруг уснул; убитый наповал, он продолжал сжимать в руке мороженое; убийца отшвырнул оружие, которое никто не стал ни искать, ни поднимать, и вышел со станции так спокойно, как будто ни одна душа не смогла бы этому воспрепятствовать. Но за секунду до того, как бросить револьвер, он посмотрел на меня — я сидел к толстяку ближе всех, — никогда в жизни я не напарывался на такой мертвый, каменный взгляд; эти глаза не оставляли сомнений, что сейчас он выпустит все оставшиеся пули и в меня. Именно тогда я понял, что убийца — не молодой человек, а ребенок, ребенок одиннадцати-двенадцати лет. Я так никогда и не узнал, погнался ли кто-нибудь за ним, задержали его или нет, и не посмел наводить справки; но не эти глаза потрясли меня до тошноты, а физический ужас при мысли, что передо мной ребенок. Ребенок, и, видимо, поэтому — с полным основанием и, одновременно, без всяких оснований — я еще сильнее испугался, что он меня убьет. Под общий крик толпы я бросился прочь от него в поисках туалета, не соображая еще, тошнит меня или приспичило по малой нужде. Несколько мужчин окружили труп, никто не преследовал убийцу: все побоялись, а может, решили, что это ни к чему. Я вошел в туалет, маленькое помещение с треснувшими мутными зеркалами и единственной кабинкой в глубине, напротив входа — она была похожа на ящик, сколоченный, как и вся автостанция, из цинковых листов. Я толкнул дверь и увидел ее в тот момент, когда она садилась: юбка подобрана до талии, ноги испуганно стиснуты, настолько же белые, насколько и голые. Я печально и чистосердечно сказал “извините” и сразу закрыл дверь именно с такой скоростью, чтобы еще раз взглянуть на нее, на неумолимую упругость ее ягодиц, пытавшихся сжаться под задранной юбкой, на ее полуголое тело, на глаза, ставшие в два раза больше от страха и неожиданности, и на тайное торжество в сияющих зрачках, вспыхнувшее от сознания, что ею восхищаются — в этом я уверен теперь. И вот такая судьба: нам достались соседние места в допотопном автобусе, который вез нас в столицу. Впереди маячило долгое путешествие — более восемнад-

цати часов; поводом для разговора стала гибель толстяка в белом; я ощущал не только каждое случайное соприкосновение с ее рукой, но и страх, гнев, все переживания моей будущей жены. И вот такое совпадение: у нас была общая профессия, кто бы мог подумать! правда? два учителя, простите за назойливость, а как вас зовут? (молчание), меня зовут Исмаэль Пасос, а вас? (молчание) – она слушала, не произнося ни слова, и наконец: "Меня зовут Отилия дель Саграрио Альдана Окампо". Общие чаяния. Вскоре убийство и случай в туалете отодвинулись в прошлое – по крайней мере, внешне, потому что я продолжал думать об этом, снова и снова связывая те события в какую-то абсурдную последовательность: сначала смерть, потом ее оголенное тело.

Моя жена по-прежнему на десять лет моложе меня, ей шестьдесят, но с виду больше, она причитает и горбится при ходьбе. Нет, это совсем не та двадцатилетняя девушка, что сидела на общественном унитазе: глаза, как два прожектора над островком подоткнутой юбки, стиснутые бедра и треугольник между ними, странный зверек. Теперь она старая, ко всему привыкшая и всем довольная, она проживает жизнь в этой стране и в этой войне, занятая своим домом, трещинами в стенах, возможными протечками в крыше, хотя крики войны раздирают ее слух, но в решающий момент она такая же, как все, и я радуюсь ее радостям, и, если бы она теперь любила меня, как любит своих рыбок и котов, я, может быть, и не стал бы подглядывать через ограду.

Может быть.

– С тех пор как я тебя знаю, – говорит она мне в тот вечер перед сном, – ты никогда не переставал подглядывать за женщинами. Я бы бросила тебя еще сорок лет назад, если б узнала, что ты пошел дальше. Но, как видишь, нет.

Я слышу ее вздох и, кажется, вижу облачко пара, взлетевшее над кроватью и накрывшее нас обоих:

– Ты был и остался безобидным бестолковым ротозеем.

Теперь вздыхаю я. Это смирение? Не знаю. Я решительно закрываю глаза, но все равно слышу ее слова:

– Сначала было трудно, я страдала, зная, что ты не только подглядываешь целыми днями, но еще и учишь детей в школе. Кто бы мог подумать, правда? Но я за тобой наблюдала, хотя, повторяю, только сначала, потому что убедилась: на самом деле ты никогда не совершал ничего предосудительного, ничего плохого, грешного, в чем бы нам пришлось раскаиваться. По крайней мере, я так думала или хочу так думать, Господи.

Тишину можно видеть, как и вздох. Она желтая, выделяется из каждой поры и поднимается к окну, словно туман.

— Меня огорчало это твое пристрастие, — говорит она и как будто улыбается, — но я к нему быстро привыкла, я забыла о нем много лет назад. Почему забыла? Потому что раньше ты всегда тщательно следил за тем, чтобы тебя не поймали, и я была единственной, кто знал. Помнишь, когда мы жили в том красном здании, в Боготе. Вспомни: ты днем и ночью шпионил за соседкой из дома напротив, пока не узнал ее муж. Он выстрелил в тебя из соседней комнаты, и ты сам мне говорил, что пуля взъерошила тебе волосы; а что, если бы он тебя убил, этот поборник чести?

— У нас не было бы дочери, — сказал я.

И рискнул, наконец, дать задний ход:

— Я, пожалуй, буду спать.

— Ты не будешь спать, Исмаэль; уже много лет ты засыпаешь, как только я хочу поговорить. Сегодня ты будешь меня слушать.

— Да.

— Я прошу тебя быть благоразумным. Ты должен помнить об этом, как бы ты ни состарился. То, что сегодня случилось, порочит не только тебя, но и меня. Я все слышала; я ведь не глухая, как ты воображаешь.

— Ты тоже вроде шпионки.

— Да. Шпионю за шпионом. Ты стал неосторожным. Я видела тебя на улице. Ходишь и пускаешь слюни, Исмаэль. Я благодарю Бога, что наша дочь и внуки живут далеко и не видят тебя таким. Какой стыд перед бразильцем, перед его женой! Ладно, пусть они делают, что хотят, каждый хозяин своему телу и дурным наклонностям, но то, что они поймали тебя, когда ты, как больной, подглядывал через ограду, — это позор, и он ложится и на меня тоже. Поклянись, что больше не полезешь на ограду.

— А как же апельсины? Кто соберет апельсины?

— Я уже подумала об этом. Только не ты.

* * *

Уже четвертый год девятого марта мы навещаем Ортенсию Галиндо. Это день, когда многие друзья стараются помочь ей пережить пропажу мужа, Маркоса Сальдарриаги, который теперь в объятиях Бога или божественной Глории, как шутили злые языки, намекая на Глорию Дорадо, его официальную любовницу.

Визит принято наносить ближе к вечеру. Полагается спросить, что нового, и ответ всегда один и тот же: *ничего не*

известно. В доме собираются друзья, знакомые и незнакомые, пьют ром. На длинном дворе, заполненном гамаками и креслами-качалками, развлекается, пользуясь случаем, молодежь, в том числе близнецы, сыновья Сальдарриаги. А в доме мы, старики, окружаем Ортенсию и слушаем ее разговоры. Она уже не плачет, как прежде; можно подумать, что она смирилась, как знать, но на вдову она не похожа: говорит, что ее муж жив, и Бог поможет ему вернуться к своим; ей, должно быть, около сорока, хотя на вид и меньше; она молода душой и лицом и щедро одарена плотью, более чем пышной; Ортенсия благодарит нас за то, что мы не оставили ее одну в годовщину исчезновения мужа, благодарит довольно необычно: вознося хвалу Господу, она оглаживает ладонями грудь, два идеально круглых арбуза, и дрожит — я не знаю, один ли замечаю этот жест, но она повторяет его из года в год, а может, она просто указывает на свое сердце? как знать? последние два года здесь, в ее доме, даже играет музыка, и угодно это Богу или нет, но люди словно забывают о страшной участи пропасть без вести и даже о возможной смерти пропавшего. Люди забывают обо всем на свете, ничего тут не попишешь, особенно молодые — эти не помнят даже сегодняшнего дня и потому почти счастливы.

Так что в последний раз там были танцы.

— Давайте потанцуем, — предложила Ортенсия Галиндо, выйдя на освещенный двор, где молодежь собиралась в новые пары. — Маркос был бы рад. Он всегда был веселым человеком, таким и *остался*. Я уверена, что самый замечательный праздник мы устроим после его возвращения.

Это случилось в прошлом году, и падре Альборнос ушел, чрезвычайно раздосадованный таким решением:

— Выходит, жив он или мертв — не важно, — сказал падре, — все равно танцевать.

Он ушел. И не услышал или не захотел услышать ответ Ортенсии Галиндо:

— Если мертв, это ничего не меняет: ведь я влюбилась в него на танцах, и это чистая правда.

И теперь мы не знаем, захочет ли падре Альборнос навестить Ортенсию Галиндо. Возможно, нет. Мы с женой обсуждаем этот вопрос, пока идем через весь город. Наш дом на противоположной окраине, и мы поддерживаем друг друга, ковыляя под руку, вернее, Отилия поддерживает меня; я привык только к одному физическому упражнению: забраться на приставную лестницу в нашем саду, лечь на нее, как на почти вертикальное ложе, и собирать апельсины; это увлекатель-

ное, неторопливое занятие, оно открывает мне по утрам отличный вид на все, что достойно взгляда.

А вот ходьба с недавних пор превратилась для меня в настоящую пытку: болит левое колено, распухают ступни; но я не причитаю на людях, как моя жена, которая страдает варикозным расширением вен. И с палкой ходить не хочу, и не обращаюсь к доктору Ордусу, потому что уверен: он пропишет мне палку, а этот предмет с детства ассоциируется у меня со смертью, ведь первым покойником, которого я увидел, был мой дед — он стоял в своем дворе, прислонясь к стволу авокадо: голова свесилась на грудь, соломенная шляпа наполовину закрыла лицо, в окаменевших руках палка, зажатая между колен. Я подумал, что дед спит, но вскоре услышал бабушкин вой: “Стало быть, ты умер и бросил меня одну, а мне что прикажешь делать? тоже умирать?”.

— Послушай, — говорю я Отилии, — мне надо поразмыслить над вчерашним. Из-за тебя мне неудобно людям в глаза смотреть, и что ты имела в виду, когда сказала, что я пускаю на улице слюни? Погоди, не отвечай. Я хочу побыть один. Зайду к Чепе, выпью кофе и догоню тебя.

Она останавливается и смотрит на меня, изумленно открыв рот.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

— Лучше не бывает. Просто пока не хочу идти к Ортенсии. Но я приду.

— Я рада, что ты раскаиваешься, — говорит жена. — Но зачем уж так сильно!

Кафе Чепе находится рядом с нами, на обочине дороги. Сейчас пять вечера, и столики вдоль тротуара пока свободны. К одному из них я подхожу. Жена — белое платье в красный цветочек — все еще стоит посреди дороги.

— Я подожду тебя там, — говорит она. — Не задерживайся. Неприлично мужу и жене приходить порознь.

Она идет дальше.

Я придвигаю ближайший стул и устало плюхаюсь на него. Колено горит изнутри, все целиком. Боже мой, я все еще обретаюсь на этом свете, и только потому, что не смог пока себя убить.

— Какую музыку предпочитаете, учитель?

Чепе выходит из кафе, он несет мне пиво.

— На твой вкус, Чепе, но пива я не хочу, принеси мне крепкий кофе. Пожалуйста.

— Почему у вас такое лицо, учитель? Вы не хотите идти к Ортенсии? Там хорошо кормят, если я не ошибаюсь.

— Я устал, Чепе, устал просто от ходьбы. Я обещал Отилии, что догоню ее через десять минут.

— Ладно, принесу вам такой крепкий кофе, что не сможете потом уснуть.

Пиво Чепе оставляет на столе:

— Заведение угощает.

Несмотря на вечернюю прохладу, незнакомая глубокая боль вознамерилась испепелить мое колено, и мне кажется, что в нем сосредоточился весь жар земли. Я выпиваю половину пива, но огонь в колене становится нестерпимым, и, убедившись, что Чепе не наблюдает за мной из-за стойки, я закатываю штанину и выливаю на колено все оставшееся пиво. Боль не отпускает. “Придется идти к Ордусу”, — говорю я себе — видимо, я сдался.

Вечереет, на улице зажигаются фонари — желтые, тусклые, они собирают вокруг себя длинные тени и, похоже, не разгоняют, а только сгущают тьму. Не знаю, сколько времени сидят за соседним столиком две сеньоры, две болтливые сороки, имена которых я смогу вспомнить: они были моими ученицами. Они заметили, что я их заметил. “Наш учитель”, — говорит одна из них. Я киваю в ответ на ее приветствие. “Наш учитель”, — повторяет она. Я узнал ее и теперь напрягаю память: она это была или не она? Младшеклассница в пыльных зарослях какао на школьном дворе — я видел, как она по доброй воле задрала до талии форменное платье и демонстрировала нижнюю половину тела своему ровеснику, а он глазел на нее с полушага, напуганный, может быть, еще больше нее, и оба стояли красные и остолбеневшие; я ничего им не сказал: а что тут скажешь? Интересно, что сделала бы на моем месте Отилия.

Обе сеньоры уже в летах, но гораздо моложе Отилии; они были моими ученицами, мысленно повторяю я, и мне пока не отшибло память, я помню их имена: Росита Витебро и Ана Куэнко. Теперь у них, по меньшей мере, у каждой по пятеро детей. А тот мальчик, зачарованный прелестями Роситы, добровольно задравшей перед ним юбку — не был ли это Эвелио Фореро? Всегда замкнутый, он не дожил до двадцати лет, когда на каком-то углу его убила шальная пуля, выпущенная неизвестно кем, откуда и почему. Сеньоры приветливо здороваются. “Ну и жарища, правда, учитель?” Но я не поддерживаю их желания поболтать и прикидываюсь дурачком, пусть думают, что я выжил из ума. Красота обычно подавляет, ослепляет, я никогда не мог отвести взгляда от глаз красавицы, но женщины в летах, как эти две сеньоры, которые во

время разговора то и дело касаются друг друга руками, или женщины пожилые, или глубокие старухи, как правило, бывают только приятельницами или близкими подругами, надежными наперсницами или добрыми советчицами. Они не вызывают во мне жалости, как и я в них, но не вызывают и любви, как и я в них. Все юное и неведомое завораживает гораздо сильнее.

Так я размышляю, погруженный в себя, и вдруг слышу: "сеньор", и меня окутывает сладкий аромат изящной Жеральдины, появившейся в сопровождении сына и Грасиэлиты. Они подсаживаются к столику моих учениц, Жеральдина заказывает всем сок курубы, любезно приветствует обеих сеньор, расспрашивает их, а они отвечают: да, они тоже идут к Ортенсии; а здесь мы сидим, добавляет Ана Куэнко, потому что учитель, как вы знаете, очень притягательная личность, и только мы заметили, что он решил перевести дух в этом кафе, как нам сразу захотелось составить ему компанию.

— За притягательную личность спасибо, — говорю я. — А если бы я решил испустить дух в этом кафе, вы тоже составили бы мне компанию?

Вокруг раздается дружный, заливистый, особый женский смех, он разлетается по воздуху, рассекая вечерние сумерки — в каком птичьем лесу я оказался?

— Не будьте пессимистом, сеньор, — говорит Жеральдина, и теперь я почти уверен, что она никогда больше не назовет меня "соседом". — Вдруг мы умрем раньше вас?

— Бог никогда не совершит такой ошибки.

Сеньоры кивают и, довольные моим ответом, снисходительно улыбаются; Жеральдина открывает рот, словно хочет что-то сказать, но не говорит.

Появляется Чепе и расставляет на столе стаканы с соком; мне он подает чашку дымящегося кофе; Жеральдина страстно, как в любовном экстазе, вздыхает и просит пепельницу. Ее присутствие — чудо, лекарственный эликсир, микстура "Жеральдина": я совершенно забываю, что у меня горит колено, проходит усталость в ногах, я мог бы сейчас пуститься бежать.

Я наблюдаю за ней со своего места: не прислоняясь к спинке стула, сдвинув только колени, но не лодыжки, она лениво скидывает сандалии и с особым изяществом отряхивает с них пыль; наклоняясь все ниже, она демонстрирует шею, похожую на стебель; дети налетают на сок курубы, хлебают его жадно и шумно; вечер потихоньку разливается вокруг; я поднимаю чашку и делаю вид, что пью кофе; Жеральдина, вчерашним утром голая, сегодня вечером одета: легкое лило-

вое платьице оголяет ее по-другому и, если хотите, еще сильнее; но мне все равно, голая она или одетая, если открывается другая ее нагота, последняя интимная завеса; хорошо бы увидеть распахнувшиеся при ходьбе тайные изгибы, танцующую спину, размеренно бьющееся сердце, мерно подрагивающие ягодицы — мне ничего в жизни не надо, только бы смотреть на эту женщину, когда она не знает, что я на нее смотрю, смотреть на нее, когда она знает, что я на нее смотрю, но только бы смотреть на нее — ради одного этого стоит жить дальше. Жеральдина опирается на спинку стула, закидывает ногу на ногу и зажигает сигарету; только мы с ней знаем, что я на нее смотрю, мои бывшие ученицы продолжают свою трескотню, а что они говорят? невозможно разобрать; дети допивают сок курубы, просят разрешения заказать еще и, держась за руки, скрываются в кафе; я знаю: будь на то их воля, они бы никогда не вернулись, убежали бы, держась за руки, на край света, если б только могли. Теперь Жеральдина сдвигает ноги, слегка наклоняется и испытующе смотрит на меня; ее взгляд, как тайный сигнал, задерживается на мне лишь на секунду, чтобы убедиться: я все еще за ней слежу; едва ли ее искренне удивляет подобный диссонанс, подобная нелепость, что я, в мои-то годы... но что делать? она — мое самое сокровенное желание, поэтому я и смотрю на нее, восторгаюсь ею, как смотрят на нее и восторгаются другие, куда моложе и неискушеннее меня — да, отвечает она, и я ее слышу: она хочет, чтобы на нее смотрели, чтобы ее боготворили, преследовали, ловили, опрокидывали, кусали и ласкали, убивали, оживляли и снова убивали, и так до бесконечности.

До меня снова долетают голоса двух сеньор. Жеральдина открывает рот и вскрикивает от неожиданности. Ее колени, золотистые в свете уличных фонарей, на секунду раздвигаются и обнажают бедра, едва накрытые куцым летним платьицем. Я допиваю кофе и замечаю, не в силах этого скрыть, маленький припухший треугольник в самой глубине, но эйфорию мне отравляет слух, пытающийся разобрать слова двух сеньор, жуткую новость о том, что утром на помойке нашли труп новорожденной девочки, это правда? да, повторяют они, мертвую новорожденную, и крестятся: “Изрубленную на куски. Нет Бога на свете”. Жеральдина кусает губы: “Но ведь ее можно было оставить у церковных дверей. Живую, — печально причитает она — какая прелестная наивность! — и воздевает глаза к небу: — Зачем же убивать?”. Они продолжают разговор, но вдруг одна из моих учениц — Росита Витебро? — незаметно для меня следившая за тем, как я слежу за Жераль-

диной (моя жена, конечно, права: я потерял прежнюю осторожность, неужто я пускал слюни? Боже мой, кричу я в душе, Росита Витебро видела мои терзания из-за раздвинутых бедер, открывающих путь в бездну), поглаживает пальцем щеку и обращается ко мне с некоторым ехидством:

— А вы что думаете, учитель?

— Это не в первый раз, — с трудом отвечаю я. — И в нашем городе, и вообще в нашей стране.

— Конечно, — говорит Росита. — И в мире. Мы знаем.

— Я помню много случаев, когда матери убивали своих новорожденных детей и всегда оправдывали себя тем, что, мол, хотели спасти их от жестокости мира.

— Какие ужасные вещи вы говорите, учитель, — возмущается Ана Куэнко. — Простите меня, но это гнусность. Жестокость мира не может быть ни причиной, ни оправданием убийства новорожденного.

— Я не говорю, что это оправдание, — защищаюсь я и вижу, что Жеральдина сдвигает колени, растирает ногой окурок, не обращая внимания на пепельницу, проводит длинными ладонями по волосам, собранным сегодня в пучок, и тихонько вздыхает, видимо, напуганная (или пресыщенная?) этим разговором.

— Сколько в мире боли, — говорит она.

Дети — ее дети — подходят и встают возле нее, каждый со своей стороны, как будто хотят ее защитить, сами не зная от чего. Огорченная Жеральдина расплачивается с Чепе и тяжело встает, словно на плечи ей давит скопившимся почти за два столетья грузом непостижимая совесть этой непостижимой страны, отмечаю я про себя, что не мешает ей выгнуться всем телом, выпятить грудь и слегка растянуть губы в подобии улыбки:

— Пойдемте к Ортенсии, — просит она. — Уже совсем ночь.

Росита Витебро, моя бывшая ученица, окидывает меня слегка рассеянным взглядом:

— Вы идете, учитель?

— Я приду позже, — говорю я.

* * *

На этот раз я так и не попал к Ортенсии Галиндо.

Я попрощался с Чепе и повернул в другую сторону, к дому Маурисио Рея. Перепутав улицы, я оказался на окраине городка, с каждым шагом все более темной, покрытой островками нечистот и мусора, накиданного недавно и пролежавшего здесь вечность, как будто я в канализацию заглянул; уже

больше тридцати лет меня сюда не заносило. Что там блестит, внизу, похожее на серебристую ленту? Река. Раньше она могла все лето бесноваться бурным потоком. В этом городе, окруженном горами, нет моря, но *была* река. В одно белесое лето она пересохла и превратилась в извилистую нитку. Когда-то, в разгар лета, мы отправлялись к самым полноводным ее излучинам не только для того, чтобы ловить рыбу: забравшись нагишом в воду по самую шею, улыбались, шушукались и плавали в прозрачной воде девчонки, и можно было разглядывать их смутно различимые тела. А потом, на цыпочках, с оглядкой, они выскакивали во всем своем естестве, настороженные, похожие на диковинных птиц, бежали, вытянувшись, длинными прыжками, торопливо вытирались и натягивали одежду, то и дело косясь на деревья. Но вскоре они успокаивались, поверив, что мир вокруг спит, и слышно было только пенье сыча да пенье моего сердца в этой апельсиновой роще, где собирались поглазеть на девушек все городские подростки. Потому что деревьев хватало на всех.

Луны не видно, иногда горит случайная лампочка, на улицах ни души: собрание в доме Ортенсии Галиндо — такое же событие, как война, дошедшая до городской площади, школы и церкви, до каждого порога, заставившая попрятаться всех горожан.

Чтобы найти дом Рея, я вынужден вернуться к дверям кафе и начать свой путь заново, словно возвращаясь в прошлое. Я заставляю себя вспомнить: дом стоял последним на краю проселочной дороги, рядом с заброшенной фабрикой гитар; дальше был обрыв. Мне открывает дверь заспанная девушка и говорит, что Маурисио болен, он в постели и никого не принимает.

— Кто там? — раздается в глубине голос Маурисио Рея.

— Это я.

— Учитель, вот чудо! Медведь в лесу сдох. Вы вспомнили дорогу.

Кто эта девушка? Я смотрю на нее и как будто не узнаю.

— Ты чья такая?

— Дочь Султаны.

— Я помню Султану. Она была непоседа, но училась хорошо. А ты меня знаешь?

— Вы учитель.

— *Мы его дразнили: учитель Пасос Исмаэль истоптал всю вермишель*[1], — кричит Рей из комнаты.

1. Пасос по-испански означает “шаги”.

Это самый старый из моих учеников и теперь один из немногих друзей. В кровати под желтой лампой смеется шестидесятилетний бородач, еще более беззубый, чем я: он без вставной челюсти, и не стыдно ему перед девушкой? Как-то он мне рассказывал, что четыре года назад, в этот самый день, его жена — вторая жена, потому что после первого брака он овдовел, — пошла выразить соболезнования семье Сальдарриаги, а он сказался больным, никуда не пошел, остался дома и занялся с этой девушкой, доставшейся ему по счастливой случайности, тем, о чем мечтал целый год.

— Что нового? — спрашивает он. — Я думал, вы на празднике, учитель.

— Господи, на каком празднике?

— На торжестве по поводу Сальдарриаги.

— Торжестве?

— Торжестве, учитель, вы уж меня простите, но этот Сальдарриага был и остался, коли еще жив, отпетым говнюком.

— Я не об этом пришел говорить.

— А о чем, учитель? Вы разве не видите, что мне некогда?

По правде сказать, я и сам не знаю, зачем пришел, что бы такого придумать? Ради этой девушки? Я пришел, чтобы увидеть эту девушку, которой только что разлохматили волосы?

— У меня болит колено, — придумываю я версию для Рея.

— Это старость, учитель, — орет он. — Вы что, возомнили себя бессмертным?

Тут я замечаю, что он пьян. На полу возле его кровати валяются две или три водочные бутылки.

— Я думал, ты тут хворям предаешься, — говорю я, указывая на бутылки.

Он смеется и предлагает мне рюмку, но я отказываюсь.

— Идите, учитель.

— Ты меня гонишь?

— Идите к маэстро Клаудино, потом расскажете. Он вылечит вам колено.

— Он еще жив?

— Привет ему от меня.

Девушка провожает меня до двери, спокойная в своем зарождающемся сладострастии, великолепная в своем простодушии, и, чтобы не терять времени, с невинным видом на ходу расстегивает блузку.

Я был еще ребенком, когда впервые увидел Клаудино Альфаро. Выходит, он еще жив. Если мне семьдесят, то ему, должно быть, сто или около ста, но почему я о нем забыл? почему он забыл обо мне? Вместо того чтобы рекомендовать докто-

ра Ордуса, Маурисио Рей напомнил мне о маэстро Альфаро, которого я считал давно умершим и даже не вспоминал о нем, но где же я был все эти годы? И сам себе отвечаю: торчал на ограде и подглядывал.

Я легкомысленно выхожу из города среди ночи и направляюсь к лачуге целителя, маэстро Альфаро. Меня подгоняет снова вспыхнувшая в колене боль.

Жив, стало быть, жив, как и я, — об этом я думаю, уходя все дальше по шоссе. За первым же поворотом полностью исчезают городские огни, беззвездная ночь раздвигает свои пределы. Пока маэстро исцеляет людей, он не умрет; обычно он просит пациента помочиться в бутылку, взбалтывает содержимое и, тщательно его рассмотрев, определяет болезнь; он умеет вправлять мышцы и сращивать кости. "Маэстро живет по-настоящему, а мне только кажется, что живу", — говорю я себе, поднимаясь по конной тропе на гору Чусо. Несколько раз мне приходится останавливаться и отдыхать. Во время последней остановки я сдаюсь и думаю, что пора повернуть назад: очень скоро я понимаю, что в гору идти могу, только волоча ногу за собой. Зря я это затеял, думаю я, но продолжаю ползти вверх, от камня к камню. На одном из поворотов, среди невидимых горных зарослей, я чувствую, что окончательно вымотался, и ищу, где бы передохнуть. Луны нет, ночь по-прежнему совершенно глуха; ничего не видно уже в метре, хотя я знаю, что прошел полпути, и лачуга маэстро за горой, а не на вершине, до которой я сегодня точно не доберусь, но я могу пройти по склону горы, не перевалива вая через вершину. Наконец я нащупываю какой-то бугорок и сажусь. Опухоль на колене раздулась, как апельсин. Я взмок, словно побывал под дождем; ветра нет, но слышно, как кто-то или что-то топчется по листьям и бурелому. Я замираю. Вглядываюсь в темную массу кустов. Шум приближается — а если это атака на город? Партизаны или боевики могли принять решение захватить наш город именно сегодня ночью, почему бы нет? Ведь даже капитан Беррио наверняка сидит сейчас у Ортенсии главным гостем. Шорох на секунду смолкает. Я жду, забыв про боль в колене. Город далеко, никто меня не услышит. Они наверняка сначала выстрелят и только потом подойдут спросить меня, умирающего, кто я такой, — если я еще буду дышать. Но, возможно, это ночные ученья солдат, думаю я, чтобы успокоиться. "Все равно, — безмолвно кричу я, — все равно подстрелят". И в этот момент под громкий хруст ломаемых веток и сухих листьев кто-то или что-то бросается прямо на меня. Я кричу. Выставляю руки с растопыренными пальцами, пытаясь оттолкнуть нападающего,

удар, пулю, привидение — что бы это ни было. Знаю, что мой беспомощный жест мне не поможет, и думаю об Отилии: "Сегодня ты не увидишь меня в нашей постели". Не знаю, сколько проходит времени с тех пор, как я зажмурился. Что-то тычется в мои башмаки, нюхает. Огромная собака кладет лапы мне на грудь, тянется и радостно лижет лицо. "Это собака, — говорю я вслух, — слава Богу, это просто собака"; и не знаю, смеяться мне или плакать; выходит, я все еще люблю жизнь.

— Кто это. Кто здесь.

Голос не изменился: рокочущий и протяжный, как гул ветра:

— Кто здесь.

— Это я. Исмаэль.

— Исмаэль Пасос. Стало быть, ты не умер.

— Думаю, что нет.

Оказывается, каждый из нас записал другого в покойники.

Я могу разглядеть его, только когда он подходит почти вплотную. Что-то вроде простыни намотано на поясе, волосы все еще похожи на волокна хлопчатника; я могу разглядеть в темноте блеск его зрачков, и мне интересно, видит ли и он мои глаза или только его глаза светятся в кромешной ночи. Меня снова охватывает непонятный страх, который я испытывал перед ним в детстве, — еле уловимый, но все же страх; я встаю и чувствую на плече его жесткую руку, худую и костлявую. Он помогает мне не упасть.

— Что с тобой, — говорит он. — У тебя болит нога.

— Колено.

— Ну-ка.

Теперь его железные пальцы касаются моего колена.

— Нужно было до этого довести, чтобы ты ко мне пришел, Исмаэль. Еще день и ты не смог бы ходить. Сейчас первым делом надо снять опухоль. Пойдем наверх.

Он собрался помогать мне идти в гору. Я чувствую себя неловко. Ему должно быть около ста лет.

— Я могу сам.

— Ну, давай попробуем.

Пес бежит впереди, я слышу, как он несется вверх по склону, в то время как я волоку свою ногу.

— Я думал, меня сейчас убьют, — говорю я. — Думал, война добралась и до меня.

— Ты думал, что пробил твой час.

— Да, что мне крышка.

— Я тоже так подумал четыре года назад.

Его голос становится более отстраненным, как и рассказ:

— Когда они нагрянули, я сидел в гамаке и стаскивал с себя альпаргаты[1]. Они сказали: “Пойдете с нами”. Я ответил, что мне все равно, готов хоть сейчас и прошу только агуапанелы[2] по утрам. “Придержите язык, — сказали они, — что вам давать, а чего не давать, мы сами решим”. Меня гнали без церемоний, в бешеном темпе, как будто нам на пятки наступали солдаты. “А это кто? Кто он такой? Зачем мы его тащим?” — спрашивал один из них. *Никто меня не знает*, подумал я, и я тоже их не знал, никого из них отроду не видел; они говорили с антиокийским[3] акцентом; все были молодые и карабкались вверх, и я, конечно, не отставал ни на шаг. Они решили избавиться от моего пса, который бегал вокруг. “Не стреляйте, — говорю, — он сделает, как я скажу. Тони, беги домой!” — а сам не столько приказываю, сколько умоляю и машу рукой в сторону нашей лачуги; и мой умница Тони подчинился на свое счастье.

— Вот этот самый пес?

— Этот самый.

— Послушный.

— Это было четыре года назад, в тот самый день, когда увели Маркоса Сальдарриагу.

— Неужели в тот же самый день? Мне никто этого не рассказывал.

— Потому что я никому не рассказывал, не хотел наживать неприятностей.

— Понимаю.

— Мы шли всю ночь, а на рассвете остановились в том месте, которое называют Три креста.

— Так далеко вас увели?

— И там я его увидел — он сидел на земле, Маркос Сальдарриага. Его погнали дальше, а меня нет.

— А он? в каком он был состоянии? что говорил?

— Он даже не узнал меня.

Голос маэстро Альфаро тускнеет:

— Он плакал. Помнишь, он ведь довольно тучный или, лучше сказать, был довольно тучным, размером с две свои жены. Он уже не справлялся со своими телесами. Они искали мула, чтобы везти его дальше. Еще там была женщина, *Карми-*

1. Крестьянская плетеная веревочная обувь.
2. Горячий напиток из выпаренного сока сахарного тростника.
3. Антиокия — один из департаментов Колумбии. Располагается в северо-западной части страны, выходит к Карибскому морю.

на Лусеро, хозяйка булочной, помнишь ее? она из Сан-Висенте, родного города Отилии. Отилия должна ее знать; как поживает Отилия?

— По-старому.

— Значит, хорошо. Последний раз я ее видел на рынке. Она покупала лук-порей. Как она его готовит?

— Не помню.

— Ее тоже увезли, беднягу.

— Кармину?

— Кармину Лусеро. Кто-то мне говорил, что она умерла в плену, через два года. Я не знал, кто они, партизаны или боевики. Не спросил. Их начальник устроил им взбучку. Он сказал: "Дурачье, зачем вы пригнали этого старика? Кто он такой, черт его дери?" — "Говорят, он целитель", — сказал один. *Значит, все-таки они меня знают*, подумал я. "Целитель? — заорал начальник. — Но ему-то нужен врач". — "Ему? — думаю я. — Кому это *ему*?" Видимо, тому, кто начальник над этим начальником; и тут я слышу, как этот начальник говорит: "Уберите старика". Как только он сказал "уберите старика", парень приставил дуло к моему затылку. И тогда, Исмаэль, я почувствовал то же самое, что и ты несколько минут назад.

— Что вы покойник.

— Я, слава Богу, сумел порадоваться, что мне к затылку приставили винтовку, а не мачете. Сколько народу они изрубили, а потом даже милосердной пули для них пожалели?

— Почти всех.

— Всех, Исмаэль.

— Нужно радоваться смерти от пули, а не от мачете; но почему же они вас не убили?

— Их главный сказал тому парню: "Я не велел тебе его убивать, тупица", слава Богу, он так сказал. "Это дряхлый старик, не достойный ни пули, ни хлопот, — так он сказал, — пусть идет на все четыре стороны". — "Но вообще-то я могу помочь, — говорю я (сам до сих пор не понимаю, как мне пришло в голову открыть рот), — чтоб не зря я сюда шел. А кто болеет?" — "Никто, дед. Сгинь".

И они меня прогнали.

Я уже начал прикидывать, в какую сторону нужно идти обратно, когда мне приказали вернуться. На этот раз их парни отвели меня к больному, к своему главарю. Он лежал в палатке, довольно далеко от того места. Какая-то девушка в военной форме стояла на коленях и стригла ему ногти на ногах.

"Так вы утверждаете, — говорит мне этот их начальник, еще не успев толком меня разглядеть, — что вы целитель".

"Да, сеньор".

"И как вы лечите?"

"Велите принести пустую бутылку и помочитесь в нее. Тогда я решу. — Начальник захохотал. Но тут же стал серьезным. — Уберите этого дистрофика, — рявкнул он, — мочиться-то я и не могу, черт бы вас подрал". Я хотел предложить ему другое средство, потому что уже понял, что́ с ним, но этот человек махнул рукой, и девушка, которая стригла ему ногти, вытолкнула меня из палатки прикладом.

— И вас опять не пристрелили?

— Нет, — голос маэстро тускнеет. — Напрасно этот начальник не дал мне ему помочь.

— А что случилось с Маркосом Сальдарриагой?

— Остался там, он плакал — это он-то, такой гордец. Жалко было на него смотреть. Нужно тебе сказать, что даже хозяйка булочной не плакала.

Я останавливаюсь. Мне очень хочется избавиться от своей ноги, от этой боли.

— Давай-давай, Исмаэль, — посмеиваясь, говорит маэстро, — почти пришли.

Наконец из-за поворота дороги вынырнула лачуга, освещенная единственной свечой в единственном окне, к этому времени я уже готов был упасть на землю, уснуть, умереть, забыться — что угодно, лишь бы не чувствовать своего колена. Маэстро уложил меня в гамак, а сам пошел на кухню. Я его видел. Он засунул в дровяную печь несколько коряг. Я потрогал свое лицо — казалось, что пот течет с меня от жары. Но дело было не в жаре. В этот час, ночью, в горах, на одной из самых высоких точек хребта, всегда холодно. Меня просто знобило. Пес не давал мне уснуть, он слизывал капли пота с моих рук, клал лапу мне на грудь, его глаза мельтешили вокруг меня, как два искристых огонька. Маэстро приложил к моему колену компресс и закрепил его тряпкой.

— Теперь надо подождать, — сказал он, — не меньше часа. Отилия знает, что ты поднялся сюда?

— Нет.

— Ну и влетит же тебе, Исмаэль.

Он велел мне выпить чашу гуарапо[1].

— Слишком крепкий, — возразил я. — Мне бы лучше кофе.

— Даже не спорь. Ты должен выпить все до дна, чтобы душа заснула и ты ничего не почувствовал.

— Я опьянею.

1. Алкогольный напиток из сахарного тростника.

— Нет. Ты просто будешь спать наяву, но нужно выпить все залпом, а не по глоточку.

Отбросив сомнения, я выпил всю чашу. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем спала боль, а с ней и опухоль. Маэстро Клаудино сидел на корточках, глядя в темноту. На стене висела его старая гитара. Пес спал, свернувшись у ног хозяина.

— Больше не болит, — сказал я. — Могу идти.

— Нет, Исмаэль. Осталось самое главное.

Он поставил рядом с гамаком табуретку и положил на нее мою вытянутую ногу. Потом оседлал ее, но не сел сверху, а только зажал коленями.

— Если хочешь, закуси край рубашки, Исмаэль, чтобы не кричать в голос, — и я похолодел, вспомнив его методы, которые мне приходилось наблюдать, но отнюдь не испытывать на собственной шкуре, когда он вправлял вывихнутые шеи, лодыжки, пальцы, локти, перекошенные поясницы, сломанные ноги, и казалось, что от оглушительных криков его пациентов рушатся стены. Не успел я закусить рукав рубахи, как железные пальцы начали стучать по моему колену, словно птичьи клювы, они бегали по нему, ощупывали, изучали его и вдруг стиснули, вцепились в кость или в кости и, не знаю, в какой момент и каким образом, как будто бы разомкнули и сомкнули мою коленную чашечку, соединяя детали головоломки из костей и хрящей моего колена, всего меня целиком; это хуже зубного врача, успел я подумать и впился зубами в рубашку, но все равно не сдержался и закричал.

— Все, — сказал он.

Я тупо смотрел на него, трясясь в ознобе.

— Мне бы еще выпить.

— Нельзя.

Боль прошла, никакой боли. Со всеми предосторожностями я сполз с гамака и, все еще не веря себе, поставил ногу на землю. Ничего. Никакой боли. Я прошелся взад-вперед.

— Это чудо, — сказал я.

— Нет. Это моя работа.

Мне хотелось скакать, как жеребенку, впервые вставшему, наконец, на ноги.

— Будь пока осторожен, Исмаэль. Нога должна отдыхать три дня, чтобы кости слиплись одна с другой. Старайся идти под гору тихонько, не торопись.

— Сколько я вам должен, маэстро, — я опять не знал, смеяться мне или плакать.

— Когда совсем поправишься, принеси мне курицу. Давненько я не ел куриного супа, а тем более в компании с другом.

Я стал потихоньку спускаться по конной тропе. Боли не было. Я обернулся: маэстро Клаудино и его пес неподвижно смотрели мне вслед. Я помахал им на прощанье и двинулся дальше.

* * *

Она ждала меня, сидя на стуле у двери нашего дома. Время перевалило за полночь, но свет в доме нигде не горел.

— Рано или поздно ты всегда возвращался, — сказала она.

— Как все прошло, Отилия? Что я пропустил?

— Все.

Она даже не спросила, куда я подевался. Мне тоже не хотелось рассказывать о маэстро и колене. Она зажгла в комнате свет, и мы прилегли на застеленную кровать. Отилия подала мне тарелку лечоны[1] и чашку кофе.

— Чтобы ты не заснул, — сказала она. — И пояснила: — Лечону тебе прислала Ортенсия Галиндо. Мне пришлось извиняться за тебя, сказать, что тебе нездоровится, что у тебя заболели ноги.

— Левое колено.

Я принялся с аппетитом есть.

— Падре Альборнос не пришел, — сказала она. — Не пришел к Ортенсии. Никто не обратил на это внимания. Приходил алькальд без семьи, приходили врач Ордус, капитан Беррио, Маурисио Рей, пьяный, но тихий.

— А молодежь? Молодежь веселилась?

— Веселья не было.

— Неужели? Девушки не танцевали?

— Во дворе не было ни одной девушки. За этот год все уехали.

— Все?

— Все девушки и все парни, Исмаэль. — Она посмотрела на меня с укоризной. — Самое разумное, что можно сделать.

— Это им не поможет.

— Чтобы убедиться в этом, надо сначала уехать.

Отилия ушла на кухню и вернулась с другой чашкой кофе. Но не легла рядом со мной. Она пила кофе и смотрела в окно невидящими глазами. На что там было смотреть? Стояла ночь, только цикады трещали кругом.

— А она явилась, — сказала Отилия.

— Кто?

— Глория Дорадо.

1. Блюдо из свинины.

Я ждал. И наконец она произнесла:

— С письмом, которое получила от Маркоса Сальдарриаги два года назад, явилась сообщить, что, по ее мнению, оно едва ли могло помочь его освободить. И выложила письмо на стол.

— На стол?

— Перед Ортенсией Галиндо, и та его взяла. А когда взяла, сказала: "Я не могу читать это сама". Но прочитала вслух: "*Меня зовут Маркос Сальдарриага. Это письмо написано моей рукой*".

— Так и прочитала?

— И подтвердила: "Я узнаю его почерк".

— И что? Никто ничего не сказал?

— Никто. Просто она стала читать дальше. Она как будто слушала себя и не могла поверить, но поневоле верила. В этом письме Маркос Сальдарриага просил Глорию Дорадо ни в коем случае не позволять Ортенсии освобождать его — ни больше и не меньше. "Ортенсия мечтает увидеть мой труп", сама Ортенсия прочитала это твердым голосом. У нее хватило на это сил.

— Черт знает что.

— Она читала письмо сумасшедшего — так я сначала решила. Даже сумасшедший не додумался бы наживать себе врагов таким способом, собственную жену в первую очередь. В этом письме Маркос писал гадости даже о падре Альборносе: гроб повапленный, так он его назвал; он писал, что все хотели его смерти, начиная с лицемера Маурисио Рея и заканчивая алькальдом, предавшим собственный город в компании с генералом Паласиосом, этим птицеводом, как он его назвал, и доктором Ордусом, этим тупоголовым коновалом. Он умолял Глорию Дорадо, чтобы та не позволяла землякам хлопотать о его освобождении, иначе все выйдет в точности наоборот, они все сделают так, что рано или поздно на какой-нибудь дороге найдут его труп.

— Пока что его нигде не нашли, ни его, ни его труп.

— Ортенсия все читала, и голос ей ни разу не изменил: "И пусть это письмо будет зачитано вслух, прилюдно, чтобы все знали правду: меня хотят убить те, кто держит меня в плену, и те, кто заявляет, что пытается меня освободить". Эта последняя фраза засела у меня в голове, потому что тут я как раз поняла: Маркос считал себя покойником, он не сошел с ума, он говорил правду, ту правду, которая приходит с отчаянием, он написал как человек, сознающий, что скоро умрет, зачем ему лгать? человек, лгущий перед смертью, это не человек.

— И никто ничего не сказал; как же получилось, что никто ничего не сказал?

— Все ожидали услышать что-нибудь еще похлеще.

В комнате зажужжало какое-то насекомое; оно облетело вокруг горящей лампочки, пронеслось между нами, село на прикроватное распятие, перелетело на голову старинной деревянной фигуры святого Антония — нечто вроде нашего алтаря в углу, и, наконец, исчезло.

— Сказать тебе честно, я тоже немного рад, что Маркос Сальдарриага исчез, — признался я, набравшись храбрости.

— Есть вещи, которые мы не должны говорить даже тем, кому мы особенно дороги. Это такие вещи, Исмаэль, от которых у стен вырастают уши, ты меня понимаешь?

Я засмеялся.

— Эти вещи становятся известны всему свету намного раньше, чем стенам, — сказал я.

— Но произносить их вслух непростительно. Речь идет о человеческой жизни.

— Я доверяю тебе свои мысли, и так думают все вокруг, хотя подобной участи нельзя пожелать никому на свете, она бесчеловечна.

— Этому вообще нет названия, — сказала она.

Я разделся до кальсон. Отилия внимательно на меня смотрела.

— Что, — сказал я, — тебе нравятся развалины?

Я нырнул под одеяло и сказал, что хочу спать.

— Весь ты в этом, — сказала она. — Спать, таращиться и спать. — А не хочешь послушать, что сделала Жеральдина, твоя соседка?

Я сделал вид, что мне все равно. Но сон тут же улетучился:

— Что?

— Увела детей. Она ушла.

Отилия разглядывала меня теперь гораздо внимательнее.

— Правда, прежде чем уйти, она решила высказаться.

— Что она сказала?

— Сказала, что Глория Дорадо поступила бессовестно, явившись с письмом теперь, через два года после того, как его получила, когда это стало совершенно бессмысленным. Сказала, что положение Маркоса Сальдарриаги было ужасным, он не отвечал за себя, да и кто сумел бы вести себя иначе на его месте, оказавшись вдруг в неволе, среди совершенно чужих людей, когда не знаешь, сколько продлится эта неволя, может быть, до самой смерти! Слова Маркоса — это всего лишь его сокровенные мысли, заблуждения, личные претензии, прорвавшееся отчаянье, и непорядочно приносить такое письмо женщине, выстрадавшей столько, сколько Ортен-

сия. “Я выполнила его просьбу, — перебила ее Глория Дорадо, — прочитать письмо при всех. Я не приносила его два года, потому что оно показалось мне слишком жестоким, даже несправедливым. Но теперь я вижу, что должна была сделать это раньше, и, похоже, что все в нем правда, и освободить Маркоса здесь никто не хочет, даже падре Альборнос”. Ортенсия Галиндо в ответ закричала: “Бесстыжая”. Мы не успели заметить, как она подскочила к Глории, чтобы вцепиться ей в волосы, но не рассчитала, споткнулась, потеряла равновесие и шлепнулась всем своим весом к ногам Дорадо, а та закричала: “Я уверена, что в этом городе только я хочу увидеть Маркоса Сальдарриагу на свободе”. Ана Куэнко и Росита Витебро бросились к Ортенсии, чтобы помочь ей встать. Ни один мужчина не двинулся с места: либо все они струхнули больше нас, либо решили, что это бабьи дела. Ортенсия стала голосить: “Пусть убирается из моего дома”, но Дорадо не уходила. Росита Витебро крикнула: “Вы что, не слышите? Уходите”, но Дорадо даже не шелохнулась. Тогда Ана и Росита подошли к ней, схватили с двух сторон под руки, подтащили к выходу во двор, вытолкнули и захлопнули за ней дверь.

— Они так сделали?

— Без чьей-либо помощи. — Отилия вздохнула. — Слава Богу, Глория пришла без брата, он бы этого не допустил. Вмешайся хоть один мужчина, вмешались бы и остальные, и дошло бы до худшего.

— До стрельбы.

— Такие уж мужчины дураки, — сказала она, пристально глядя на меня, и не смогла сдержать улыбки.

Но тут же ее лицо окаменело:

— Это так печально! Ана и Росита начали угощать всех лечоной, а Ортенсия Галиндо сидела, бедняга, на своем стуле с тарелкой на коленях и в рот ничего не брала. Я видела, как в тарелку капали слезы. А рядом преспокойно ели ее близнецы. Никто не знал, как ее утешить, а потом и вовсе про нее забыли.

— Лечона виновата, — сказал я. — Слишком вкусная.

— Не будь таким черствым. Иногда я спрашиваю себя, правда ли, что я по-прежнему живу с Исмаэлем Пасосом, или это какой-то незнакомец, какое-то чудовище. Не лучше бы тебе подумать, Исмаэль, что все, как и я, расстроились и загрустили. Никто не просил налить себе вторую рюмку. Музыки не было, падре Альборнос остался бы доволен. Все поели и разошлись.

— Я не черствый. Говорю тебе еще раз: мне тяжело, когда любого человека лишают свободы, каким бы богатым или

бедным он ни был, ведь уводят и тех, у кого ничего нет; мне надо было бы сказать так: пусть кто-то исчез по доброй воле, если благодаря этому нас перестанут угонять силой — ведь так гораздо хуже. Я рад, что стар и скоро умру, но сочувствую детям, их ждет тяжелый путь, столько смертей досталось им в наследство, а они ни в чем не виноваты. Но по сравнению с участью Маркоса Сальдарриаги меня гораздо больше печалит участь Кармины Лусеро, хозяйки булочной. Ее тоже увели, в тот же день.

— Кармину! — воскликнула жена.

— Я узнал об этом сегодня.

— Мне никто этого не говорил.

— Говорили только о Маркосе Сальдарриаге.

— Кармина, — повторила жена.

Она заплакала, зачем я ей сказал?

— Откуда ты узнал? — спросила она, всхлипывая.

— Сначала ляг, — ответил я.

Потрясенная, она не двигалась с места.

— Откуда?

— От маэстро Клаудино. Он сегодня вправил мне колено. Я должен ему курицу.

— Курицу, — не понимая, повторила она.

Позднее, уже погасив свет и ложась рядом со мной, она сказала странные слова (потому что у нас есть две курицы):

— На какие деньги ты ее купишь?

И не стала ждать моего ответа, а заговорила о Кармине Лусеро, о том, что ей в жизни не встречалась женщина лучше Кармины, вспомнила ее мужа и детей, и как им теперь тяжело, и сказала: “Когда у нас дома дела шли неважно, Кармина давала нам в долг столько хлеба, сколько нам было нужно”; каждый раз, когда я думал, что спасительный сон пришел, что наконец он пришел к нам на помощь, в жарком воздухе, которым мы дышали, снова раздавались причитания Отилии; и так мы лежали в своей постели, в одном из городков истязаемой страны, подавленные и унылые, и я не смел сказать Отилии, что Кармина умерла в плену еще два года назад, но это ничего не меняло: в эту ночь мы все равно не смогли бы заснуть.

* * *

Какой смысл и дальше лежать в постели без сна? Светает, я выхожу из дома и снова иду вчерашней дорогой к обрыву. В этот утренний час редкие домики на горе напротив выглядят неотъемлемой частью пейзажа; далекие друг от друга, они все же связаны между собой, потому что стоят и всегда будут

стоять на одной и той же горе, высокой и лазурной. Много лет назад, еще до Отилии, я фантазировал, что проведу остаток жизни в одном из таких домов. Теперь, в наши дни, их покинули все или почти все жильцы; еще два года назад в них проживало приблизительно девяносто семей, но из-за войны — наркотрафика и солдат, партизан и боевиков — осталось всего шестнадцать. Многие погибли, другим — таких было еще больше — пришлось уехать, и, кто знает, сколько их останется в скором будущем? я отвожу глаза от привычного пейзажа, потому что впервые в жизни не могу на него смотреть; все изменилось, только совсем не так, как нужно, думаю я, пропади ж все пропадом!

По краю обрыва ко мне подходит, обнюхивая землю, свинья. Она на секунду задерживается у моих ног, поднимает рыло, ворчит, хрюкает, разглядывает мои башмаки; чья эта свинья? то и дело по всему городу слоняются бесхозные свиньи и куры. Может, я просто позабыл имена владельцев всех свиней — раньше я их помнил. А что, если привести эту свинью маэстро Клаудино вместо курицы?

В утренней тишине раздается крик, за ним выстрел. Где-то выше, на углу. Там поднимается черное пороховое облачко. Белый призрак перебегает с угла на угол. И больше ни звука, только торопливо удаляются чьи-то шаги. Я встал слишком рано... уйти, самое лучшее уйти... сейчас не время спокойно прогуливаться по улицам; я слышу собственные шаги, один за другим, все более поспешные, стремительные; зачем меня сюда занесло в пять утра? Но тут до меня доходит, что я иду прямо за призраком; я останавливаюсь: неразумно преследовать убегающих призраков; выстрелов больше не слышно; чьи-то личные разборки? возможно, потому что на войну это не похоже, это *другая* война; кто-то поймал кого-то на краже; или просто кто-то кого-то поймал, но кто? я иду дальше, замираю, прислушиваюсь: ничего, никого. Колено... "Нужно дать колену отдохнуть три дня" — предупредил маэстро Клаудино, а я таскаюсь то в гору, то под гору: что ж, колено, ты снова заболишь? нет, ноги без боли поворачивают за угол, я в порядке; каким унижением оказалась эта боль, Отилия, какой острасткой; как я ошибался, когда думал, что в смертный час мне никто не понадобится, а кто поможет мне справить нужду? не умирай раньше меня, Отилия.

Я иду наугад, подальше от призрака, от стрельбы; лучше найти такое место, где можно сидя наблюдать рассвет, хотя я бы не отказался от рюмки гуарапы, чтобы приглушить другую боль — она будто затаилась в душе, что это за боль? Может быть, я умираю? снова слышны выстрелы, теперь это не-

утихающая перестрелка; я останавливаюсь, выстрелы далеко; значит, это не *фугая* война, а *настоящая* война, мы сходим с ума или уже сошли, где я? это школа; меня привела сюда привычка.

— Учитель явился с утра пораньше давать уроки.

Это Фанни, кем была Фанни? Консьержкой. Теперь она ниже ростом, но на ней все тот же фартук столетней давности. Разве я не залезал в ее узкую кровать, когда-то давным-давно, не вдыхал ее запах? Да. Она пахла агуапанелой. Голова ее стала седой. Фанни так здесь и живет, но уже без своих детей; да что я говорю, ее дети, наверно, уже пожилые люди и, скорее всего, уехали; я помню ее мужа, он погиб молодым: возвращался с праздника святого покровителя города, упал в овраг, а сверху на него упал мул.

— Похоже, учитель, что сегодня или вчера, кого-то угнали в плен.

Ее глаза блестят все так же, как в тот день, когда я почувствовал ее запах, но тело износилось хуже моего. Фанни говорит:

— Идите-ка лучше домой.

— Именно туда я и иду.

Без лишних разговоров она закрывает дверь; она не вспомнит того, что помню я. Домой мне идти на другой конец города. Это далеко: сколько я плутал? сколько прошло времени? просто мне не хотелось преследовать убегавшего. Теперь можно возвращаться, тот призрак наверняка уже не появится, думаю я и иду домой, но на площади меня задерживают вооруженные солдаты и гонят к горстке мужчин, сидящих на паперти. Я их знаю, среди них Сельмиро, еще более старый, чем я, он дремлет. Кое-кто здоровается. Я задержан. Сегодня Отилии не придется скучать без новостей. Я смотрю, как по земле расстилается рассвет, слетевший с горы струящейся простыней; на улице еще свежо, но с каждой минутой наплывает настырная жара; эх, если б у меня был апельсин, если б у меня была тень апельсинового дерева, если бы Отилия вышла сейчас из дома проведать своих рыбок и котов.

Один из солдат берет у нас документы, другой держит какой-то прибор и сверяет их номера с экраном. На улицу выползают недавно проснувшиеся жители Сан-Хосе. Они хорошо знают, что мы — те невезучие, кого угораздило слишком рано выйти из дому. Пришел наш черед. Тех, кто вышел спозаранку, допрашивают: почему так рано встал, что делал на улице. Отпускают только некоторых, примерно половину: солдат читает список. “Эти свободны”, — говорит он, и я остаюсь с открытым ртом, потому что не услышал своего име-

ни. Но я все равно ухожу вместе с теми, кого освободили. Злость и безразличие помогают мне пройти мимо винтовок, никто меня не окликает. На меня даже никто не смотрит. Старик Сельмиро, еще более старый, чем я, мой друг, следует моему примеру, его тоже не назвали, и он раздражен: “Что с ними такое? — говорит он. — Мы-то чем им насолили, говнюкам этим?”. Он ворчит, что никто из его детей не пришел за ним, не поинтересовался его судьбой. Слышно, как протестует молодой Родриго Пунто, он расстроен и протестует жалобно, комкая в руках свою белую шляпу; он живет на ближайшей горе, довольно далеко от нашего города, но его задержали и теперь не отпустят Бог весть до которого часа; ему не дают вернуться домой — его дом стоит у нас на виду, на склоне горы напротив; он говорит, что у него беременная жена, что он оставил четверых детей без присмотра, они его ждут, он пришел в город купить масла и панелы, но пойти на обман, как мы с Сельмиро, не решается — он не так стар, как мы, чтобы незаметно проскочить оцепление.

Так мы стояли и смотрели друг на друга три или четыре долгих часа, скорее подавленные, чем возмущенные. Обычная история, когда что-то случается или когда ты выйдешь из дому слишком рано. Тех, кого не отпустили, сажают в военный грузовик; их досконально допросят на армейской базе. “Кого-то похитили”, — говорят горожане, кого в этот раз? никто не знает, но никто не лезет из кожи вон, чтобы узнать; само похищение — дело будничное, привычное, но слишком упорно расспрашивать, сильно беспокоиться небезопасно; пока мы ждем, к некоторым задержанным приходят поболтать их жены. Отилии среди них нет — наверно, еще спит, и ей снится, что я сплю рядом; уже полдень, и трудно понять, каким образом так быстро прошло время. Но оно прошло — прошло, как проходит всегда.

— Учитель? На вас тоже дремота напала.

— Я не знал, что вас сцапали вместе со мной.

— Меня не сцапали. Я просто смотрел на вас. Не хотел окликать, чтобы не беспокоить. Мне показалось, вы так сладко спали.

Он подходит ко мне, раскрыв объятия, — доктор Хентиль Ордус, квадратные очки поблескивают на солнце, рубашка сияет белизной.

— Меня не задержали, — говорит он, — но вы шутник, учитель, забавно было на вас смотреть, почему вы не возмутились? Вам стоило сказать: я учитель Пасос, и, готово дело, вас бы тут же отпустили.

— Эти ребята меня не знают.

Передо мной довольное, румяное, пышущее здоровьем лицо. Ордус хлопает меня по плечу.

— Вы уже знаете? — говорит он. — Выкрали бразильца.

— Бразильца, — повторяю я.

Вот почему он не пришел к Ортенсии Галиндо, и Отилия его не упоминала; не его ли лошадь я видел, когда возвращался от маэстро Клаудино, — она носилась ночью одна, под седлом?

— Этого следовало ожидать, правда? — говорит доктор Ордус. — Выпьем кислого, учитель, или вы предпочитаете говорить "горького"? Позвольте мне вас пригласить, я так люблю бывать с вами, почему бы это?

Мы садимся на галерее. "Снова кафе Чепе, — думаю я, — это судьба". Чепе приветствует нас, вместе с беременной женой он сидит за столиком напротив. Они едят куриный бульон. Дорого бы я дал, чтобы поменять пиво на бульон. Чепе светится радостью и энергией. Наконец-то на подходе его первенец, наследник. Несколько лет назад Чепе похитили, но он сумел сбежать: прыгнул в пропасть и шесть дней отсиживался в какой-то щели в горах; он всегда рассказывает это гордо и весело, как веселую байку. Жизнь в Сан-Хосе входит в обычное русло, по крайней мере, внешне. Нас обслуживает не Чепе, а какая-то девушка, в ее черные волосы воткнута белая маргаритка; кто-то мне говорил, что все девушки уехали из города?

— Видимо, из-за вашего почтенного возраста, — отвечает сам себе доктор, — вот почему чувствуешь себя рядом с вами спокойно.

— Почтенного возраста? — удивляюсь я. — Почтенный возраст не приносит успокоения.

— Но ведь в мудрости есть покой, разве не так, учитель? а вы достойный уважения пожилой человек. Бразилец мне о вас рассказывал.

Я спрашиваю себя, нет ли в его словах подвоха.

— Насколько я знаю, — говорю я, — он не бразилец. Он здешний, настоящий колумбиец, из Киндио, почему его называют бразильцем?

— Этого ни вы, ни я не узнаем. Лучше спросите, почему его выкрали.

Доктору Ордусу лет под сорок, хороший возраст. Он возглавляет больницу примерно шесть лет. Ордус холостяк, не зря у него работают две медсестры и молоденькая докторша-практикантка. Он славится в наших краях как хороший хирург. Однажды ему удалось сделать сложную операцию на сердце какому-то индейцу прямо в джунглях, ночью, подруч-

ными средствами, без анестезии и специальных инструментов. Ему в жизни везет: дважды, когда за ним приходили партизаны, он оказывался в Эль-Пало, далеко от Сан-Хосе. А в тот раз, когда за ним пришли боевики, успел спрятаться в одном из закутков на рынке, целиком зарывшись в мешок с кукурузными початками. Говорят, доктора Ордуса пытаются похитить не для выкупа, а из-за его врачебного искусства. Практику, приобретенную в Сан-Хосе, он считает бесценной: "Сначала меня пугало такое количество насильственно пролитой крови, — говорит он обычно, — но теперь я привык". Доктор Ордус смеется даже чаще, чем Чепе. Хоть он и нездешний, но не уехал из города, как другие врачи.

Доктор понижает голос:

— Насколько я знаю, — говорит он, — бразилец втихаря платил приличную дань и партизанам, и боевикам и надеялся, что его оставят в покое, но почему его в таком случае похитили? поди угадай. Он был человеком предусмотрительным и собирался уехать вместе со всем своим добром. Не успел. Мне сказали, что на его ферме отрубили головы всем коровам. Чем-то он их прогневал, но кого именно?

Врач разводит руками, как раз когда официантка приносит нам пиво.

— Доктор, — кричит со своего места Чепе.

Его жена смотрит в небо, красная от смущения.

Доктор переводит на них взгляд своих серых глаз.

— Мы, наконец, решились, — кричит Чепе. — Хотим узнать, мальчик будет или девочка.

— Иду, — отвечает Ордус, но не встает с места. Только отодвигает стул назад и снимает очки.

— Ну-ка, Карменса, покажи живот. Прямо оттуда, вот так, в профиль.

Карменса вздыхает. Она тоже отодвигает стул и послушно задирает блузку до самой шеи. Живот выглядит на семь-восемь месяцев, он белый и при ярком свете кажется особенно выпирающим. Доктор пристально на него смотрит.

— Еще чуть в профиль, — говорит он и щурит глаза.

— Вот так? — она поворачивается еще немного. Соски у нее большие и темные, грудь сильно увеличилась и набухла.

— Девочка, — говорит доктор и снова надевает очки. Официантка, которая принесла нам пиво, вскрикивает, прыскает от смеха и убегает в кафе. Жена Чепе опускает блузку. Лицо ее становится серьезным:

— Тогда назовем ее Анхеликой, — говорит она.

— Решено! — смеется Чепе, хлопает в ладоши и потирает руки, наклоняясь над тарелкой.

По улице шла воинская часть. Один из этих пареньков остановился возле нашего столика, по другую сторону деревянных перил, и спросил со злостью, как мы можем пить, когда в стране “сухой закон”.

— Пить-то мы можем, — говорит доктор, — только нам не дают. Не волнуйтесь, это просто пиво, я общался с капитаном Беррио. Я доктор Ордус, вы меня не узнаете?

Не склонный к разговорам солдат уходит и сливается с зеленой массой остальных парней, которые все идут и идут из города, строем, медленно, с той медлительностью, с которой идут на возможную смерть. Чтобы бежать вперед, им требуется окрик капитана Беррио откуда-нибудь из-за спины. Но Беррио нигде не видно. Их очень мало, они очень разные — солдаты, сами себя ведущие на смерть. Мне кажется, что они уже не существуют и остались только в истории. “Сегодня кто-нибудь из этих подонков меня точно прикончит”, — сказал мне однажды такой парнишка. Он остановился у моей двери и попросил воды. Они шли на передовую. Его мучил страх, он был зеленый от неукротимого отчаяния, что понятно: он был молод. *Я умру*, сказал он, и его убили, я видел его окоченевшее лицо, когда его принесли обратно, и не только его: их там много было.

Куда теперь идут эти мальчики? Они попробуют освободить какого-то незнакомого им человека. Скоро город временно останется без солдат. Пока я внимательно смотрю на улицу, сидящий напротив доктор продолжает говорить. Те девушки, которые не уехали, потому что не смогли уехать или потому что их семьи не знают, где взять на это денег, не знают, как и куда их отправить, — эти девушки кажутся мне самыми красивыми, потому что остались именно они, они — последние. Некоторые из них бегут навстречу солдатам. Я вижу развевающиеся юбки, слышу испуганные крики: возбужденное прощанье с солдатами.

— Единственный батальон в Сан-Хосе против двух армий, — говорит доктор. И долго укоризненно смотрит на меня, сомневаясь, видимо, что я его слушаю. Я его слушаю, теперь уже слушаю: — Мы беззащитнее этого таракана, — говорит он и давит каблуком огромного, бегущего по полу таракана. — Алькальд прав, требуя дополнительных сил.

Я разглядываю пятно от таракана, ничтожную неровность на полу.

— Между прочим, — говорю я, — тараканы переживут конец света.

— Если они инопланетяне, — говорит он и смеется, не слишком уверенно.

И снова пристально смотрит на меня. Широкая улыбка не сходит с его лица. Теперь он постукивает ладонью по столу.

— Вы слышали алькальда по радио? Его и по телевизору транслировали, ведь он сказал правду, он сказал, что в распоряжении Сан-Хосе есть только батальон морской пехоты и один полицейский участок — это все равно что ничего, все равно что отдать себя в руки бандитам, и, если министр обороны может сюда приехать, пусть приедет и сам увидит, что здесь происходит. Надо было не сдрейфить, чтобы сказать такое; он ведь мог поплатиться местом за свой длинный язык.

Как там прекрасная Жеральдина? Отилия наверняка сейчас с ней. Тепловатая жидкость бежит у меня по ноге. В этом проблема: иногда я забываю вовремя сходить в туалет. Нужно было посоветоваться с маэстро Клаудино. Так и есть — я смотрю на себя: брюки в паху немного намокли; это ведь не от страха, Исмаэль? Или все же от страха? Нет, это не из-за перестрелки, не из-за выскочившего призрака. Нет. Это просто старость.

— Вы меня слушаете, учитель?

— У меня болит колено, — лгу я доктору.

— Приходите в понедельник в больницу, посмотрим. Сейчас у меня много других дел, какое колено? левое? Ладно уж, мы-то знаем, на какую ногу вы хромаете.

Я прощаюсь и хочу уйти. Мне надо увидеть и услышать Жеральдину, узнать, что с ней. Доктор тоже встает. “Я туда же, куда и вы, — говорит он мне лукаво, — к вашей соседке. Два часа назад я дал ей успокоительное. У нее был нервный срыв. Посмотрим, заснула ли она теперь”, — он снова хлопает меня по плечам, стоя у меня за спиной. В такую жару меня раздражают, вызывают омерзение его горячие ладони, деликатные мягкие руки хирурга, настырные пальцы, привыкшие к мертвой плоти, вбивающие мою потную рубаху в кожу. “Не трогайте меня, — говорю я, — пожалуйста, не трогайте меня сейчас”. Доктор снова весело фыркает и идет теперь со мной рядом:

— Понимаю, учитель. Любой человек, если его сцапали только за то, что рано встал, будет не в духе, правда?

* * *

На отдаленном перекрестке по-прежнему надрывает глотку продавец пирожков, и до нас долетают ни к кому не обращенные, неистовые призывы: *А нууууу, подходи!* — многолетние попытки найти покупателей там, где их нет и не может быть, в наше-то время. Это уже не тот детина, что прибыл в Сан-Хосе со своей мобильной печкой — передвижной плитой на бензине, выбрасывающей из-под сковороды синие языки

пламени. Теперь ему, наверно, лет тридцать, у него бритая голова, он косит на один глаз, его низкий лоб рассечен глубоким шрамом, уши неправдоподобно малы. Имени парня никто не знает, и все называют его *Ану*. Он приехал в Сан-Хосе, не имея тут ни единой знакомой души, встал возле своей печки — огромного гудящего короба с кипящим маслом, сложил руки на груди и принялся торговать пирожками собственного приготовления, которыми торгует до сих пор, рассказывая каждому встречному-поперечному одну и ту же историю, такую дикую, что пропадает всякая охота снова приходить к нему за пирожками: он берет в руку металлическую сетку для просушки, кивает на полную черного масла сковороду, окунает в нее сетку, вынимает и говорит, что при такой температуре ею можно перерезать горло, как кусок масла, и что однажды в Боготе ему пришлось именно так и поступить с одним похитителем пирожков. "Он надумал меня обокрасть, это была чистая самооборона", — и он помахивает решеткой, как мечом, у вас над головой и орет во всю глотку, ни к кому не обращаясь, но так, что у всех закладывает уши: *А нууууу!*

Я больше не приходил к нему за пирожками, и думаю, что доктор тоже. Видимо, здесь наши мнения совпали.

— В мечтах он убийца, — говорит Ордус с нескрываемым отвращением, стараясь не смотреть на торговца пирожками.

Мы идем дальше по пыльной, пустой улице.

— А может, он чего-то боится, — говорю я. — Как знать.

— Это самый странный тип, которого я встречал в своей жизни; я знаю, что он торгует пирожками и что у него водятся деньги, но за все эти годы я ни разу не видел рядом с ним женщину, даже собаку и ту не видел. Он постоянно бывает у Чепе, смотрит новости по телевизору: стоит, прилипнув к косяку, и глядит на экран так завороженно, как будто он в кино; два года назад, когда после взрыва в церкви на улицах этого славного города поработала съемочная группа и пришел наш черед в новостях любоваться собой на фоне трупов, он тоже мелькнул где-то на заднем плане, и, как увидел себя из своего угла, стал тыкать пальцем в экран и орать: *А нууууу!* — да так, что чуть не лопнули стекла, а заодно наши барабанные перепонки и сердца. Чепе его одернул: "Иди кричать на своем перекрестке", а он побелел и заорал еще пуще: "А что? Я не имею права покричать?" — и ушел. Мне рассказывали, что он спит под открытым небом, позади церкви.

Словно в ответ на его слова вдалеке раздается "А нууууу!", к которому в Сан-Хосе все давно привыкли. Доктор вопросительно смотрит на меня и, кажется, ждет моего мнения. Но я молчу, потому что мы почти дошли до дома бразильца и раз-

говаривать мне уже неохота. У дверей стоит джип капитана Беррио. "Беррио все еще не отправился на поиски бразильца", – восклицает Ордус с преувеличенным удивлением. Мы уже остановились около распахнутой дверной решетки, когда из нее вышел Маурисио Рей, элегантно одетый во все белое. "Как я вижу, последних оставшихся в городе мужчин так и тянет выразить соболезнования по поводу нового покойника", – успевает сказать мне Ордус. Я знаю, что Маурисио Рей ему не по душе, и Рей платит ему тем же. Еще я слышу язвительные слова доктора: "Любой бы сказал, что Рей не пьян. Поглядите, как он идет: прямехонько. Умеет изобразить".

– Не правда ли, учитель: достаточно пройтись в компании врача, как сразу заболеваешь? Минимум, гриппом, – обращается ко мне Маурисио, доктор сдавленно смеется, потому что разговор идет уже под окнами Жеральдины.

Мы смотрим друг на друга, словно совещаясь.

– Беррио продолжает собирать сведения, – говорит Рей. – Но мне кажется, он просто боится их догонять.

– Обычное дело, – говорит доктор.

– Да вы входите, сеньоры, – спохватывается Рей, – составьте Жеральдине компанию. У нее увели не только бразильца, но и детей.

– Детей? – переспрашиваю я.

– Детей, – отвечает он и уступает нам дорогу.

В первый раз я думаю не о Жеральдине, а о детях. Я вижу, как они кувыркаются в своем саду, я слышу их голоса. Я не могу поверить. Доктор Ордус входит в дом первым. Я иду за ним, но Рей берет меня за руку и отводит в сторону. Он действительно все еще пьян, я вдруг понимаю это по запаху и по его красным глазам, контрастирующим с белым костюмом. Он побрился и, хоть и пьян сильнее прежнего, но выглядит моложе своих лет – говорят, заспиртовался в алкоголе, впрочем, в шахматы он больше не играет: засыпает между ходами. Я замечаю, что он пошатнулся, но тут же взял себя в руки. "Рюмашку?" – Рей смеется. "Сейчас не время", – говорю я, и он, дыша перегаром мне в лицо, одурело шаря глазами по безлюдной улице, ничего не замечая вокруг, говорит: "Остерегайтесь, учитель, мир полон трезвенниками". Он крепко пожимаем мне руку и уходит.

– Куда ты, Маурисио? – говорю я. – Тебе лучше полежать. Сегодня не самый подходящий день для развлечений.

– Для развлечений? Я только схожу на площадь узнать, что происходит.

Наш разговор прерывается появлением капитана и двух солдат. Все трое запрыгивают в джип. Беррио приветствует

нас кивком жирной, бритой головы и, проходя мимо, не произносит ни слова.

— Ну, что я тебе говорил? — кричит мне издали Маурисио Рей.

Я никогда здесь прежде не бывал, в этой маленькой гостиной бразильца. Прохладная и тихая, с цветами, плетеными стульями и множеством диванных подушек, она располагает ко сну, думаю я, стоя на пороге и прислушиваясь к разговорам, но более всего я стараюсь впитать уютный воздух дома Жеральдины, этот запах, особый запах этого дома. До меня долетают слова доктора, чей-то всхлип, голоса нескольких женщин, отдаленное покашливание. Я сразу вижу, что Отилии в гостиной нет. Вхожу и здороваюсь с соседями. Ко мне подскакивает учитель Лесмес, несколько месяцев назад присланный на место директора школы, он тащит меня в сторону, как свою собственность, напустив на себя вид заговорщика, поскольку знает, что я тоже учитель и тоже когда-то занимался делами этой школы. “Прискорбно, — говорит он, не понимая, что не дает мне поздороваться с Жеральдиной. — Я приехал в Сан-Хосе ничего не делать, — восклицает он шепотом, — ни один ребенок не ходит в школу, да и как ходить? Перед школой воздвигли баррикаду, и, если начнется какая-нибудь заваруха, мы сразу же в нее попадем, самыми первыми”.

— Разрешите, — говорю я и подхожу к Жеральдине.

— Я только что узнал, — говорю я. — Очень сочувствую, Жеральдина. Мы будем рады помочь всем, чем сможем.

— Спасибо, сеньор, — говорит она.

Глаза у нее опухли от слез, это другая Жеральдина, вся в черном, как Ортенсия Галиндо, но по-прежнему при ней, никуда не делись, ее коленки (думаю я, не в силах сбежать от самого себя), еще более округлые и ослепительные. Она держит голову довольно высоко, как будто подставляет шею кому-то или чему-то незримому, какому-то смертельному врагу или оружию. Ее лицо, совершенно убитое, кривится, зрачки лихорадочно блестят, она сжимает и разжимает кулаки.

— Сеньор, — говорит она мне, — Отилия спрашивала про вас. Она очень волновалась.

— Сейчас я пойду ее искать.

Но я не двигаюсь с места, Жеральдина продолжает на меня смотреть:

— Вы слышали, учитель? — она не может сдержать рыданий. — Мой сын, мои дети, их увели, этому нет Божьего прощения.

Доктор Ордус щупает ей пульс, говорит дежурную фразу о том, что она должна успокоиться, что всем нам нужна сильная, стойкая Жеральдина.

— Да разве вы знаете, что это такое? — восклицает она с неожиданной яростью, словно взбунтовавшись.

— Знаю, мы все знаем, — отвечает доктор и обводит нас взглядом. Мы, в свою очередь, смотрим друг на друга, и выходит, что мы не знаем, в глубине души мы без всякого стыда признаем, что не знаем, но здесь нет нашей вины, и это, похоже, мы знаем точно.

Жеральдина снова обращается ко мне:

— Учитель, он пришел с этими людьми среди ночи и увел детей, словно так и надо. Он увел детей молча, не сказав мне ни слова, как мертвец. Остальные держали его на мушке; наверно, они не дали бы ему заговорить, правда? поэтому он не смог мне ничего сказать. Я не хочу верить, что он молчал из трусости. Он сам взял детей за руки и увел. Мне остается только вспоминать и мучиться еще сильней, потому что дети спрашивали: “Куда нас ведут? Почему нас разбудили?”. А он говорил: “Идемте, идемте, просто погуляем”, — это он им говорил, а мне ни слова, как будто я не мать своему сыну. Они ушли, а меня оставили, сказали, чтобы я готовила выкуп. Они сказали, что свяжутся со мной, им хватило наглости смеяться. Они забрали их, учитель, и кто знает, на сколько, Господи, если бы мы успели уехать, не только из этого города, но из этой проклятой страны.

Доктор подает ей успокоительное, кто-то наливает стакан воды. Она не обращает внимания ни на лекарство, ни на воду. Ее воспаленные глаза смотрят на меня и не видят.

— Я не могла шевельнуться, — говорит она. — Просидела неподвижно до зари. Я слышала, как вы вышли из дома, слышала вашу дверь, но у меня не было сил закричать. Когда я смогла идти, уже наступило утро, первый день моей жизни без сына. И тогда мне захотелось, чтобы меня проглотила земля, понимаете?

Врач снова протягивает ей таблетку и воду, она берет все это, не сводя с меня невидящих глаз, пока я иду к двери.

* * *

Дома Отилии нет. Я стою в саду, он нисколько не изменился, как будто, несмотря на то что произошло, ничего не произошло: лестница приставлена к ограде, в фонтане плавают оранжевые и неоновые рыбки, один из котов наблюдает за мной, потягиваясь на солнце, и заставляет меня вспомнить о глазах Жеральдины, Жеральдины, такой непривычной во всем черном.

— Учитель, — кричит кто-то от двери моего дома, которую я оставил открытой.

На пороге меня ждет Султана с дочерью, той самой девушкой, которая дежурила у больного Маурисио Рея. Как будто мне ее прислал Рей. Но он ни при чем: оказывается, моя собственная жена договорилась с Султаной, что ее дочь раз в неделю будет помогать нам в саду.

— Мы встретили вашу сеньору на углу, — объясняет Султана. — Она сказала, что идет в церковь, чтобы узнать про вас. Надо бы вам сходить за ней, сегодня неподходящий день для прогулок.

Я слушаю Султану, но вижу только девушку: сейчас она не выставляет напоказ растрепанные волосы и даже глядит по-другому; сейчас это просто девочка, которой не терпится уйти или просто неохота работать.

— Дел не так много, — успокаиваю я ее. — Нужно только собрать оставшиеся апельсины, и сразу пойдешь домой.

Отилия, сама того не подозревая, подвергла меня искушению. Девушка сейчас в цельнокройном платье, босиком и уже не такая неотразимая; она вприпрыжку бежит по коридору, заглядывает в кухню, застенчиво осматривает две комнаты и гостиную — беззащитная, худенькая, как птичка. Она не похожа на мать: Султана крупная, ширококостная, сильная, в неизменной ядрено-красной бейсболке; внушительный живот не мешает ей тяжело работать: она одна наводит чистоту в церкви, в полицейском участке, в мэрии, стирает, гладит, зарабатывает этим на жизнь и хочет, чтобы дочь зарабатывала тем же.

— Поняла, Кристина? — спрашивает она. — Будешь ходить сюда раз в неделю, дорогу ты знаешь.

Они идут в сад. Замешательство, волнение оттого, что эта девушка проходит мимо, оттого, что идешь за ней, преследуешь ее, неотразимость первобытного, пьянящего, но чистого аромата, который она излучает при каждом шаге, заставляет тебя, Исмаэль, забыть все самое важное в жизни. Я разговорюсь с ней, сумею ее насмешить. расскажу какую-нибудь историю, и, пока она будет стоять на приставной лестнице, непременно соберу вокруг цветы.

— Я раньше не видела ваш сад, — говорит Султана. — У вас тут рыбки, и вы любите цветы. Вы или ваша сеньора?

— Мы оба.

— Мне пора идти, — вдруг восклицает она и машет дочери на прощанье рукой. — Я за тобой приду, никуда не уходи.

Она крепко, по-мужски, пожимает мне руку и уходит. Кристина смотрит на меня сквозь потоки солнечного света, рассеченные ветвями апельсиновых деревьев. Она хлопает гла-

зами. Проводит ярко освещенной рукой по еще более ярко освещенному лицу — узнала меня?

— Так хочется пить.

— Сходи на кухню. Сделай лимонад, там есть лед.

— Лед, — вскрикивает она, как будто речь идет о чем-то сверхъестественном, и бежит мимо меня, обдав вихрем ароматов; меня слегка повело? я сажусь в кресло-качалку у края тени и слушаю приглушенные звуки из кухни: вот открылась и закрылась дверца холодильника, брякнули в стакане кусочки льда, вот Кристина пыхтит, силясь выжать лимон. Потом все стихает, сколько времени прошло? мне надоело смотреть на свои колени, на свои башмаки, я поднимаю глаза: смутно различимая птица беззвучно кружит меж деревьев. Послеполуденная тишина — в саду она еще заметнее, непроницаемей, гуще, как будто сейчас ночь, и вселенная спит. Вдруг становится трудно дышать; возможно, к ночи пойдет дождь; мало-помалу тревога охватывает все, не только человека, но и растения, котов, следящих за тем, что происходит вокруг, неподвижных рыб; кажется, что ты не в собственном доме, а на улице, под прицелом какого угодно оружия, беспомощный, твои тело и душа ничем не защищены; что происходит? что со мной? может быть, я умираю?

Когда девушка возвращается с двумя стаканами лимонада, собираясь поскорее осушить свою порцию, я ее не узнаю: кто эта девушка, что смотрит на меня? обращается ко мне? никогда прежде беспамятство не налетало на меня так стремительно, словно гром среди ясного неба. Как будто бы яркое солнце вдруг накрыла пелена тумана, погрузив все вокруг в темноту: отчаянный страх охватывает меня при мысли о том, что Отилия в такой день ходит одна по этим притихшим улицам, куда вполне может снова явиться война. Пусть явится, пусть вернется, — говорю, кричу я себе, — но только без моей Отилии, без меня.

— Больше не могу, — говорю я вслух и встаю, чтобы идти.

— Вы не хотите лимонад?

— Выпей сама, — говорю я девушке, вспомнив, наконец, кто она такая, и рассеянно спрашиваю: — Что сказала Султана? Куда пошла Отилия?

Она смотрит на меня в замешательстве, не понимая, что со мной. И, наконец, говорит:

— В церковь.

Почему тебе пришло в голову, что я в церкви, Отилия? я уже сто лет не хожу к падре.

Мои руки и ноги двигаются, как попало, пока я, словно в ватном коконе, тащусь по улице; каким дурным сном кажутся

эти пустые; тревожные улицы; на каждой из них меня подгоняет физически ощутимая чернота, хотя солнце давит на улицы сильнее прежнего; почему я не взял шляпу? подумать только, совсем недавно я хвастался своей памятью, а теперь вот-вот забуду, кто я такой, забьюсь в дальний угол дома и буду бояться выходить на улицу; соседи правы, — говорю я себе снова и снова, — их все меньше в городе, и это понятно; случиться может все что угодно, но, что бы ни случилось, наступит война, снова зазвучат крики, будет взрываться порох; я умолкаю, заметив, что разговариваю на ходу, но с кем? с кем?

Только на площади я нахожу отдельные группы горожан, слышны их голоса, иногда чей-то свист, как будто сегодня воскресенье. Я иду к двери приходского дома, расположенной рядом с церковными воротами, но, прежде чем взяться за дверной молоток, оборачиваюсь: на площади стоят все те же группы людей, с виду безмятежные, такие же, как всегда, некоторые окидывают меня быстрым взглядом; я смотрю на них, и мне кажется, что они плывут в тумане, в такой же туманной дымке, как у меня в саду; может быть, я умираю? Тишина, похожая на туман, смыкается вокруг наших лиц, наползая со всех сторон. Возможно, мы сумеем расслышать звуки выстрелов, прямо отсюда, или они сами долетят до нас, коснутся наших ушей. И тогда надо будет бежать. Я торопливо стучу в дверь. Мне открывает сеньора Бланка. Ее напудренное лицо тревожно выглядывает в щелку. Сеньора Бланка — помощница, *дьяконша* падре Альборноса, его правая рука, она собирает деньги во время мессы и, скорее всего, она же их пересчитывает, пока падре Альборнос сидит и отдыхает, опустив ноги в бадью с солью — в этой позе я застаю его всякий раз, когда прихожу.

— Ваша жена уже ушла, — говорит сеньора. — Она заходила, спрашивала про вас.

— Мы с Отилией затеяли игру в кошки-мышки, — говорю я. И собираюсь попрощаться, но она меня перебивает:

— Падре хочет вас видеть.

Сеньора Бланка распахивает дверь.

Я вижу падре в глубине двора: орлиный профиль, черное облачение, черные ботинки, Библия в руках; за седой головой виднеются церковные черимойи[1], лимонные деревья — прохладный сад, украшенный высокими кустами азалий и герани.

1. Черимойя — плодовое дерево. В переводе с древнего языка кечу означает “холодные семена”.

— Падре Альборнос, я ищу свою жену.
— Зайдите, зайдите, учитель, только на чашечку кофе.

Он тоже с восьмилетнего возраста был моим учеником. Я и сам в те времена был совсем парнишкой: мне было двадцать два года, когда я вернулся в Сан-Хосе, чтобы занять место учителя, и впервые стал учить детей, решив для себя, что из благодарности проведу в своем городке года три, не больше, а потом уеду, куда? я никогда об этом не думал и так и не уехал, потому что все равно оказался бы здесь, в этой глуши. Похожая история произошла с Орасио Альборносом: он уехал и вернулся, став священником. И в первый же день пришел ко мне поздороваться. Падре все еще помнил стихотворение Помбо[1], которое он и его одноклассники учили наизусть к моему уроку: *И сей ковер прекрасный, о Земля! кто дал тебе? кто дал тебе леса густые и прохладу тени? и молвила Земля: Господь.* "Именно тогда зародилась во мне склонность к служению", — смеясь, сказал он в тот день. Мы стали навещать друг друга каждую неделю, пили кофе то у него, то у меня, обсуждали газетные новости, последние сочинения Папы, иногда даже выбалтывали что-нибудь сокровенное и постепенно достигли того редкого состояния, когда начинаешь верить, что нашел в жизни друга.

Через несколько месяцев после возвращения Альборноса в сане священника в город приехала женщина с девочкой на руках; они вышли из пыльного автобуса, и женщина сразу отправилась в дом священника за помощью и работой. Падре Альборнос, до этого не раз отвергавший предложения разных сеньор, готовых с радостью заняться уборкой, едой, постельным бельем, одеждой и прочими житейскими потребностями падре, сразу же принял приезжую на работу. Теперь она стала сеньорой Бланкой и со временем заняла должность дьякона. Ее дочь, как и многие другие девушки, уехала из города много лет назад, а донья Бланка остается все той же тихоней, неприметной, белой[2] тенью, такой молчаливо приветливой и деликатной, что кажется иногда невидимкой.

Однажды вечером, несколько лет назад, когда мы пили не кофе, а вино, — три бутылки испанского вина, подаренные священнику епископом Нейвы, — падре Альборнос попросил дьяконшу выйти. Несмотря на вино, он сидел грустный, с

1. Хосе Рафаэль де Помбо-и-Ребольедо (1833–1912) — колумбийский писатель, поэт, переводчик и дипломат.
2. Бланка в переводе с испанского означает "белая".

влажными глазами и горькой складкой у рта, и в какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот заплачет.

— Если не вам, то кому мне рассказать? — спросил он наконец.

— Только мне, — сказал я.

— Или Папе, — добавил он. — Будь я на это способен.

Подобное начало меня смутило. Падре выглядел воплощенным раскаяньем. Прошла долгая минута, пока он собрался с духом, но в конце концов при помощи детских намеков, и не забывая про вино, он дал мне понять, что сеньора Бланка — его жена, а девочка — их общая дочь, что они спят в одной постели, как любая семейная пара в этом славном городе. Я-то отлично знал, что безжалостные пересуды начались у нас уже тогда, когда следом за падре приехала женщина с ребенком, но никому не пришло в голову возмущаться, да и с какой стати? Ну и что из этого? — сказал я, — разве не таким должно быть нормальное, здоровое, естественное поведение, которое так отличается от поведения священников во многих странах: лицемерного, озлобленного, даже извращенного, с насилием над малолетними? и разве наш падре не является в первую очередь священником родного города?

— Это правда, — пробормотал он, глядя на меня растерянно и внимательно, как будто ему такая мысль не приходила в голову. Но добавил: — Это тяжелая ноша. От нее страдаешь, и до и после. — И, наконец, заключил: — Но от чего я никогда не откажусь — это от трудов Господних, от своей миссии среди каждодневной скорби, которая и есть наша страна.

Казалось, он получил необходимое отпущение грехов. Я хотел еще добавить ему в оправдание: “И уж точно вы не первый, это дело обычное во многих городах”, но он заговорил о другом; теперь, похоже, он отчаянно жалел о своей откровенности и, по-видимому, мечтал, чтобы я поскорее ушел и поскорее все забыл; я так и сделал: быстро ушел и забыл все еще быстрее, хотя никогда не забуду белую фигуру сеньоры Бланки, проводившей меня в тот вечер до двери, широкую молчаливую улыбку на ее лице, такую благодарную, что казалось, она сейчас меня расцелует.

Здесь я оставил их на несколько лет, здесь же нашел их теперь.

Тогда я оставил их, потому что падре Альборнос перестал меня приглашать и не заходил ко мне сам. Теперь я нашел их прежними, только постаревшими; мы садимся в маленькой гостиной с полупрозрачным окном, выходящим на площадь. После атаки, случившейся два года назад, падре Альборнос съездил в Боготу и добился от правительства помощи в вос-

становлении взорванной церкви; оставить церковь в руинах означает признать победу разрушителей, кем бы они ни были, сказал он; и теперь на месте взорванной церкви появилась новая, красивее прежней — улучшенное жилье для Бога и для падре, сказал доктор Ордус, не сумевший, в отличие от падре, добиться помощи для больницы.

Если падре собирается разговаривать со мной в присутствии сеньоры Бланки, то вряд ли Отилия поведала ему мою историю про ограду и лестницу. Отилия, тебе не пришлось бы страдать от моих признаний, окажись ты на моем месте. Но о чем, в таком случае, хочет говорить со мной падре? Мы пьем кофе, не произнося ни слова. Через матовое стекло можно различить нечеткое пятно площади, высокие дубы по ее краю и внушительное здание мэрии. Площадь представляет собой нечто вроде наклоненного вниз прямоугольника: мы со всеми церковными строениями наверху, мэрия внизу.

— А если это повторится? — спрашивает падре. — Если на эту площадь опять явятся партизаны?

— Не думаю, — говорю я, — в этот раз — не думаю.

На площади раздаются какие-то крики. Сеньора Бланка не меняется в лице, она пьет кофе с таким видом, будто витает в облаках.

— Я только хотел просить вас, Исмаэль, зайти ко мне снова, и как можно скорее. Заходите по дружбе или для исповеди, как угодно, но не забывайте меня, что с вами происходит? Если я не захожу к вам сам, то только из-за всех нынешних событий, из-за того, что началось вчера и продолжится завтра, из-за несчастий этого многострадального города. У нас нет больше права иметь друзей. Мы должны бороться и молиться даже во сне. Но двери церкви открыты для каждого, мой долг принять каждую заблудшую овцу.

Дьяконша зачарованно глядит на падре. Я же начинаю думать, что Отилия все-таки рассказала ему про меня.

— Сейчас для всех тяжелое время, — продолжает падре. — Смятение царит даже в сердцах, но мы должны доказать свою веру в Бога, и рано или поздно он вознаградит нас за все.

Я встаю.

— Спасибо за кофе, падре. Мне нужно искать Отилию. Вы лучше других знаете, что сейчас не время околачиваться на улице и искать друг друга.

— Она пришла искать вас именно здесь, и мы поговорили. Благодаря ей я вспомнил, Исмаэль, как долго мы не виделись. Не замыкайтесь в себе.

Он провожает меня до двери, но тут мы останавливаемся, неожиданно втянутые в тихий разговор; из-за взаимной отчужденности мы столько всего не обсудили, что пробуем за одну минуту наверстать упущенное и заодно вспоминаем, еще больше понизив голос, падре Ортиса из Эль-Таблона, нашего общего знакомого, которого пытали и убили боевики; они сожгли ему мошонку, отрубили уши, а потом расстреляли, обвинив в проповедовании Теологии освобождения[1]. "Но что же тогда можно говорить на проповеди? — спрашивает падре, разводя руками и округляя глаза. — Любой может обвинить нас в чем угодно, Господи, только за то, что мы призываем к миру", — и с этими словами, словно надумав в последний момент пройтись, он выходит со мной на площадь, велит сеньоре запереть за ним дверь и дожидаться его возвращения. "Я только на минутку", — говорит он в ответ на ее испуганный взгляд.

* * *

Мы идем под гору в неловком молчании; что мешает нам почувствовать себя раскованно? От центра площади навстречу падре поднимаются несколько человек, желая приветствовать его, и он смущенно замирает на месте: ему хотелось продолжить наш разговор, но прихожане будут этому помехой; падре пожимает плечами, неопределенно машет рукой и идет со мной дальше; он встречает свою паству ободряющей улыбкой, не произнося ни слова, и выслушивает каждого с одинаковым интересом; в толпе есть горожане и жители гор: оставаться в горах, когда поблизости идут бои, опасно; люди попрятали детей у знакомых и пришли узнать, что нас ждет впереди; в мэрии не оказалось ни алькальда, ни муниципального советника, в городском совете тоже ни души, где они? что мы будем делать? сколько это продлится? всех томит неизвестность; в ответ падре Альборнос разводит руками, откуда ему знать? он говорит с ними, как на проповеди и, видимо, правильно делает — достаточно поставить себя на его место: страх, что твои слова переиначат, что ты вызовешь гнев любой из армий, несварение желудка у какого-нибудь наркобарона, которому ничего не стоит найти доносчика в этой же толпе, — этот страх превращает речь падре в бессвязный лепет, сводящий все к вере и молитвам о том, чтобы братоубий-

1. Одна из социальных концепций современной католической мысли, получившая распространение с конца 60-х гг. в странах Латинской Америки. "Освобождение" означает, прежде всего, ликвидацию колониального гнета, ликвидацию эксплуатации, то есть социальную революцию.

ственная война в этот раз не добралась до Сан-Хосе, чтобы возобладал здравый смысл, чтобы вернули Эусебио Альмиду, новую невинную жертву, еще одну; сеньор Рубиано[1] предупреждал нас: похищение людей — это реальность дьявола, но вера в Создателя в конце концов принесет нам спасение — падре поднимает указательный палец, — и после тьмы придет свет; под конец он произносит совсем уж абсурдную фразу, которую с ходу никто не может понять, но все выслушивают и принимают к сведению — ведь произнес же ее падре зачем-то: сегодня утром религиозным символом нации провозгласили Божье Дитя, наша страна следует за Младенцем Христом, освященная его именем, так помолимся, призывает он, но сам не молится, да и другие, похоже, не очень расположены молиться.

Среди тех, кто к нам подошел, оказался Маурисио Рей. Внося разнообразие в сегодняшний день, он говорит, что меня ищет жена. “Она спрашивала про вас, — говорит он, — я сказал ей, что видел вас недавно в доме бразильца. Она сразу пошла туда”.

Как раз когда я хочу попрощаться, внизу, на противоположном углу площади, появляются первые солдаты, они бегут; одновременно со мной их видят все и замолкают в ожидании; все взгляды устремлены в одну точку. Похоже, солдаты пришли не так организованно, как уходили; похоже, их преследуют; они занимают оборону в разных местах площади, неотрывно следя за углом, из-за которого выбежали сами, и держат его под прицелом. Лица вокруг меня стали вдруг чужими, хотя я знаю этих людей; они испуганно смотрят друг на друга и, сами того не замечая, пытаются сгрудиться как можно тесней; почти неуловимый, будто подступающий издалека крик рвется из каждой груди, кто-то шепчет: “ах, чтоб тебя! вернулись!”.

Солдаты напряжены и неподвижны; их человек двенадцать-пятнадцать, но ни один из них не оборачивается на нас, чтобы дать какой-нибудь совет, как бывало раньше; слышны автоматные очереди, взрывы, пока еще за пределами города. Ропот изумления, холодком пробегая по спинам, звучит уже громко, в полную силу; мелькающие тени, дрожащие так же отчаянно, как я, а может, еще сильней, затягивают меня в водоворот голосов и перекошенных страхом лиц;

1. Педро Рубиано Саэнс — колумбийский кардинал, архиепископ Боготы и примас Колумбии в 1994—2010 гг.

в просвете я вижу падре Альборноса — он мчится к церкви, как олень; из-за того же угла бешено вылетает изрешеченная пулями "скорая помощь" и исчезает в клубах пыли на дороге, ведущей к больнице; на верхнем углу площади появляются новые солдаты и что-то истошно кричат тем, что внизу; выстрелы, взрывы раздаются все громче, уже где-то рядом, но никто еще точно не знает, в каком районе города, куда бежать? вдруг все смолкает и наступает тишина, похожая на выдох, солдаты занимают позиции, а нам куда? и тут на площадь с грохотом въезжает, подпрыгивая на камнях, капитанский джип; из него выскакивает Беррио и смотрит в толпу — наверно, он хочет приказать нам идти домой или где-то укрыться; он бледен, взбешен и открывает рот, но не издает ни звука, как будто просто глотает воздух; проходят секунды; "Партизаны! — кричит он вдруг, указывая на нас рукой. — Это партизаны!" — и идет прямо на нас.

Его лицо кривится от ярости, или он вот-вот заплачет? Неожиданно, словно подброшенный злобой, он выдергивает из кобуры пистолет. Много дней спустя мы узнали, что его попытка освободить заложника провалилась, шестеро его человек были ранены, им "помешала" недавно взорванная дорога, тропинка с минными растяжками. Оправдывает ли это его? Он всегда славился своим характером, не зря солдаты за глаза звали его "злобным козлом"[1]; он прицелился в толпу и выстрелил; рядом с нами кто-то упал, но никому не хотелось смотреть, кто именно, мы не могли оторвать глаз от человека, продолжавшего в нас целиться, теперь уже с другой позиции; он выстрелил второй и третий раз. Упали двое, потом третий. Солдаты уже окружали Беррио, вполне своевременно, но он засунул пистолет в кобуру, повернулся к нам спиной, сел в джип и уехал в город, в том же направлении, что и "скорая помощь". Я подумал, что падре Альборнос поступил очень разумно, когда отсюда сбежал. Задавать друг другу вопросы, уточнять, что правда, что нет, в царившей суматохе не было времени; меньше, чем через пять минут "скорая помощь" снова выскочила на площадь и остановилась возле нас. В нее уложили раненых, последним — Маурисио Рея, и, увидев его, я не мог поверить своим глазам, он показался мне еще более пьяным, чем обычно. "Я не умру, — сказал он мне, — не доставлю им такого удовольствия".

1. Намек на испанский глагол "berrear" — издавать животные крики, злобиться.

Теперь мы все бежали в разные стороны, и некоторые, как и я, бежали и возвращались в одном направлении, не советуясь друг с другом, как незнакомые люди. И тут я вспомнил про Отилию и остановился. Посмотрел вокруг. Чудовищный взрыв прогремел на краю площади, в самом сердце города, сероватое облако дыма рассеялось, и никого уже не было видно, только одинокая собака вынырнула из клубов пыли, она хромала на одну лапу и выла. Я пытался хоть где-нибудь разглядеть людей: никого. Я был один. Новый взрыв, еще более оглушительный, сотряс воздух на другом конце площади, недалеко от школы. И тогда я пошел к школе, подгоняемый тяжелым предчувствием, — я думал, что найду Отилию именно там, в самом опасном месте боя, в школе. Если ей пришло в голову искать меня в доме падре, почему она не могла отправиться в школу?

— Куда вы, учитель? — закричала сеньора Бланка в приоткрытую дверь. Из-за двери высунулась только половина ее белого лица. — Идите сюда, спрячьтесь, только быстрей.

Я нерешительно пошел к приходскому дому. Стрельба усиливалась со всех сторон, и вблизи, и вдали. В нескольких метрах от меня пробежала горстка солдат. Один из них, бежавший, видимо, спиной, налетел на меня и ударил в плечо; я покачнулся и чуть не пропахал землю носом. Так я оказался прямо перед белым перекошенным лицом сеньоры Бланки.

— Я ищу Отилию, — сказал я.

— Она наверняка уже дома, ждет вас. Не надо рисковать, учитель. Заходите или я закрываю. Вы только послушайте, какая стрельба.

— А если Отилия в школе?

— Не будьте упрямцем.

И тут я снова пожалел о былой своей памяти: только теперь я вспомнил слова Рея о том, что он посоветовал Отилии искать меня в доме бразильца. Туда я и поспешил под крики сеньоры Бланки, пытавшейся меня остановить:

— Вас убьют, — кричала она.

Добравшись до дома Жеральдины, я увидел, что дверная решетка, как и дверь, заперта на цепь и висячий замок. Моя дверь тоже — засов был задвинут изнутри; напрасно я стучал и кричал, чтобы мне открыли. Я испугался, сообразив, что, если бы Отилия была дома, она бы уже наверняка мне открыла, но не хотел додумывать эту мысль. Может, она просто меня не слышит. А дочь Султаны там, внутри, или ушла?

Из-за двери доносится плач.

— Это я, открой скорей.

Никакого ответа.

На углу улицы, недалеко от меня — я стою, прижавшись лбом и ладонями к деревянной двери, — появляется еще одна группа солдат. Это не солдаты, понимаю я, чуть повернув голову. Семь-десять человек в камуфляжной форме, но в болотных сапогах — это партизаны. Они тоже видят меня, прижавшегося к двери, и знают, что я вижу их. Видимо, они направляются ко мне, но тут их накрывает, полностью отвлекая, автоматная очередь с противоположного угла улицы; они бегут в ту сторону, согнувшись, прицеливаясь из винтовок, но самый последний останавливается на секунду и в эту секунду оборачивается ко мне, как будто хочет мне что-то сказать, как будто узнал меня и уже открыл рот, чтобы спросить, я это или не я, но он молчит, молчит, он скажет мне что-нибудь? я вижу, словно сквозь пелену тумана, молодое угрюмое лицо, горящие, как угли, глаза; он подносит руку к поясу и не сильно, по дуге, бросает в мою сторону что-то похожее на камень. Граната, Боже мой, кричу я в душе, я сейчас умру? Мы оба следим за траекторией гранаты, она падает, один раз подскакивает и, не взрываясь, крутится, как обыкновенный камень, в трех-четырех метрах от моего дома, как раз между дверью Жеральдины и моей, на краю тротуара. Парень секунду зачарованно смотрит на нее и наконец говорит, и его слова звучат на всю улицу, как поздравление: “Ух какое везение, дедуля, купи себе лотерейный билет”. По простоте душевной я чувствую, что должен ему что-то ответить и собираюсь сказать: да, повезло, правда? но его уже и след простыл.

И тут открывается дверь моего дома. За ней стоит плачущая дочка Султаны:

— А моя мама? — спрашивает она. — Я поищу маму?

— Пока нельзя, — говорю я.

Войдя в дом, я закрываю за собой дверь. Я все еще думаю о невзорвавшейся гранате. Она еще может взорваться и разрушить фасад дома и даже весь дом. Я поспешно иду к двери в сад. Там тоже слышны выстрелы, взрывы. Я спешу обратно, плачущая девушка не отстает от меня ни на шаг, вбегаю в свою комнату и, словно со стороны, наблюдаю, как заглядываю под кровать, снова иду в сад, ищу на кухне, в комнате нашей дочери, в ванной.

— А Отилия? — спрашиваю я. — Отилия не приходила?

Нет, говорит девушка, и повторяет, качая головой и не переставая плакать, не приходила.

* * *

Некоторое время мы метались по дому, спасаясь от взрывов, от их близости, втянутые в их бешеную круговерть, и, нако-

нец, остановились у окна гостиной, откуда урывками завороженно наблюдаем за противниками, не отличая, кто из какой армии — все лица одинаково зверские; мы чувствуем, как они, пригнув головы, пробираются под нашими окнами, то крадучись, то бегом, то что-то горланя, то потерянные, словно онемевшие, но всякий раз — под аккомпанемент топающих сапог, прерывистого дыхания и проклятий. Нас подбрасывает взрыв еще большей силы, теперь уже из сада; толстое раскрашенное стекло на восьмиугольных настенных часах — рекламной продукции Алка-Зельтцер, приобретенной Отилией в Попайане, — покрывается тысячью трещин, и стрелки навеки замирают ровно на пяти часах. Я бегу по коридору к двери в сад, не думая об опасности; как я могу о ней думать, если война пришла уже и в мой дом. Половина фонтана из ошлифованного камня исчезла; на блестящем мокром дне еще подрагивают золотые рыбки, что с ними делать? собрать? что подумает Отилия — задаю я себе нелепый вопрос, — когда увидит такую разруху? Я подбираю рыбок, одну за другой, и выкидываю подальше, размахнувшись со всего плеча, чтобы Отилия не увидела своих рыбок мертвыми.

В глубине сада дымится разбитая на две части ограда, отделяющая наш участок от участка бразильца, — в проломе уместятся два человека, куски лестницы разбросаны по всей округе, лежат вырванные из земли цветы, глиняные горшки превратились в пыль; часть ствола одного из апельсиновых деревьев треснула по всей длине и отогнулась на несколько сантиметров, она все еще дрожит и вибрирует, как струна арфы; сад усыпан грудами раздавленных апельсинов, похожих на россыпь странных желтых капель. И вдруг, уже не веря глазам, я вижу неясные силуэты четверых или шестерых солдат — балансируя на бегу, они семенят по ограде, это солдаты? Да, солдаты. Они спрыгивают в мой сад, держа меня под прицелом, я улавливаю запах пота, хриплое дыхание; кто-то из них спрашивает, где дверь на улицу, я показываю и торопливо иду за ними по коридору. В гостиной кричит Кристина: закрыв лицо руками, она ждет, что ее сейчас убьют. Один из солдат, последний, тот, что ближе к нам, кажется, с ней знаком. Я вижу, как необычно пристально он на нее смотрит. “Спрячьтесь под стол, — кричит он ей, — прижмитесь к полу”, — и бежит за остальными. Я знаю, что должен что-то сказать солдатам, предупредить их, спросить о чем-то, но ничего не могу вспомнить. Мы подходим к двери, они осторожно ее открывают. Выглядывают, смотрят по сторонам и выходят. “Закройте дверь”, — кричат они мне. Я закрываю, но что же я должен был им сказать? граната, вспоминаю я, но в это

время другой чудовищный взрыв, снова где-то в саду, отвлекает меня. “Ты что, не слышала? — кричу я Кристине. — Прячься!” — “Куда?” — жалобно спрашивает она. “Куда угодно, — кричу я, — под землю”.

Из сада валит дым — длинный удушливый шлейф, стремительно вползает в коридор. Я бегу в сад сквозь эту спираль; мне виден верхний край ограды, и я внимательно его осматриваю: вполне возможно, что солдат будут преследовать и вместо них натолкнутся на меня, но это не важно, лучше умереть дома, чем на улице. Я вспоминаю Отилию, и смесь страха и злости заставляет меня остановиться прямо в стенном проломе, как будто это меня защитит. Теперь дым валит от другого дерева, горящего, со срезанной кроной; ниже, на белоснежной древесине ободранного ствола я вижу пятно крови, а на корнях — насаженный на отколовшиеся щепки труп кота. Я берусь за голову, перед глазами все идет кругом, а в центре, прямо передо мной, без всякой ограды красуется дом Жеральдины, истинная ирония судьбы — этот пролом, через который я могу отлично видеть весь парк Жеральдины, с террасой и круглым бассейном, и не только видеть, но и зайти в него, но о чем я сейчас думаю? Господи, о голой Жеральдине! Отилия сейчас в этом доме? По другую сторону ограды безлюдно, сквозь сад ничего нельзя рассмотреть. Выстрелы на улице раздаются все реже. Вдалеке, в самом эпицентре криков, возле белого шпиля церкви, поднимаются со всех сторон спирали дыма. Я захожу на соседский участок; он пострадал меньше моего, если не считать исчезнувших гуакамайо, они больше не смеются и не прогуливаются взад-вперед, впрочем, вскоре я их вижу: их окоченевшие трупы плавают в бассейне. Я захожу в дом через террасу. Стеклянная дверь в сад распахнута настежь. “Есть тут кто-нибудь? — кричу я. — Отилия? Ты здесь?”

Кто-то или что-то копошится у меня за спиной, с замиранием сердца я оборачиваюсь. И вижу двух наших кур, сбежавших на участок бразильца, столь же невозмутимых, сколь нежданных; им повезло больше, чем гуакамайо, и теперь они что-то терпеливо поклевывают вокруг себя. Глядя на них, я вспоминаю о маэстро Клаудино, о данном ему обещании.

Я нахожу Жеральдину в той же маленькой гостиной, где недавно с ней здоровался. Она по-прежнему сидит в кресле, по-прежнему в трауре, по-прежнему, словно против воли, погруженная в воспоминания о любимых, ставшие от тоски еще более затягивающими, невыносимыми и сокрушительными. Ее руки лежат на коленях, глаза пусты — воплощение бесконечной боли. День клонится к вечеру, за окнами война, поэто-

му даже обычные густые сумерки мрачнее окутывают все вокруг. Рядом с Жеральдиной сидят еще несколько призраков — эти женщины молятся Деве Марии, они шепчут свои вопросы и ответы, я вклиниваюсь в их молитву. Они не обращают на меня внимания. Тщетно пытаюсь разглядеть среди них Отилию. И понимаю, что, если бы Отилия молилась с ними, она бы уже ко мне подошла. "А где Отилия?" — все-таки спрашиваю я. Они продолжают невнятно бормотать.

— Она заходила, сеньор, — без всяких эмоций отвечает голос Жеральдины, — заходила и ушла.

Я опять возвращаюсь домой, все тем же путем. Иду на кухню варить кофе, сажусь и жду, когда закипит в кастрюльке вода. Она закипает, но я не двигаюсь с места. Вода полностью выкипает, кастрюлька начинает пригорать: с ее дна поднимается тонкая лента дыма, и я вспоминаю горящее дерево и труп кота. Ладно, приготовить кофе я не смог; выключаю плиту; а время? сколько прошло времени? выстрелов больше не слышно; как теперь, с этого момента, будет течь время, мое время? грохот боя затих, только изредка чьи-то причитания вдалеке, словно не имеющие к нам отношения, кто-то кого-то зовет, выкрикивает имя, какое-то имя, топот бегущих ног, неразборчивые звуки, но и они стихают и сменяются абсолютной тишиной. Темнеет, тени подступают со всех сторон, а с ними одиночество. Я предпринимаю еще одну попытку сварить кофе, подношу кастрюльку к крану, но выясняется, что нет воды, света тоже нет, упустил ты возможность выпить кофе, Исмаэль, и кто знает, когда теперь дадут воду и свет; а что сделала бы на твоем месте Отилия? Зачерпнула бы оставшейся в фонтане воды, растопила бы угольную печь и немного скрасила нашу жизнь, сварив нам кофе посреди побоища, но я не двигаюсь с места, наступила ночь, и слышно, как на улице что-то объявляют в громкоговоритель. Всем немедленно вынести из домов раненых, если они есть, если нет — оставаться в домах до тех пор, пока не нормализуется ситуация, именно так объявляет бесстрастный голос: "Пока не нормализуется ситуация. Бандитов мы уже отогнали".

Только жалобный плач раздается в ответ где-то в глубине дома. *Кристина*, думаю я. Это имя выводит меня, наконец, из полного ступора, в который я впал. Я ищу в кухонных ящиках свечу. Тщетно. Придется пробираться по собственному дому на ощупь; бреду в свою комнату — мы с Отилией делим ее с этим древним деревянным святым, Антонием, своего рода алтарем, в котором хранятся свечи и спички. В темноте снова слышен плач; конечно, это плачет девушка, но в комнате

ее нет. Руки у меня дрожат, я с трудом зажигаю свечу. С этим огоньком я брожу по дому и зову Кристину. Оказывается, она забралась в комнату нашей дочери — сюда я не заходил несколько лет, обычно только Отилия молится здесь за всех: “Здесь мы ближе к нашей дочери”, — так она говорила.

— Кристина! — кричу я. — Ты ранена?

— Нет, — отвечает она наконец и вылезает из-под кровати.

После всего, что случилось, после всего, что творится вокруг, я чувствую ужас и отвращение к самому себе, потому что вольно или невольно замечаю в скудном пламени свечи задравшееся платье, худенькие бледные бедра, темную поросль между ног; лицо Кристины залито слезами, она снова испуганно спрашивает: “А мама?”. Она прижимает к себе старого плюшевого медведя моей дочери. Совсем девчонка, могла бы быть моей внучкой.

— Если хочешь, можешь пойти ее искать, — говорю я. — Хочешь вернуться, возвращайся, не хочешь — не возвращайся, только перестань плакать.

— Но как? — с трудом отвечает она. — Слезы сами текут.

— Сейчас не время плакать, Кристина. Я не предлагаю тебе смеяться, я только говорю, что поиски тех, кого мы ищем, требуют сил. А от слез слабеешь.

То же самое я повторяю себе самому.

Она выходит из дома, громко хлопнув дверью, и убегает в ночь — в ночь, которая вынуждена расстилаться над землей так же, как улица: в безлюдье. Я сижу на кровати дочери, со свечой в руке, и чувствую, как капает мне на руку воск, как гаснет в пальцах фитиль, как воняет моей собственной паленой кожей — и так до рассвета. Ты не вернулась, Отилия, ни раньше меня, ни позже. Придется снова идти тебя искать, но куда? куда ты могла пойти искать меня?

Я слышу: запели птицы, запели, несмотря ни на что. Передо мной проступает сад, рассеченный частицами света; утро сегодня бледное; на кухне мяукают уцелевшие коты. Я делаю то же, что сделала бы Отилия: даю им хлеба с молоком и сам завтракаю тем же; я один из твоих котов, думаю я, и вспоминаю про мертвого кота; нужно его закопать, чтобы ты, Отилия, не увидела его мертвым. Я иду к дереву: растерзанный кот на месте, и я хороню его под деревом. Лачуга маэстро Клаудино — последнее пристанище, куда ты могла пойти меня искать, Отилия, я ведь рассказал тебе, что хочу подарить маэстро курицу, — значит, ты там: там тебя застала война, там тебя застану и я, и отправлюсь туда немедленно, повторяю я с уверенностью, с упрямством, похожим на свет в густом тумане, который люди называют надеждой.

* * *

Но сначала я разыскиваю и ловлю в саду бразильца одну из кур, моих кур, решивших переселиться на соседский участок. Через стеклянную дверь я чувствую взгляд погруженной в траур Жеральдины — она изумленно наблюдает, как я гоняюсь за курицей, настигаю ее наконец и, смеясь, запихиваю в рюкзак: будет у нас с Отилией и маэстро Клаудино куриный суп. Я возвращаюсь домой через пролом в ограде, так и не вспомнив, что забыл поздороваться с Жеральдиной, и не попрощавшись с ней. На пустынных улицах города я сразу забываю про войну и чувствую только горячую курицу под мышкой, думаю только о курице, о ее волшебном спасении, о маэстро Клаудино, Отилии, собаке, лачуге, обо всех нас, уютно сидящих вокруг котелка с куриным супом, за тридевять земель, на неуязвимой синей горе — той, что высится сейчас передо мной, наполовину скрытая в тумане.

Самый последний дом на мощеной улице перед шоссе принадлежит Глории Дорадо. Маленький, но опрятный и чистый, окруженный манговыми деревьями — подарок Маркоса Сальдарриаги. Мне кажется, что в приоткрытой двери промелькнула Глория в белой пижаме с метлой в руке; она явно хотела мне что-то сказать, но не стала и закрыла дверь. Наверно, хотела поздороваться, но передумала, увидев мое сияющее лицо, такое неуместное рядом с печалью, в которой она живет с того дня, как пропал Сальдарриага. Уже на шоссе я слышу за спиной ее голос, голос Глории Дорадо, странной мулатки со светлыми глазами, ради которой всегда так лез из кожи Сальдарриага:

— Будьте осторожны, учитель. Мы до сих пор не знаем, в чьих руках город.

— Чьи бы они ни были, это одни и те же руки, — говорю я, прощаюсь и иду дальше. Как приятно оставить позади Сан-Хосе, по самые крыши затопленный одиночеством и страхом, когда у меня в душе есть уверенность, что наверху я найду Отилию.

Уже далеко за городом, рядом с конной тропой, когда ночь и рассвет еще не разделились окончательно, в кустах возникают три тени, выскакивают на меня и берут в кольцо, очень тесное, настолько тесное, что я не могу видеть их глаз. Нельзя понять, солдаты это или не солдаты, местные они, соседские или пришлые, но разве это важно? меня ждет Отилия... Что-то похожее на запах крови парализует меня, и я спрашиваю себя: неужели я и про войну позабыл? что со мной? Слишком поздно я сожалею, что не послушался Глории Дора-

до: *в чьих руках мы находимся* — нужно было вернуться домой? а как же Отилия?

— Куда направляетесь, дед?

Они прижимаются ко мне, теснят, кончик ножа у живота, холод ствола на шее.

— Я иду за Отилией, — говорю я. — Она там, наверху.

— За Отилией, — эхом повторяют они.

Один из троих говорит:

— Отилия — это кто же? Корова?

До этого я думал, что двое других хотят повеселиться, но повисает тишина, гнетущая и тревожная. А я-то принял все за шутку и обрадовался, что под их смех смогу сбежать вместе с курицей. Но они не шутили. Они действительно хотели знать, не о корове ли я говорю.

— Это моя жена. Я иду за ней наверх, на гору.

— Какой шустрый, — говорит один из них.

Он наклоняется ко мне, обдавая запахом табака:

— Вы что, не слышали? Просто так выходить из дома нельзя. Возвращайтесь, откуда пришли.

Они сдвигаются, надвигаются еще тесней.

— Я не слышал, — говорю я. — Я иду за своей женой к маэстро Клаудино.

— Никаких маэстро Клаудино.

Второй говорит мне прямо в ухо, и от его кислого дыхания в ухе становится сыро.

— Скажите спасибо, что мы разрешаем вам вернуться. Хватит канючить, отправляйтесь назад и не выводите нас из себя.

Третий тянется и заглядывает в мой рюкзак:

— Что там у вас? — он приоткрывает его забинтованным пальцем.

И смотрит мне прямо в глаза:

— Чем промышляете? — строго спрашивает он.

— Забиваю кур, — отвечаю я. До сих пор не знаю, почему я так ответил, из-за куриного супа?

Двое других тоже вытягивают шеи.

— И очень упитанных, — говорит один.

Близко, совсем близко от обочины шоссе начинается конная тропа на гору. Отилия ждет меня там, наверху, я это чувствую. Или хочу чувствовать. С запозданием я понимаю, насколько беззащитен на этом шоссе, ранним утром, где сейчас только мы: *они и я*. Слышно — я слышу, вижу, — как ветер поднимает маленькие волны пыли между камнями, может быть, я, наконец, умру? Меня сковывает беспощадный холод, словно спустившийся на нас по конной тропе и подго-

няемый ветром — он заставляет меня думать, что все неправда, что Отилии наверху нет, заставляет меня впервые потерять надежду.

— Возьмите курицу себе, — говорю я.

Они мигом выхватывают ее из рюкзака.

— Он сам спас себе жизнь, — кричит один из них и хохочет.

— Я прямо сейчас сверну ей шею, — говорит другой. — Не успеете и глазом моргнуть.

Даже не взглянув в мою сторону, они перебегают дорогу, а я начинаю подъем по конной тропе. До меня только теперь дошло, что курицы не вернуть. На первом же повороте я останавливаюсь. Сложив руки рупором, я кричу им сквозь листву:

— Я убиваю только кур.

И так я кричу, снова и снова, в порыве злости и страха, оставшись без куриного супа, о котором мечтал:

— Я убиваю только кур.

Паника, испуг от того, что зря стал кричать, заставляют меня бежать в гору, удирать из последних сил, не обращая внимания на выскакивающее сердце. Я напрашивался на смерть, но, видимо, голод оказался сильнее, чем охота кричать, что я убиваю только кур, пока не убьют меня самого. Хотя все это не имело значения, потому что я думал только об Отилии.

Как только я поднялся к лачуге, невыносимая тишина подсказала мне, какая меня ждет картина. Отилии там не было. Был труп маэстро Клаудино, без головы; рядом — труп его собаки, окровавленный ком. На стенах надписи сажей: *за пособничество.* Мой взгляд нечаянно наткнулся на голову маэстро, лежавшую в углу. Не только его лицо, но и гитару размозжили о стену; не пришлось даже снимать ее с гвоздя — такая абсурдная мысль пришла мне в голову, — но выкрикивал я в этот миг только ее имя: *Отилия.* Несколько раз я обошел вокруг лачуги, не переставая ее звать.

Это было последнее место, где я мог ее искать.

Наконец я вернулся на шоссе, в воздухе все еще стоял запах жареной курицы. Сдерживаемая рвота подкатила к самым зубам, и там же, на той же обочине, напротив дыма от костра, кружившего вокруг кустов, я выдал то, чего не ел: свою желчь. Сейчас они точно меня убьют, думал я, когда торопливо, из последних сил, шел по шоссе, хотя мне хотелось бежать, потому что я все еще надеялся найти в городе ищущую меня Отилию.

* * *

Сейчас, поздним утром, казалось, что в Сан-Хосе очередное воскресенье, *все идут туда, куда приходят*, отупело твердил я про себя, потому что ни одно лицо, попадавшееся мне на пути, не было лицом Отилии. Та же Глория Дорадо без единого слова сказала мне на окраине города: “Верьте”, так она мне сказала. Метрах в пятидесяти от шоссе, у колодца, мылись, стирали одежду и шутили солдаты.

Немного не доходя до площади, в прямоугольном здании бывшего “рынка”, слышатся мужские голоса, они спорят, предлагают, возражают. Кто-то говорит в микрофон. Я вхожу, но столпившиеся в коридоре люди мешают мне попасть внутрь. Тут я в первый раз ощущаю полуденную жару. Остановившись, я слушаю спор, даже различаю в глубине зала, в самом центре, среди моря голов, головы падре Альборноса и алькальда. Говорит учитель Лесмес: он предлагает переселить город вместе с пригородами, чтобы “военные и партизаны обнаружили сцену военных действий пустой” — так он говорит. В ответ раздаются голоса, кто-то кричит, кто-то невнятно ропщет. Некоторые думают, что нужно захватить шоссе и удерживать его, пока правительство не отведет полицию подальше от Сан-Хосе. “Да, — говорит Лесмес, — пусть хотя бы уберут из центра города траншеи, пусть прекратят атаки на горожан”. Рассказывают, что в этом нападении на город погибло пятеро военных, трое полицейских, десяток повстанцев, четверо гражданских и один ребенок, не меньше пятидесяти человек ранено. В собравшихся не видно согласия, но какая мне разница? ведь Отилии тоже не видно; я хочу уйти, но плотная масса людей, вошедших вслед за мной, не позволяет этого сделать; напрасно я пытаюсь протиснуться; мы все потеем и тупо глядим друг на друга; алькальд зачитывает свои предложения: он дойдет до самого правительства и потребует начать переговоры с вооруженными мятежниками. “Мы должны решить эту проблему на корню, — говорит он, — вчера они пришли в Апартадо, в Торибио, сегодня в Сан-Хосе, а завтра — в любой другой город”. — “Переселение города — вот чего они добиваются, — встревает падре Альборнос, — они дали мне это понять”. — “Мы не можем оставить город, — взволнованно отвечают несколько мужчин, — здесь у людей есть та малость, которую они заработали тяжелым трудом, и мы не намерены бросать все это”. — “Переселение — не выход”, — принимает решение алькальд, и все-таки невозможно не ощущать скрытый страх перед новым неизбежным нападением; кто мог подумать, что такое случится и с нами, говорят и повторяют со всех сторон; много лет назад, до нападения на церковь, через наш город шли выселенные из других городов

люди, мы видели их: бредущие по шоссе бесконечные вереницы мужчин, женщин и детей, молчаливые толпы, лишенные хлеба и будущего. Много лет назад три тысячи выселенных из родных мест людей надолго остановились в Сан-Хосе, и вынуждены были уйти, чтобы не израсходовать до конца запасы в импровизированных приютах.

Теперь пришла наша очередь.

"У меня в доме все вверх тормашками! — кричит чей-то голос. — Кто мне за это заплатит?" Раздается язвительный смех. Падре Альборнос начинает молитву: "В благости Божьей, — произносит он, — Отец наш, сущий на небесах..." Смех стихает. Я думаю об Отилии, о своем доме, мертвом коте, рыбах и, пока идет молитва, умудряюсь, наконец, каким-то образом выйти, словно вынесенный другими телами, к двери — значит, никто не хочет молиться? Снаружи я слышу голос Ану, продавца пирожков, эхом прыгающий по раскаленной улице. Я машинально иду к площади. Несколько мужчин — некоторых я знаю — замолкают при моем приближении. Меня смущенно приветствуют. Они разговаривают о капитане Беррио, отстраненном от должности на время расследования. "Соберут военный трибунал, и все кончится тем, что он станет полковником в другом городе в награду за стрельбу по гражданским", — предсказывает старик Сельмиро, еще более старый, чем я, и такой мой друг, что избегает смотреть мне в глаза; почему ты испугался, увидев меня, Сельмиро? тебе меня жаль, ты мне сочувствуешь, но все равно предпочитаешь ретироваться в окружении своих сыновей.

Говорят, что вокруг города все усеяно минами: невозможно выйти за его пределы, не опасаясь, что взлетишь на воздух, где вы были, учитель? все пригороды Сан-Хосе в мгновение ока покрылись минными растяжками, уже примерно семьдесят обезвредили, но сколько еще осталось? Боже! это латунные банки, молочные бидоны, набитые шрапнелью и экскрементами — так говорят вокруг, — чтобы заносить заразу в кровь раненых, какие твари, вот мерзавцы; в толпе рассказывают об Ине Кинтеро, пятнадцатилетней девочке, которая наступила на мину, оглохла и потеряла левый глаз; те, кто пришел в Сан-Хосе, уже не могут, да и не хотят уходить — так говорят вокруг.

— Я иду в больницу, — объявляю я всем.

Мы слышим шум вертолета. Все в ожидании запрокидывают головы, вертолетов уже два, некоторое время мы слушаем их и следим за тем, как они улетают в сторону гарнизона.

Я выхожу из толпы.

— Учитель, — окликает меня кто-то, чей голос я не узнаю, — в больнице убили даже раненых. Не оставляйте поис-

ки своей жены, мы знаем, что вы ее ищите. Ее нет среди мертвых, значит, она жива.

Я останавливаюсь, не поворачивая головы.

— Она пропала, — говорю я.

— Пропала, — соглашается голос.

— А Маурисио Рей?

— Убит, как все раненые. Убили даже доктора Ордуса, вы не знали? В этот раз он пытался спрятаться в холодильнике для лекарств, но они его нашли и изрешетили весь холодильник с доктором внутри.

Я иду дальше, сам не зная куда.

— Ужас, что там творилось, учитель.

— Вы идите спокойно и ждите.

— Они с вами свяжутся.

— Вам необходимо спокойствие.

Опять возвращаюсь домой и сажусь на кровать.

Я слышу, как мяукают уцелевшие коты, отираясь о мои ноги. *Отилия пропала*, — говорю я им. Оба Уцелевших топят в моих глазах свой бездонный взгляд, словно выражая мне сочувствие. Как давно я не плакал.

* * *

Через три месяца после последней атаки на город, ровно через три месяца, потому что с тех пор я веду счет каждому дню, вернулся неизвестно кем, неизвестно как доставленный сын бразильца. Он появился на пороге в семь часов вечера, один, и смотрел на мать без всякого выражения, без единого слова, неподвижный, как статуя. Она бросилась к нему, расцеловала, расплакалась, но он словно спал с открытыми глазами, словно полностью отсутствовал, и с тех пор так и не сказал ни слова. Бледный, кожа да кости, худой, как никогда, хотя худым никогда не был, он стал похож на ребенка, насильно отброшенного в старость: непроницаемый, угрюмый, он ничего не делает, только сидит, принимает пищу, плачет в одиночестве, когда чем-то напуган, слушает, но не слышит, смотрит, но не видит, по утрам просыпается, по вечерам засыпает, не реагирует ни на один голос, даже на голос своей матери — безутешной, не снимающей траура Жеральдины. В кармане его рубашки лежала записка от похитителей, в которой они уточняли, к какому Фронту принадлежат, с кем Жеральдине нужно связаться и какую цену они требуют за жизнь бразильца (Грасиэлита даже не упоминалась).

С тех пор Жеральдина жила, словно окаменев от страха: ей приказали никому не раскрывать полученных инструкций, угрожая немедленной казнью мужа. Растерянная, не ре-

шаясь ничего предпринять, она не смогла не посвятить в свою трагедию меня и Ортенсию Галиндо, потому что мы были с ней, когда вернулся ее сын, но мы не знали, как ей помочь, что предложить, что делать, потому что с нами случилось то же самое, а у меня к тому же нет никаких известий об Отилии; моя Отилия без меня, мы друг без друга. Жеральдина решила ждать из Буги брата, который "ей поможет". Она бросила все силы на то, чтобы вывести сына из полумертвого состояния, тщетно пытается разбудить его от кошмара, в который он погружен, не оставляет ни на минуту одного, следит за каждым его движением, в отчаянии прибегает к разным играм вроде магических песен и безуспешно пытается убедить себя, что он в них участвует — он, мальчик, похожий на упакованную в саркофаг мумию. Она хотела отвезти его в Боготу, к специалистам, но боится уехать из тех мест, где сидит в плену ее муж. Молодая докторша, которой повезло проходить практику в нашем городе, одна из немногих переживших нападение на больницу, сказала, стараясь успокоить Жеральдину, что болезненный транс ее сына обязательно пройдет, ему нужно только время и полный покой; да, но неопределенность, царящая в Сан-Хосе, может быть, и похожа на покой, но это не покой; люди рано расходятся по домам; те несколько магазинов, что еще упрямо открываются утром, работают только до обеда; потом все двери запирают, и Сан-Хосе агонизирует в жаре, такой же мертвый или почти мертвый, как мы, его последние обитатели. Только собаки и свиньи, вынюхивающие что-то между камнями, да грифоны, всегда невозмутимые, вальяжно сидящие на ветвях, кажутся единственными существами, которые не замечает этой живой смерти. А мы снова в новостях; каждый день растет количество убитых; после атаки под обломками школы и больницы нашли новые трупы: Фанни, консьержку, с осколком гранаты в горле и Султану Гарсиа, мать Кристины, которую вытащили из-под кирпичей изрешеченную пулями, но "все еще с метлой в руках", как горько прокомментировали люди. Мысль о том, что я разговаривал с ними за несколько часов до их смерти, неожиданно пронзает меня за любым занятием, когда я один или среди людей, и я холодею от страха за Отилию: а вдруг и она отыщется так же? от этой мысли я открываю рот, как будто впал в маразм, выставляю перед собой руки, как будто отгоняю нечистую силу, и вытаращиваю глаза, как будто сам себя заподозрил в том, что схожу с ума на краю пропасти, уверенный, что неведомая рука вот-вот толкнет меня в самый неожиданный момент, именно в этот момент, немедленно, сейчас.

Снова взорвались мины-растяжки — "дали о себе знать", как говорят люди, — но, по счастью, пока без человеческих жертв: подорвались две собаки, одна из саперной команды (похороненная с воинскими почестями), другая — бродячая, две свиньи, мул и военный грузовик, в котором никто не пострадал. Происходит что-то невероятное: нас как будто окружило невидимое и потому еще более грозное войско. Ни один врач не приехал вместо погибшего Хентиля Ордуса, ни один блистательный пьяница не появился на улицах города вместо Маурисио Рея. Учитель Лесмес и алькальд уехали в Боготу; на их петиции с требованиями вынести окопы за пределы Сан-Хосе никто не обратил внимания. Зато война и голод приживаются, и вполне уверенно. Сотни гектаров земли вокруг Сан-Хосе, засеянные за последние годы кокой, "стратегическое положение" города, как выражаются в газетах знающие люди, превратили эту местность, еще именуемую главными действующими лицами конфликта "коридором", в лакомый кусок, за который дерутся зубами и когтями, так что война здесь сочится даже из человеческих пор; люди обсуждают это на улицах в наиболее безопасное время, прибегая к словам и брани, смеху и плачу, молчанию и призывам. Не буду отрицать, что скучаю по беседам с доктором Ордусом и Маурисио Реем, тем более что падре Альборнос тоже решил по-своему умереть: он покинул Сан-Хосе вместе со своей дьяконшей, даже не попрощавшись; на его место приехал священник, не столько чужой, сколько запуганный, недавно посвященный в сан падре Санин, из Манисалеса.

Не избежал дыхания смерти и Чепе. Его беременную жену, правда, не убили, но увезли: она пришла в больницу на плановый осмотр, как раз когда началась атака на город. Чепе обнаружил под дверью записку: *У вас, сеньор, перед нами должок, так что мы забираем вашу беременную жену. Карменса у нас, и нам нужно 50 миллионов за нее и еще 50 за будущего ребенка, и больше с нами не шутите.* Новость об этом двойном похищении немедленно появилась в газете под заголовком: "Анхелика, похищенная до рождения". Так вышло, что сам Чепе, когда у него, обмякшего от горя, брали интервью, назвал журналистке задуманное для дочери имя. Рыжеволосая молоденькая журналистка, которая освещает последние события в Сан-Хосе, не только печатает статьи в газете, но и берет интервью в прямом эфире для телевизионных новостей. Она прилетела в Сан-Хосе в сопровождении двух офицеров (помимо своего оператора) на одном из двух вертолетов, прибывших, чтобы перевезти тяжелораненых — и убитых — в их родные места.

Она удостоилась таких военных привилегий потому, что доводится племянницей генералу Паласиосу. Уже несколько дней она бродит под особенно яростным в этом месяце солнцем — белая шляпа на рыжих волосах, глаза скрыты за темными очками. Сегодня утром я видел, как она прошла мимо моей двери и на секунду замешкалась, вопросительно глядя на оператора, но тот в ответ только нетерпеливо поморщился. Наверно, она раздумывала, заслуживаю ли я, одинокий старик, сидящий возле собственного дома, отдельного снимка. Решила, что нет, и пошла дальше. Я узнал ее, потому что видел по телевизору, у Чепе. Похоже, что здесь, в выжженном солнцем городе, ей не очень нравится. Она идет дальше по взорванным улицам с разрушенными домами. Неторопливая, в зеленой майке, мокрой от пота на спине и в ложбинке на груди, и кажется, что она идет по аду, страдальчески кривя рот. "Слава богу, завтра мы уезжаем, Хаирито", — говорит она оператору.

Я вышел из дома спозаранку, чтобы посидеть у двери, где любила сидеть Отилия, ожидая моего возвращения. Я все еще видел упорную дымку на солнце, это несчастье, которое по непонятной мне причине мы все, кто остался в городе, упрямо стараемся не замечать. Мысль о Чепе и его беременной жене — как они смогли ее увезти? как они перевозят таких толстяков, как Сальдарриага, как заставляют километр за километром подниматься и спускаться по горам? — помогла мне встать и пойти. Я хотел проведать Чепе. Лучше уж послушать другого, чем сидеть дома, лишний раз убеждаясь в том, что Отилии нет.

Восемь утра, я захожу в кафе. Некоторые сидят за столиком на галерее, возле Чепе, и в гробовом молчании пьют кофе. Другие — кто где — пьют пиво и курят. Музыки сегодня нет. Чепе кивает мне в знак приветствия. Я сажусь напротив него на неудобный колченогий стул.

— Это значит, что ее убьют, — говорит мне Чепе.

Он смотрит на меня пристально, чересчур пристально, он пьян? и протягивает мне записку, которую я не беру, но даю понять, что знаю ее содержание.

— Откуда я возьму эти деньги? — спрашивает он. — Сдохнуть мне на этом месте, учитель, откуда?

Что я могу ему ответить. Мы молчим. Девушка с маргариткой в волосах приносит мне чашку кофе. Сейчас она без маргаритки, и лицо у нее хмурое. Возможно, ее злит мой пристальный взгляд. Она уходит, недовольная. Она уже не слушает нас, как прежде, не хочет слушать. Я замечаю под столом водочные бутылки.

— Откуда? — обращается Чепе ко всем.

Мы не можем определить, смеется он или плачет, но у него кривится рот и трясется голова.

— Объясни им это, Чепе, — советует кто-то.

— Торгуйся с ними, торгуйся. Все так делают.

Позади Чепе я вижу несколько знакомых лиц; некоторые молча улыбаются, готовые отпустить какую-нибудь шутку, потому что, несмотря на пули и льющуюся кровь, всегда находится кто-то, кто смеется и смешит других, издеваясь над смертью и похищениями. Сейчас они проявляют лишь сердобольную полуиронию, потому что слезы Чепе похожи на смех.

Чепе берет себя в руки. Он словно разом проглатывает все слезы.

— А вы, учитель, узнали что-нибудь о своей жене?

— Ничего.

— Долго ждать не придется, учитель, — говорит кто-то. — Видимо, они пока оценивают ваши несметные богатства.

Кто-то другой говорит:

— Учитель, зайдите на почту. Там для вас два письма.

— Правда? Разве почта работает?

— Мир еще не рухнул, учитель, — говорит один из тех, кто смеялся.

— Ты-то что в этом понимаешь, — говорю я ему. — Это твой мир не рухнул, а мой рухнул.

Я допиваю кофе и иду на почту. Наверно, письма от моей дочери, думаю я. После того что случилось в церкви, она написала нам письмо, предлагая переехать к ней, уверяла, что ее муж примет нас хорошо, умоляла подумать о внуках. Ни я, ни Отилия не сомневались ни минуты: мы никогда не уедем отсюда.

* * *

Это действительно письма моей дочери. Я не читаю их на почте, а снова иду домой, как будто там меня ждет Отилия, и мы прочтем их вместе. Уже возле дома я вижу несколько детей, сидящих в кружок на корточках, на краю тротуара. Я прошу их пропустить меня, но они сидят неподвижно, почти соприкасаясь головами. Я заглядываю сверху и вижу: детские руки, худые и загорелые, тянутся к ручной гранате. “Граната! — мысленно кричу я, — Она еще здесь”.

— Ну-ка, — говорю я.

Старший из мальчиков решается, хватает гранату и отпрыгивает назад. Остальные следуют его примеру. Я их напугал. “Не может быть, — думаю я, опуская письма дочери в кар-

ман, — я взорвусь, не прочитав твои письма, Мария". Я тянусь к гранате, но парень не собирается ее отдавать: "Это не ваша", — говорит он. Остальные поворачиваются ко мне и выжидательно смотрят. Они отлично понимают, что, если побегут, я никогда их не догоню. "И не твоя, — говорю я, — она ничья. Дай мне, она взорвется, ты хочешь взорваться, как та собака, которую похоронили с воинскими почестями?" Я молю Бога, чтобы мальчик видел, как под звуки военных горнов возле кладбища хоронили собаку. Да, похоже, он отлично знает, о чем речь, потому что сразу отдает мне гранату. Хоть какая-то польза от этих публичных похорон. Остальные дети пятятся от меня всего на пару шагов, но круг не размыкают. "Уходите, — говорю я, — оставьте меня с этой штукой". Они не хотят уходить, они идут за мной — на приличном расстоянии, но идут — а я? куда? я иду по улице с гранатой в руке, сопровождаемый детьми. "Назад! — кричу я им. — Не ходите за мной, иначе мы взорвемся вместе". Но они все равно идут, ничего не боясь, и мне даже кажется, что из домов выходят новые дети и, пошушукавшись с первыми, решительно пристраиваются к толпе у меня за спиной; откуда столько детей? они не уехали? Наконец я слышу испуганный мужской голос: "Зашвырните ее подальше, учитель, что вы делаете". Потом в отдалении другой голос, женский, отгоняющий от меня детей: "А ну по домам!" — кричит этот голос. Дети не слушаются. Притихшие, нетерпеливые, они явно ждут, когда же, наконец, прямо у них на глазах взорвется старик, и даже не подозревают, что взорвутся тоже. Открываются двери других домов, женский голос срывается на визг. Я иду прямо к обрыву. Прохожу мимо заброшенной фабрики гитар. Миную дом Маурисио Рея, уже почти бегу. Останавливаюсь у края обрыва. Теперь дети подходят совсем вплотную; один, самый маленький, голый от пупка до пят, даже хватает меня за рукав. "Уходи отсюда", — говорю я. Пот заставляет меня закрыть глаза. Я уверен, что стоит мне размахнуться для броска, граната взорвется в руке от одного усилия и меня разнесет на куски в толпе детей, вместе с толпой детей, и можно не сомневаться, что рано или поздно кто-нибудь в городе пошутит: *взрываясь, учитель Пасос прихватил с собой немало детей* - так я думаю, ладонью чувствуя твердую поверхность гранаты, зверя с огнедышащей глоткой, который уничтожил бы меня своим выдохом, будь я один — по крайней мере, я не почувствовал бы боли, и мне не пришлось бы ждать тебя, Отилия, разве я не говорил, что буду первым? дети по-прежнему стоят у меня за спиной, я делаю последнюю безрезультатную попытку отогнать их страшными гримасами, но они,

наоборот, подходят еще ближе; где-то в отдалении их зовут мужские и женские голоса, я поднимаю руку и бросаю зверя в пропасть, раздается взрыв, нас ослепляют вихри летящих снизу мелких искр — разноцветных огоньков, с треском убегающих по ветвям деревьев в небо. Я оборачиваюсь к детям: у них восторженные, отрешенные лица, как будто они смотрят фейерверк.

Я иду домой мимо раскрасневшихся женщин; они слишком поздно узнали новость и спешат за своими детьми: некоторые обнимают их, другие бранят и пускают в ход ремень, как будто дети виноваты, думаю я и одновременно стараюсь понять, что спрашивают меня мужчины, потому что теперь за мной идут и мужчины, и женщины. “Где была эта граната, учитель?” — “На моей улице”. Из головы не идет непростительная оплошность, в которой я до сих пор не признаюсь: забыть об этой гранате на месяцы, и вокруг нее выросла бы трава, закрыла бы ее со всех сторон, — думаю я, чтобы оправдаться, — превратила бы ее в серую плесень и похоронила навсегда. Родители детей провожают меня до самого дома и заходят, как к себе домой, что празднуем? кого мы победили? но так даже лучше, уже давно никто не заходил в этот дом, словно он непригоден для веселья, а если бы из кухни вышла Отилия? меня поздравляют, кто-то скандирует мое имя, весть разносится за минуту, но у меня только одно желание: прочитать письма дочери, без посторонних. Это невозможно. Приходит Чепе и те, кто выпивали у него в кафе. Один из них подает мне рюмку водки, и я осушаю ее залпом. Народ аплодирует. Оказывается, у меня дрожит рука, мне было страшно? конечно было, и я намочил штаны, я заметил это, но намочил не от страха, я повторяю: это старость, просто старость; я закрываюсь у себя в комнате, чтобы переодеться. И даже там не чувствую стыда, ведь я не виноват, что теряю память, ни один старик в этом не виноват, думаю я. Переодев брюки, я остаюсь в комнате, сажусь на кровать с письмами в руке, снова разглядываю почерк дочери, но мне хочется прочитать письма в одиночестве, нужно выпроводить этих друзей. “Что случилось, учитель? — кричат мне из-за двери. — Выходите к нам!” — и, когда я выхожу, все смеются и аплодируют. “Учитель, у вас нет музыки?”

Те же самые дети, которые нашли гранату, ходят по саду, явно в поисках еще одной, чтобы продолжить праздник, их приводит в настоящий восторг расколотый надвое ствол, обугленное апельсиновое дерево, обломки фонтана для рыбок, увядшие цветы среди мусора — вернувшись, Отилия расстроится, потому что я забыл полить цветы. Несколько соседок

оккупируют кухню, разжигают угольную печь и варят кофе на всех. “Чем вы питаетесь, учитель? Не теряйте веры, Господь обязательно явит свое милосердие, и Отилия вернется, мы каждый день за нее молимся”. Перепуганные Уцелевшие наблюдают за толпой с забора. В проломе стены я вижу черную фигуру Жеральдины, а рядом — ее онемевшего сына. Городские кумушки рассказывают ей про гранату. Мне снова подносят выпить, и я снова пью залпом. “На самом деле, — говорю я по секрету Чепе, но как будто кричу во все горло, — я был бы рад взорваться, но один”. — “Я вас понимаю, учитель, понимаю”, — говорит он, и глаза у него красные. Из толпы женщин появляются Ана Куэнко и Росита Витебро и отводят меня на секунду в сторону. “Учитель, почему бы вам не поехать с нами, с нашими семьями?” — спрашивают они. “Куда”, — спрашиваю я. “В Боготу”, — отвечают они. Я не понимаю, о чем речь. “Мы вас умоляем, учитель, мы все уже приготовили и уезжаем прямо сегодня. Вы сможете ждать Отилию в Боготе, оттуда сподручнее улаживать дела. Или поезжайте к своей дочери, но только выбирайтесь из этого города как можно скорей”. — “Я совершенно точно никуда не поеду, — говорю я, — мне это даже в голову не приходило”. Немного помявшись, они признаются, что хотели бы купить и увезти на память нашего древнего деревянного святого, Антония. “Это чудотворец, и, как бы там ни было, мы скорее сохраним его для Отилии, чем вы”. — “Чудотворец? — удивляюсь я. — Здесь про чудеса давно забыли, — и дарю им деревянного святого Антония, — можете забрать его, когда хотите”. Они не заставляют себя уговаривать, дорогу в спальню они знают. Кажется, с большой опаской они торопливо уносят статуэтку святого Антония, уютно, по-детски, лежащего у них на руках, как раз в тот момент, когда на меня нападают сомнения, и я спрашиваю себя, не была бы Отилия против моего решения подарить святого, но окликнуть их не успеваю, потому что в этот момент все расступаются и отходят, словно указывая на меня кому-то.

Это молоденькая журналистка, ее оператор и два офицера.

— Позвольте вас поздравить, — говорит журналистка, подает мне мягкую, чересчур мягкую, руку и немного подтягивает этой рукой к себе. Не выпуская моей руки, она целует меня в щеку; улыбка у нее такая же, как в начале каждой ее телепрограммы. Оператор устанавливает камеру, на секунду склоняется над ней и нажимает одну из двух кнопок. “Только два вопроса, учитель”, — говорит журналистка. От нее пахнет мылом, как будто она только что из душа, но почему запах мыла, исходящий от женщины, в этот раз меня раздражает? Она красивая, у нее влажные рыжие волосы, белая шляпа в руке,

но рядом со мной она кажется нереальной. Она и ее оператор производят впечатление пришельцев из другого мира, какого? у них удивительно безразличные улыбки, все дело в темных очках? им хочется побыстрее закончить, это заметно по их мимике, журналистка снова говорит мне что-то, чего я уже не слушаю, не хочу слушать; я пытаюсь понять себя: ведь она просто выполняет свою работу, на ее месте могла бы оказаться моя дочь, но я не хочу и не могу говорить; я делаю шаг назад и тычу пальцем себе в рот, один, два, три раза, показывая, что я немой. Она изумленно замирает на полуслове, смотрит на меня, не веря своим глазам, — можно подумать, что она сейчас засмеется. Но нет. Ее охватывает что-то вроде негодования: “Какой невоспитанный сеньор”, — говорит она.

— Сегодня учитель решил быть немым, — кричит кто-то в толпе.

Со всех сторон раздается смех. Я иду в свою комнату, закрываю дверь и больше не выхожу — стою, уткнувшись лбом в деревянную дверь, и слушаю, как потихоньку, не спеша расходятся люди. Где-то прямо под дверью мяукают Уцелевшие, подсказывая мне, что можно выходить. В доме никого нет, хотя дверь открыта, сколько времени? невозможно поверить: уже вечер. Даже голод не подсказал мне, как это бывало раньше, который час. Нужно не забывать есть. А забыл я, видимо, потому, что нет электричества. Я иду к двери на улицу и сажусь на стул ждать Отилию, а пока читаю при свете угасающего дня письма Марии. В обоих письмах она пишет, хотя, наверно, слишком поздно, одно и то же: чтобы мы переезжали к ней, в Попайан, что ее муж согласен, что она настаивает. Чтобы ты написала ей письмо, Отилия, почему ты ей не пишешь. Теперь мне придется написать за тебя. Что я ей скажу. Скажу, что Отилия больна, не может писать и шлет привет, возможно, это плохая новость, но в ней есть надежда, оно в тысячу раз лучше, чем признаться в самом плохом: что ее мать исчезла. Мы пока не хотим ехать, скажу я ей, зачем сейчас ехать? это были бы твои слова, Отилия; в любом случае спасибо за предложение и благослови вас Бог, мы будем иметь в виду, но нам нужно подумать, нам нужно время, чтобы освободить дом, время, чтобы оставить то, что нужно оставить, время, чтобы упаковать то, что мы хотим взять с собой, время, чтобы навсегда проститься, время, чтобы на все хватило времени. Раз уж мы прожили здесь целую жизнь, что решают несколько недель? мы подождем, вдруг обстановка изменится, а, если не изменится, тогда посмотрим: либо уедем, либо умрем, так уж Бог решил, и пусть будет, как решил Бог, как пришло Богу в голову, как Богу по душе.

* * *

— Учитель, не надо вам здесь спать, на стуле.

Меня будит сосед, которого я знаю, но сейчас не могу вспомнить. Он держит бензиновую лампу, горящую вполнакала — временами пламя ярко вспыхивает, испуская желтоватые снопы света, полные комаров.

— Они вас живьем съедят, — говорит он.

— Сколько времени?

— Поздно, — говорит он удрученно. — Для этого города поздно, а для остального мира — поди знай.

— Тоже, — говорю я.

Он словно меня не слышит. Он вешает лампу на щеколду, садится на корточки, упирается спиной в стену, снимает шляпу, обнажив бритую потную голову, шрам на лбу, крошечные уши и прыщавый затылок, и начинает обмахиваться ею, как веером. Я точно знаю этого человека, но не помню, кто он, разве это возможно? В полутьме я замечаю, что один глаз у него косит.

— Зайдем в дом, — предлагаю я, — выпьем на кухне кофе.

Непонятно, почему я это говорю, когда на самом деле хочу наконец лечь спать в собственную постель, назло всему миру, как будто меня не волнуют похищения людей, и пусть никто не лезет в мои дела, я хочу спать мертвым сном; почему я это говорю, если, кроме всего прочего, человек с лампой, кем бы он ни был в моей памяти, вызывает у меня отвращение и тревогу — дело в бензиновой вони, в тембре его голоса, в странной манере говорить?

Увидев, что я зажигаю на кухне свечу, он сразу гасит фонарь. “Для экономии”, — говорит он, хотя мы оба знаем, что свечи в городе тоже на исходе. Он садится на пол и играет с Уцелевшими. Это очень странно, потому что Уцелевшие не позволяют себя трогать никому, кроме Отилии, а сейчас мурлычут и сладко трутся о ноги и руки этого человека. Он босой, его ступни покрыты пылью и потрескавшейся грязью, и, если мне не изменяет зрение, подпорченное неверным светом, то я сказал бы, что и кровью.

— Вы первый во всем городе пригласили меня на кофе, — говорит он и добавляет, садясь на место Отилии, — за все эти годы.

Пока мы ждем, когда в печи оживут угли и вскипит вода, я кормлю Уцелевших рисом, разваренным в рисовом супе.

— Учитель, вы сами готовите?

— Да. Достаточно.

— Достаточно?

— Чтобы не умереть с голоду.

— Но раньше ваша сеньора готовила, а вы только ели, правда?

Так и было, думаю я. И снова вглядываюсь в незнакомца: бесполезно; почему у меня отшибает память именно тогда, когда она нужна? Мы молча пьем, сидя по обе стороны печки. Я рад, что хочу спать. Сегодня я точно смогу уснуть и надеюсь без снов, просто без снов; если бы я проспал до утра на стуле, у меня разболелась бы спина, но я буду спать на кровати и внушу себе на несколько часов, что ты, Отилия, рядом — вот было бы хорошо.

Однако знакомый незнакомец все не уходит.

Он сидит, несмотря на то что мы оба одним глотком осушили свои чашки, несмотря на то что кофе в кастрюльке кончился, несмотря ни на что и я начинаю терять терпение. Я вел себя с ним дружелюбно, ведь он позаботился, чтобы я не проспал всю ночь на стуле; Отилия огорчилась бы, проснись я на улице на виду у целого света. “Ну, что ж, — говорю я, — должен с вами попрощаться, хочу лечь спать, и хорошо бы навеки”.

— Это правда, учитель? — спрашивает он, как будто я зря сотрясал воздух. — Правда, что Маурисио Рей прикидывался пьяным, чтобы его не убили?

— Кто это говорит? — спрашиваю я, не сдерживая ярости, которую не могу побороть с тех пор, как увезли Отилию. — Маурисио действительно пил. Не думаю, что в его бутылках была вода.

— Конечно нет, ясное дело.

— Они пахли обычным спиртным.

Мы снова умолкаем, зачем он это спросил? с каких пор здесь не убивают пьяных? Их убивают первыми, и это наверняка очень просто, потому что они беззащитны, а трезвенников всегда большинство, как говорил Маурисио Рей. Свеча догорела, но я не намерен зажигать новую. Мы сидим почти в темноте. Он вздыхает, зажигает лампу и встает. В ее желтоземлистом свете кухня наполняется пляшущими тенями; Уцелевшие убежали, Отилии на кухне тоже нет, Отилии нет нигде.

Только после ухода незнакомца я вспоминаю: это Ану, продавец пирожков; что он здесь делает? нужно было все-таки предложить ему остаться, ведь в такое время, в такой темноте, хоть и с лампой, его легко примут за кого-то, кого следует убить; почему я сказал, что он мне неприятен? несчастный человек, чем он виноват, что никому не нравится? Я зажигаю свечу и выхожу на улицу, надеясь еще его застать, разглядеть вдалеке, окликнуть. Света лампы нигде не видно.

Только чьи-то всхлипыванья слышны в темноте, плачет девочка? тишина, потом снова стон, протяжный, похожий на мяуканье, совсем рядом с моим домом, у дверной решетки Жеральдины — она качается и скрипит. Я иду к решетке, прикрывая ладонью пламя свечи, но это ни к чему: ветер не колышет даже верхушки деревьев, и кажется, что на улице стало еще жарче. Свеча быстро тает. Я вижу: это девушка; она стоит, привалившись к решетке, об нее трется какая-то тень, наверно, солдат. “Что надо, дед, чего уставился”, — говорит он мне со вздохом и скрытой злобой, и, поскольку я не двигаюсь, оторопев от того, что обнаружил совершенно не то, что ждал, — я-то думал, что слышу стоны самого горького отчаянья, — пламя свечи вспыхивает уверенней, заливает их светом, и они замирают единым темным телом. Во время этой вспышки я успеваю различить лицо Кристины, дочери Султаны, — с испуганной улыбкой она разглядывает меня через плечо солдата. “Что смотрите, — повторяет парень, словно предупреждая в последний раз, — уходите”. — “Дай ему посмотреть, — говорит вдруг Кристина, еще больше высовывая потное лицо, чтобы лучше меня видеть, — ему нравится”. По ее голосу я понимаю, что она пьяна, одурманена. “Кристина, — говорю я, — если захочешь вернуться, это твой дом, в нем у тебя есть своя комната”. — “Ага, уже иду, — говорит она, — прямо сейчас, но в компании”. Они с солдатом смеются, а я, пошатнувшись, отступаю назад. Я ухожу, подгоняемый веселыми шутками, и они постепенно затихают в непроглядной ночи у меня за спиной. Я возвращаюсь домой, в свою постель, раздавленный жестокостью Кристининого голоса, ее словами.

При свече я разглядываю свои ботинки, потом снимаю их и смотрю на ноги: ногти загнулись, как крючья, ногти на руках похожи на когти хищной птицы; это война, говорю я себе, что-то липнет к человеку, но нет, нет, это не война, просто я не стригу ногти с тех пор, как пропала Отилия; она стригла ногти мне, а я ей, чтобы не нагибаться, вспомни: чтобы не болела спина; бороду я тоже не брею и не стригу волосы, которые, несмотря на старость, никак не хотят выпадать; однажды утром я понял (только один раз я нечаянно посмотрел на себя утром в зеркало и не узнал), что неспроста при последней встрече Жеральдина оглядела меня так брезгливо, с жалостью, так же, как другие люди, мужчины и женщины, которые уже несколько месяцев умолкают при моем приближении и смотрят на меня, как на сумасшедшего; а что бы сказала ты, Отилия? как бы ты на меня посмотрела? думать о тебе — только причинять себе боль, горько в этом призна-

ваться, особенно когда лежишь в постели и глядишь в потолок без твоего живого тепла, твоего дыхания, неразборчивого бормотанья во сне. Поэтому, когда я хочу уснуть, Отилия, я заставляю себя думать о другом, но рано или поздно заговариваю с тобой, что-нибудь тебе рассказываю и только так засыпаю, пересмотрев всю свою жизнь без тебя, и засыпаю крепко, но этот сон не приносит мне отдыха; мне снились покойники: Маурисио Рей, доктор Ордус; наверно, мне напомнили о них перед сном разговор с Ану и громкий разговор с тобой, когда ты меня как будто бы слушаешь: "Как тебе такая жизнь, — говорю я невидимой Отилии, — Маурисио Рей и доктор мертвы, а Маркос Сальдарриага наверняка еще жив".

— Пусть живые живут, — я уверен, сказала бы Отилия. — Пусть покойники покоятся, а ты не суйся.

Я почти слышу ее голос.

Несколько раз в разговорах Маркос Сальдарриага ссылался на доктора Ордуса как на сообщника партизан, и, наверно, поэтому его хотели выкрасть боевики: чтобы свести с ним счеты или заставить работать на себя, ведь недаром его пациенты шутили, что доктор орудует скальпелем не хуже заправского убийцы. В любом случае зло свершилось, и в адрес доктора посыпались откровенные и завуалированные угрозы, которые сильно отравляли ему жизнь. Ходили абсурдные слухи, что он предоставляет больничные трупы для перевозки в них кокаина, что он у партизан — главное звено в контрабанде оружия, что он распоряжается машинами "скорой помощи" по своему усмотрению, набивая их доверху патронами и винтовками. Ордус защищался своей невозмутимой улыбкой; он лечил генерала Паласиоса, дружил с солдатами и офицерами, независимо от ранга, и никто никогда не жаловался на него как на врача. И все-таки зло свершилось, потому что, какова бы ни была правда, она все равно сгорела бы в огне войны.

Похожее зло настигло и Маурисио Рея, и тоже по вине Сальдарриаги. Они много лет вели политическую борьбу, еще в те времена, когда Аделаида Лопес, первая жена Рея, выдвинула свою кандидатуру на пост алькальда. Она была человеком решительным и ясным, как день, гласили ее лозунги, и, вопреки правилу, на сей раз лозунги не лгали: Аделаида была человеком ясным, как день, и решительным — видимо, поэтому ее избили дубиной и застрелили; четыре человека с пистолетами, а один еще и с дубиной, пришли к дому Рея и попросили его жену выйти на улицу. Никто к ним не вышел. Дело шло к ночи, один из четверых — как отмечали газеты —

был самым отпетым уголовником из всех, кого знавала наша округа; этим людям надоело ждать, они ворвались в дом и силой вытащили Аделаиду и Маурисио. Тот, что с дубиной, бил Аделаиду по голове, пока Маурисио лежал ничком на мостовой с приставленным к затылку пистолетом. Их единственная дочь тринадцати лет выскочила из дома за родителями. И девочку, и мать застрелили. Девочка скончалась на месте, а жену Маурисио на руках отнес в больницу, где она через несколько минут умерла, несмотря на тщетные усилия Ордуса, до последней секунды пытавшегося ее спасти. С тех пор глупейшим образом разладилась дружба доктора и Маурисио, и только потому, что Маурисио во время особо бурных возлияний не стеснялся всячески крыть и поносить доктора, совершенно несправедливо, но исступленно обвиняя его в бездарности.

Один из убийц, задержанный через несколько недель, признал себя членом регионального подразделения Сил самообороны[1]. Он сказал, что их главари собирались три раза, чтобы спланировать это преступление, потому что жена Рея получала все большую поддержку в борьбе за место алькальда и публично отказалась от любого сближения с местными боевиками; в исполнении плана участвовали бывший депутат, два бывших алькальда и капитан полиции. Хотя убийца ни разу не упомянул Маркоса, люди всегда считали, что без Маркоса дело не обошлось. Рей так и не пришел в себя после расправы над своей семьей, стал безудержно пить и во время каждой попойки повторял, что Маркос не раз клеветал на его жену и что он причастен к ее смерти. Через несколько лет Маурисио женился, но это не спасло его от воспоминаний; он никогда не объяснял, почему его не убили вместе с женой и дочерью, хотя постоянно говорил, что рано или поздно его попытаются похитить. Многие ехидничали за его спиной, утверждая, что он прикидывается беспробудным пьяницей, напрашиваясь на сочувствие.

Все эти истории создали Маркосу Сальдарриаге славу человека неуязвимого: ведь он, похоже, ладил и с партизанами, и с боевиками, и с военными, и с наркоторговцами. Отсюда, видимо, появились его огромные деньги, у которых должно было быть несколько источников, потому что он жертвовал

1. Объединенные силы самообороны Колумбии (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) — ультраправые военизированные формирования, официально действовавшие с 1997-го по 2006 г. Ответственны за многочисленные террористические акции. Причастны к организованной преступности и наркобизнесу.

солидные суммы падре Альборносу на благотворительную деятельность, предоставлял миллионы алькальду на общественные нужды (и истраченные, если верить Глории Дорадо, алькальдом на себя), подарил несколько миллионов генералу Паласиосу на его программу защиты животных, оплачивал военную форму и провиант для солдат гарнизона, организовывал им невиданные праздники и начал беззаконно, не мытьем, так катаньем, скупать земли у крестьян: он навязывал владельцам свою цену, а те, кто не соглашался, исчезали, пока не исчез он сам, неизвестно от чьих рук и по чьей воле (покойный маэстро Клаудино, похищенный вместе с ним, так этого и не выяснил, так и не узнал, кто были эти люди, и не стал задавать вопросов); известно только, что Сальдарриага исчез, оставив за собой море ненависти: в последнее время его не уважал никто, разве что любовница и жена, даже охранники и слуги называли его не Сальдарриага, а не иначе как Скот-да-скряга, что не мешало всем жителям Сан-Хосе четыре года подряд девятого марта являться в дом Ортенсии Галиндо, выражать свое сочувствие, есть и танцевать.

Во сне я вошел в дом без крыши, во внутреннем дворе беседовали, сидя друг против друга, доктор Ордус и Маурисио Рей; потоки воздуха лились сверху, как вода, не позволяя мне расслышать, что они говорят, но я точно знал, что говорят они именно обо мне и готовы в любую секунду решить мою судьбу, хотя на самом деле они меня с кем-то путают, но с кем? и вдруг я понял: оба уверены, что я — Маркос Сальдарриага, и так и было, потому что в напольном зеркале, вдруг подскочившем ко мне сбоку, как живое существо, я увидел себя в обличье Маркоса Сальдарриаги, с необъятным и отвратительным телом. “Кто подменил мне тело?” — спрашивал я у них. “Не приближайся к нам, Маркос”, — кричали они, и их голоса, почти физически ощутимые, вибрировали в воздухе. “Вы перепутали меня с Маркосом”, — твердил я, но они не позволяли мне к ним подходить, я был им противен. Появлялись другие люди, много людей, незнакомых, вооруженных призраков: они пришли за мной, чтобы похитить меня, и я не мог надеяться на помощь Рея или доктора, я *чувствовал*, что именно меня они считают осведомителем, тем, кто доносит. “Я не Маркос”, — кричал я им, но мертвецы — потому что и во сне они были мертвецами — упорно считали меня Маркосом, а может, я на самом деле был Маркосом Сальдарриагой и обреченно ожидал казни? это было последнее сомнение, мучительное сомнение сна на фоне осуждающих голосов доктора и Маурисио, которые становились все гром-

че, и я еще не избавился от этих голосов, когда прозвучал, освобождая меня от них, голос Жеральдины:

— Учитель, проснитесь. Вы кричите.

За окном было утро.

— Учитель, не надо так себя изводить.

Значит, это правда: передо мной в дверном проеме, на моем участке, в моем доме, в моей комнате, одетая в траур, но наконец-то в небесно-голубой косынке на голове, стояла воспрянувшая Жеральдина, а рядом ее сын — на собственных ногах, но в спячке.

— Я думала, вас нет дома, учитель. Я звала вас со двора, извините, если побеспокоила.

— Мне снился кошмар.

— Я это поняла, я слышала. Вы твердили, что вы не Маркос Сальдарриага.

— Но ведь это правда?

Она оглядела меня с тревогой.

Я откинул одеяло, потому что спал в одежде. Сев на край кровати и наклонясь за ботинками, я должен был вспомнить, что уже старик: от неуклюжего движения меня парализовала резкая боль в спине; Жеральдина поспешила подать мне ботинки, чтобы я не упал. Я сидел с ботинками в руках, теперь я не смогу их надеть? Конечно, смогу: Жеральдина! Жеральдина пришла будить меня в мою комнату!

— Вы спите под одеялами, — удивилась она, — да под столькими! Не упарились в такую жару?

— Старость не греет, — сказал я.

И против воли представил себе ее спящей: голую, без одеяла.

— Пойдемте к нам завтракать, учитель, почему вы больше не заходите к нам, как прежде?

Почему? Я не знаю ответа и не могу или не хочу над ним задумываться. Я иду за Жеральдиной и напрасно пытаюсь не замечать ее настырный аромат; мои глаза вынужденно рассматривают ее траурную спину и, конечно, замечают ноги и босоножки ниже линии траура, стремительные движения ее тела, всю ее жизненную силу, неуемную и кричащую о себе сквозь покровы настигшего ее злого рока, чуть ли не беспощадное желание как можно скорее отдаться, пусть даже смерти (как я?), чтобы на секунду забыть обо всем на свете, пусть даже это будет смерть.

Как я.

Мы идем молча, огибаем пересохший бассейн, замусоренный шелухой, апельсиновыми косточками и птичьим поме-

том. Я на секунду закрываю глаза — не хочу вспоминать Жеральдину голой, потому что, наверно, из-за этого, особенно из-за этого, я не хочу ее видеть; мне больно, тяжело, безотрадно признаваться себе, что Отилия исчезла, а мои мысли и плоть приходят в волнение, страдают от одного присутствия этой единственной в мире женщины, Жеральдины, от ее голоса, ее молчания, даже когда я застаю ее в трауре и в отчаянии, в трауре, хотя ее муж еще числится живым.

Мы садимся за стол перед ослепительным фарфоровым сервизом, солнце наполняет столовую. Я сразу замечаю, что, словно продолжая мой кошмар, нас поджидает Ортенсия, жена Маркоса Сальдарриаги; она сидит во главе стола и, когда я вхожу, обращается ко мне с таким сюсюканьем и с такими вздохами, что я с опозданием сожалею о принятом приглашении.

— Вы уж позаботьтесь, учитель, — говорит она, — чтобы Отилия, когда вернется, не увидела вас таким неухоженным. Ведь Бог обязательно поможет ей вернуться. Если бы она погибла, мы бы уже знали. Она жива, учитель, дело известное, — она протягивает руку и быстро проводит пухлой, мягонькой ладошкой по моей руке, — я вам прямо скажу: уж если они увезли моего мужа, такого толстяка, что не мог ходить, вдвое толще меня, — она печально улыбается, — то, конечно, они смогли увезти Отилию, которая не была ни старой... вернее, простите... не старую и не толстую. Ждите известий, они придут, рано или поздно. Они еще сообщат вам, сколько хотят получить. Но пока вы ждете, следите за собой, учитель, почему бы вам не подстричься? не теряйте веры, не забывайте есть и спать, я знаю, о чем говорю.

Стол накрыт; это похоже не на обычный завтрак, а на совмещенный с ужином обед. Рядом со мной сидит мальчик с пустыми глазами, с лицом живого мертвеца, что особенно страшно видеть в ребенке.

Жеральдина указывает на стол.

— Смотрите, учитель. Ортенсия подарила нам лангустов.

— Лангустов мне самой подарили, — уточняет Ортенсия, словно извиняясь, и сглатывает слюну. — Это напоминание об обеде с генералом Паласиосом. Ему привезли на день рождения сто двадцать живых лангустов. Из Канады, живых. Думаю, они проехали все города.

— И есть фаршированные бананы, учитель, — перебивает ее Жеральдина. — Их я приготовила сама. Вы знаете, учитель, их делают из переспелых бананов, настолько черных, что они уже пахнут медом, фаршируют сыром, окунают в смесь муки, яйца и молока, а потом жарят...

— Мне только черный кофе, — говорю я, — пожалуйста.

Я не понимаю, что говорят мне эти женщины. У меня нет ни малейшего аппетита. Единственный способ скрыть, как я устал от всех и вся, — обратить внимание на мальчика, сделать вид, что он меня интересует. В конце концов, разве не пролетела вся моя жизнь среди детей, в сражениях с ними, в радостях и волнениях за них? Я смотрю на мальчика. Я помню, как он бегал по саду, помню все его игры, веселый нрав, почему он молчит? Прошло уже много времени; может быть, теперь его слишком разнежили? не принесет ли ему больше пользы резкое замечание или хотя бы окрик, который бы вывел его из спячки? Он держит ананасовый туррон[1] и собирается его есть. Вес-то он как раз набрал и стал таким же, как прежде, может быть, даже толще. К изумлению мальчика и его матери я отнимаю у него туррон и спрашиваю: “Где Грасиэлита?” Он оторопело смотрит на меня — наконец-то, думаю, он на кого-то смотрит. “Вот что, — говорю я, почти вплотную наклоняясь к его лицу, — пришел твой черед говорить. Что с Грасиэлитой, что с ней произошло?”

Одно имя Грасиэлиты заставляет его встрепенуться. Он смотрит мне в глаза, он меня понимает. Жеральдина зажимает рот рукой, чтобы не закричать. Но мальчик молчит, хотя безотрывно смотрит на меня. “А папа, — спрашиваю я его, — что с твоим папой, каким ты его оставил?” Глаза мальчика наполняются слезами, не хватало только, чтобы он сейчас заплакал, ну и пусть, так даже лучше: печальный предлог, чтобы встать из-за этого нелепого стола. Мальчик смотрит на необъятную Ортенсию Галиндо с окаменевшей над лангустами рукой. Потом переводит глаза на мать — похоже, он наконец-то ее узнал. И произносит словно вызубренный текст:

— Папа велел тебе передать чтобы мы вдвоем уезжали чтобы ты все забрала чтобы не ждала ни одного дня так велел передать тебе папа.

Обе женщины вскрикивают.

— Уезжать? — изумляется Жеральдина. Она уже обежала стол, чтобы обнять сына. — Уезжать? — повторяет она, пряча лицо и слезы на его груди. Но, видимо, тут же глубоко задумывается, глядя на нас с Ортенсией. Она обрела повод и предлог уехать (я вижу это по ее вспыхнувшим надеждой глазам).

— Спасибо, учитель, что заставили его заговорить, — шепчет она и заливается слезами, не выпуская сына из объятий,

1. Сладость, похожая на халву.

что не мешает Ортенсии приступить к еде. Я замечаю на столе кофейник. Наливаю себе чашку кофе. Я долго ждал этого момента.

— Ты помнишь меня?

Мальчик кивает. Теперь уже обрывается душа у меня.

— А Отилию помнишь?

Он снова смотрит на меня, как будто не понимая вопроса. Но я не намерен отступать.

— Ты помнишь, как-то утром она угостила тебя кокадой[1]. А потом ты пришел и попросил еще, и она дала тебе четыре штуки: для папы, мамы, Грасиэлиты, а последнюю — для тебя, помнишь?

— Да.

— Ты видел Отилию там, куда увезли твоего папу? Отилия была с Грасиэлитой, с тобой, с похищенными людьми?

— Нет, — говорит он. — Ее там не было.

Тишина стоит абсолютная. Против моей воли мне упорно лезет в глаза обложенный рисом и кусочками банана лангуст. Я извиняюсь перед Жеральдиной и Ортенсией. Меня скрутила такая же тошнота, как в тот раз, когда я спустился из лачуги маэстро Клаудино. Я возвращаюсь через сад домой, в свою постель, из которой меня вытащили, и растягиваюсь на спине, как будто собираюсь умереть, сейчас уже точно, один, окончательно, хотя рядом мяукают Уцелевшие, потягиваясь на моей подушке. "Какой сегодня день? — спрашиваю я у них. — Я потерял счет дням, а ведь сколько всего случилось, чего мы даже не заметили?" Коты убегают, и я остаюсь один, как никогда, теперь окончательно один, это точно; Отилия, я потерял счет дням, прожитым без тебя.

* * *

Понедельник? Еще одно письмо от дочери. Мне приносят его Жеральдина и Эусебио. Я не распечатываю конверт. Зачем? "Я знаю, что она пишет", — объясняю я Жеральдине, пожимая плечами и улыбаясь самому себе. Да. Улыбаясь и пожимая плечами; почему я не читаю девятое письмо своей дочери, хотя бы из любви, пусть даже зная, о чем она пишет? Она спрашивает меня про Отилию, и однажды мне придется ей ответить. Сейчас — нет. Завтра. Что я ей скажу? Что я не знаю, не знаю. Письмо выскальзывает у меня из рук и лежит, как мертвое, у моих ног. Мы сидим на моем участке среди груды обломков, Жеральдина поднимает письмо и подает мне, я

1. Десерт, приготавливаемый в виде конфет из тертой мякоти кокоса.

складываю его пополам и запихиваю в карман; передо мной возникает лицо мальчика: он стоит у меня перед носом, так же близко, как я, когда наклонился к нему за столом.

— Вы спрашивали про нее, — говорит он.

— Да, — говорю я.

Но про кого? и откапываю в глубине памяти: про Грасиэлиту, ведь в плен дети попали вдвоем.

Лицо мальчика каменеет; его неожиданное воспоминание застает нас с Жеральдиной врасплох, хотя не совсем понятно почему:

— Мы следили за бабочкой, — рассказывает он. — Она полетела назад или по кругу, мы перестали ее видеть, она исчезла. “Я проглотила бабочку, — сказала Грасиэлита, — мне кажется, я ее проглотила, вытащи ее”, — так она сказала.

Изменившись в лице, перекошенная от страха, она изо всех сил разинула рот, зажала руками виски и вытаращила глаза от отвращения, открывая рот все шире и шире – огромную темную яму, где он заметил, как ему показалось, радужную бабочку, порхавшую на черном фоне и улетавшую все дальше и дальше вглубь. Он положил ей на язык два пальца и надавил. Ничего другого он не придумал.

“Ее там нет”, — сказал я. “Значит, я ее проглотила”, — закричала она. И хотела заплакать.

Ее губы потемнели от мельчайшей пыльцы с бабочкиных крыльев. И вдруг он заметил, что бабочка выпорхнула у нее из волос, покружила немного и взлетела над деревьями, в ясное небо.

“Вот она, бабочка, — закричал я, — она только задела тебя крыльями”.

Она успела заметить улетающую бабочку. И осушила слезы. Со вздохом облегчения она еще раз убедилась, что бабочка улетает, постепенно тая, все дальше от нее. Только тогда они впервые переглянулись – они впервые начали по-настоящему замечать друг друга, в полной неволе. И посмеялись друг над другом; они играли и кувыркались в своем саду? щека к щеке, постоянно в обнимку, как будто уже никогда не разлучатся, а тем временем приближались люди, чтобы увести их с собой. Но он разглядывал свои пальцы, все еще влажные от языка Грасиэлиты.

— А Грасиэлита? — спрашивает Жеральдина сына, как будто, наконец, поняла, только сейчас осознала, что все это время думала только о сыне. — Почему ее не привезли?

— Она должна была приехать, и нас посадили на одну лошадь.

Теперь голос мальчика дрожит от страха и ярости:

— Подошел один из этих людей и сказал, что он дядя Грасиэлиты, и забрал ее. Он заставил ее слезть с лошади и увел.

— Только этого нам не хватало, — громко говорю я, — чтобы к нам пожаловала Грасиэлита в военной форме и принялась поливать свинцом, налево и направо, стрелять в людей, среди которых выросла.

Я смеюсь и не могу остановиться. Жеральдина смотрит на меня изумленно и укоризненно, потом берет сына за руку и уводит. Они исчезают в проломе ограды.

Я сижу и смеюсь, уткнувшись лицом в ладони, и не могу остановиться. От смеха у меня болят живот и сердце.

Четверг? Алькальд Фермин Перальта не может вернуться в Сан-Хосе. "Мне угрожают", — сообщил он, не уточняя кто именно. Достаточно знать, что ему *по-прежнему угрожают*, чего же больше? Недавно из города уехала к нему его семья. Теперь он руководит из Теруэля, более спокойного, чем усеянный минами, регулярно атакуемый Сан-Хосе.

Учитель Лесмес вернулся только для того, чтобы забрать свои вещи и попрощаться. Мы встретились с ним, шесть-семь горожан, в кафе у Чепе и сели за уличными столиками. С нами сидел Ану, в сторонке, но настороже, держа в руке стакан пива. Судя по всему, Лесмес забыл, что у нас с Чепе пропали жены.

— Вы слышали? — спросил он почти весело. — Похитили собаку. В Боготе.

Некоторые изумленно заулыбались — это шутка?

— Я видел в новостях, вы не видели? — спросил Лесмес, забыв, что у нас нет электричества и мы не можем смотреть телевизор и, наверно, поэтому чаще общаемся и целыми вечерами дружно молчим в кафе у Чепе.

— Они запросили три миллиона, — продолжал он. — Девочка из той семьи, хозяйка пса, в телевизионной программе плакала. Просила поменять собаку на себя.

Теперь уже никто не улыбался.

— А как звали собаку? — с неожиданным любопытством спросил Ану.

— *Дуренъ*, — говорит ему Чепе.

— И? — не унимался Ану.

— Чистокровный испанский кокер, что тебе еще сказать? цвет? запах? розоватый в черную крапинку.

— И? — напирал Ану.

Лесмес оглядел нас смиренным взглядом.

— Пса нашли мертвым, — закончил он.

Ану шумно выдохнул.

— Чистая правда, — сказал Лесмес, обиженный недоверием слушателей. — Новость имела последствия. Только этого не хватало нашей стране.

Наступило долгое молчание. Лесмес заказал всем новую порцию пива. Девушка-официантка неохотно принесла. Учитель объяснил, что сначала поедет с военным конвоем, который возвращается в Теруэль, а оттуда переберется в Боготу.

— Надеюсь, что нас не взорвут по дороге, — сказал он.

Мы продолжали молча пить.

Я уже хотел попрощаться, когда снова услышал его голос:

— Такая это страна, — сказал он, облизывая редкие усы, — если просмотреть полный список президентов — все облажались.

Никто не ответил. Лесмес, которому очень хотелось поговорить, ответил себе сам:

— Да, — сказал он, — как чай пить все президенты облажались, каждый на свой лад. Почему? Я не знаю, и кто может знать? Из-за эгоизма, по дурости? Но история все расставит по местам. Потому что как чай пить...

— Какой еще чай, — взбесился вдруг Чепе. — Может, кофе?

— Как чай пить, — продолжал Лесмес смело, упиваясь собственными словами, — так некому налить.

И залпом допил пиво. Он ждал, что кто-нибудь ему ответит, но все молчали.

— Сан-Хосе был и останется беззащитным городом, — добавил он. — Единственное, что я могу посоветовать всем — убираться отсюда, и как можно скорее. А если кто ищет смерти, так пусть остается.

Он по-прежнему не помнил, что жена Чепе похищена и родила в плену. Чепе не замедлил с ним попрощаться на свой лад, с криком пнув заставленный бутылками стол.

— Сперва убирайтесь вы, ублюдок, из моего заведения, — заорал он и бросился на учителя. Я видел, как другие стали их разнимать. Только Ану улыбался и ждал в сторонке.

Но Лесмес прав: если кто-то ищет смерти, то найдет себе могилу прямо здесь, под ногами.

Что до меня, то мне все равно. Я уже умер.

Суббота? Молодая докторша тоже уезжает из Сан-Хосе, как и медсестры. Больше некому возглавлять импровизированную больницу. И больше не приезжали к нам грузовики Красного Креста с горючим и продуктами для горожан. Мы узнали, что был еще один бой в нескольких километрах отсюда, недалеко от лачуги маэстро Клаудино. Погибли двенадцать человек. Двенадцать. Из двенадцати один ребенок. И они не замедлят вернуться, это мы знаем, а кто именно? не важно, но они вернутся.

Военные подразделения, которые в течение месяцев обеспечивали в Сан-Хосе спокойную обстановку, видимость мирных времен, заметно поредели. Но, так или иначе, с ни-

ми или без них, вспышки войны будут повторяться, все более жестокие. Хотя солдат мы видим все реже, официально нам никто об этом не сообщает; власти лишь твердят, что все под контролем; это мы слышим в сводках новостей по транзисторным приемникам, потому что электричества по-прежнему нет, и читаем в устаревших газетах; президент заверяет, что в этих краях ничего плохого не происходит, и ни здесь, ни где бы то ни было в стране не идет война; если ему верить, то Отилия не исчезла, а Маурисио Рей, доктор Ордус, Султана и привратница Фанни, как и многие другие горожане, умерли от старости; и на меня опять нападает смех, почему я смеюсь всякий раз, когда мое единственное желание — заснуть и не просыпаться? Дело в страхе — это ужас, эта страна, которую я хотел бы вдруг забыть, прикинувшись идиотом перед самим собой, чтобы как-то жить дальше или делать вид, что хочу жить дальше, потому что на самом деле с большой долей вероятности я уже умер, говорю я себе, давно умер, да еще угодил в ад, и я снова смеюсь.

Среда? Два военных патруля, действуя каждый сам по себе, атаковали друг друга, и все по вине никчемного информатора, сообщившего о появлении партизан в двух шагах от города; четверо солдат погибли, несколько получили ранения. Родриго Пинто, сосед, живущий на горе, пришел навестить меня встревоженный: капитан Беррио, проходя по их дороге в сопровождении солдат, объявлял, что если обнаружит малейшие признаки пособничества, то примет меры, и повторял это на каждом ранчо, допрашивая не только взрослых, но и детей моложе четырех лет, едва умевших говорить. “Он сумасшедший”, — сказал мне Родриго.

— Еще какой. Его не отстранили от должности, как мы все думали, — говорю я. — Он на моих глазах стрелял в безоружных людей.

— Что он сумасшедший, это не удивительно, — говорит Родриго. — Вдали от города, в горах, нам удивительно только, что мы еще живы.

Родриго Пинто, который не оставил меня одного и помог похоронить маэстро Клаудино через неделю после того, как я обнаружил целителя обезглавленным, убитым вместе со своей собакой на голубой горе, где до сих пор кружат грифоны, поклялся мне, что не покинет гору ни при каких обстоятельствах и что жена поддерживает его решение. “Мы остаемся”, — уверяет он. Я разговариваю с ним на краю обрыва, за городом, откуда на гору ведет обходная тропа. Родриго повторяет, что не уедет, как будто хочет убедить себя самого, как будто ждет, что

я поддержу это наверняка не ведущее к добру упрямое решение остаться. “На другой горе было бы лучше, — говорил он, — но подальше, гораздо дальше, совсем далеко”. Он достал из рюкзака четвертинку водки и предложил мне. Темнело. “Видите ту гору? — спросил он, указывая на отдаленную вершину среди многих других, в самой глубине горного массива. — Вот туда я и уйду. Далеко. Но это хорошо. Поднимусь на самую вершину, и только они меня и видели, сукины дети. У меня отличный мачете. Нужно только, как Ною, прихватить с собой супоросную свинью, петуха и курицу. Жена согласна уйти со мной. Маниоки нам хватит. Вы видите эту гору, учитель, отличаете ее от других? Живописная, плодородная гора. Может, она определит мою жизнь. Так когда-то мой отец вырастил всех нас на горе. Но пока я остаюсь на соседней, учитель. Вы ее знаете, вы к нам приходили, знаете, что я живу с женой и детьми; у нас родился еще один, теперь нас семеро, но с маниокой и какао мы не пропадем. Там я вас жду, как только Отилия будет с вами. А потом уйдем все вместе, почему бы нам не уйти всем вместе?” Мы снова пьем, теперь до дна, и Родриго выбрасывает бутылку в ущелье. Но все еще не уходит: он замер и глядит на далекую гору. Его пальцы стискивают, комкают белую шляпу — это у него особая привычка. Наконец, почесывая голову, он говорит (и голос его звучит теперь по-другому): “Видеть счастливые сны — приятно, — и почти сразу добавляет: — а вот просыпаться...”, — и мы оба смеемся. И тут замечаем солдатика — он совсем молоденький и похож на ребенка, наряженного в военную форму. Все это время он, конечно, стоял где-то рядом, просто мы не обратили на него внимания. Он глядел угрюмо и держал палец на спусковом крючке, хотя дуло его винтовки было опущено в землю. “Над чем смеетесь? — спросил он. — Чему смеетесь? Я похож на шутника?” Мы с Родриго разинули рты и переглянулись. И снова захохотали. Не могли удержаться. “Дружище, — ответил я солдату, вытерпев взгляд его мрачных колючих глаз, — не станете же вы утверждать, что мы не имеем права смеяться”. Я крепко пожал Родриго руку. Родриго надел свою белую шляпу и, не оборачиваясь, пошел по тропинке. Его ждал долгий путь. Я вернулся домой, солдат шел сзади, молча. Мне стало ясно, что за Родриго следят, а заодно и за мной. Всего в одном квартале от дома дорогу мне преградила группа солдат; они снова задержат меня, как в то утро, когда я слишком рано встал?

— Пропустите его, — услышал я голос капитана Беррио.

Вторник? Еще кое-кто уехал: генерал Паласиос и его “армия” животных. Ану рассказал нам в кафе у Чепе, что был на базе

и видел эвакуацию самых ценных животных генерала Паласиоса, на вертолетах. С приездом этого генерала, которого мы почти никогда не видели, все узнали, что он всю душу и все силы вкладывает в создание зоосада; зоосад нам не показывали, мы только с трудом рассмотрели что-то на черно-белых фотографиях дополнительных страниц воскресной газеты. И прочитали, что речь шла о шестидесяти утках, семидесяти черепахах, десяти кайманах, двадцати семи цаплях, пяти авдотках, двенадцати капибарах, тридцати молочных коровах и почти двух сотнях лошадей, проживавших на ста гектарах военного гарнизона Сан-Хосе под присмотром генерала и его людей. Что военный медперсонал обслуживает весь этот двуногий и четвероногий контингент. Что каждое утро генерал в сопровождении породистой собаки, привезенной из Соединенных Штатов, обходит гарнизон, чтобы лично осмотреть своих животных. Что одна самка гуакамайо числилась в его любимицах, такая избалованная, что сама выбрала себе офицера, ответственного за ее питание, но такая неугомонная, что погибла от удара током на гарнизонном ограждении. Еще будучи полковником, Паласиос посвятил себя животным. Он также уверяет, что посадил больше пяти тысяч деревьев. “Как будто он один их посадил”, — говорит нам Ану, и еще он говорит, что видел, как Ортенсия Галиндо и ее близнецы покинули город на одном из этих грузовых вертолетов, набитых животными.

* * *

— Добрый день, учитель. Я пришла попрощаться.

В дверях Глория Дорадо, на голове — панама, глаза красны от слез. В руках она держит деревянную клетку с трупиалом.

— Я хочу оставить его вам на память, учитель, чтобы вы о нем позаботились.

Я беру клетку. Первый раз в жизни мне дарят на память клетку; как только мы останемся одни, я отпущу тебя, птица, как я могу о тебе заботиться, если едва управляюсь с собой?

— Заходите, Глория. Выпьем кофе.

— У меня уже нет времени, учитель.

— А ваш дом? Что будет с вашим домом?

— Я поручила его Лукреции, на тот случай, если вернусь. Хотя, конечно, может быть, что и она уедет. Но дом ей нужен, у нее пятеро детей, а у меня ни одного, учитель. И, скорее всего, никогда не будет.

— Не зарекайтесь, Глория, вы молоды и красивы. У вас вся жизнь впереди.

Она сочувственно улыбается.

— Вы сохранили чувство юмора, учитель. Послушайте, я очень люблю вас обоих и знаю, что Отилия вернется, клянусь.

— Мне все так говорят.

Я не могу скрыть досаду в голосе; лучше бы Глория не приходила совсем, чем это повторять. Она не обращает на меня внимания:

— Мне снилось, что вы вдвоем шли по рынку. Я очень обрадовалась и подошла к вам поздороваться. Я сказала: "Ну, разве я не говорила, что Отилия вернется живая и здоровая".

Она улыбается, я улыбаюсь, я вынужден признать, что ее сон меня растрогал, сейчас заплачу? только этого не хватало.

— Храни вас Бог, — говорю я, и клетка покачивается у меня в руке; трупиал скачет в ней из стороны в сторону, потом запрыгивает на крошечные бамбуковые качели и начинает петь: наверно, предчувствует, что я задумал отпустить его на волю.

— И как вы поедете, Глория? — спрашиваю я и уже не могу смотреть ей в глаза. — Ведь на шоссе — то, что называется "вооруженная блокада". Любой автомобиль взрывают, неважно, личный или общественный, иногда вместе с людьми. Надежного транспорта нет.

— Один лейтенант предложил отвезти меня и брата в Эль-Пало в грузовике с солдатами. Там я найду какой-нибудь транспорт, который вывезет меня из этой зоны.

— Ехать в грузовике так же опасно, если не больше. Вы рискуете, Глория. Не вздумайте переодеваться солдатом! как это лейтенант везет вас с таким риском?

— Он сказал мне по секрету, что грузовик пойдет под охраной военных самолетов. Они расчистят нам дорогу.

— Дай-то Бог.

— Здесь я буду в еще большей опасности, — говорит Глория, ее глаза затуманиваются, и она шепчет: — Как только узнают, что Маркоса нашли мертвым. Ортенсия мне этого не простит, свалит на меня всю вину, скажет, что это я убийца.

Она плачет, обнимает меня, я тоже ее обнимаю, с клеткой в руке.

— Его нашли в канаве в полукилометре отсюда. Опознали не сразу. Как мне сказал лейтенант, он пролежал в этой канаве под открытым небом не меньше двух лет.

— Мир его праху. Еще один убитый. К стыду живых.

— Вы видите, учитель? Они не хотели ему помогать. Никто и пальцем не шевельнул для его освобождения. Ради своего мужа эта женщина не выпустила из рук ни единого песо.

У меня не было денег, только этот домик, который он мне оставил. Но она! зачем ей деньги? Они и за ней скоро явятся.

Я не хочу рассказывать Глории, что Ортенсия Галиндо улетела из Сан-Хосе на вертолете.

— Такая это страна, скудная в своем богатстве, Глория. Желаю вам удачи, начните новую жизнь, что тут еще скажешь?

— Как иные говорят, попробуй родиться заново, — она улыбается. — В этом ваш совет?

Она выпускает меня из объятий. Я пропитался тропическим ароматом ее крепких духов, смешанным с запахом слез.

— Ну, я пошла, — говорит она, — меня ждет брат.

Она уходит. Я закрываю дверь.

С клеткой в руке я иду в сад. Меня переполняет досада: зачем красивые женщины приходят в этот дом? Пусть не добавляют мне боли своим видом, пропади все пропадом. Я ставлю клетку на каменное корыто и открываю крошечную бамбуковую дверцу.

— Лети, трупиал, — кричу я птице, — улетай быстрей, а то придут Уцелевшие и с тобой разберутся.

Трупиал неподвижно сидит перед открытой дверцей.

— Не хочешь лететь? Ну, смотри. Тут коты.

Птица сидит неподвижно. Может, у нее подрезаны крылья? Я накрываю трупиала рукой и вынимаю из клетки. Это красивая птица, его оперение сияет, и крылья вовсе не подрезаны.

— Ты боишься неба? Давай же, лети, — я подбрасываю его вверх.

Трупиал удивленно расправляет затекшие крылья и с огромным трудом удерживается от падения. Потом делает рывок-другой и, наконец, взлетает, как будто в прыжке, на ограду. И там снова сидит неподвижно, что ему надо? похоже, он снова разглядывает меня, меня и клетку.

— Какая прекрасная птица, — слышу я чей-то голос.

Это Жеральдина, она пришла через пролом в ограде. Жеральдина в черном. Я уже не могу вспомнить ее голой.

— Это трупиал, — говорю я.

Мы оба наблюдаем, как птица летит и исчезает в небе.

Мы снова сидим среди разрухи, рядом; я поглощен ее таким близким лицом и неотрывно устремленными в небо глазами, “были другие времена”, — говорю я, и она, конечно, понимает, что я имею в виду: когда-то она ходила по участку голая, а я подглядывал за ней через ограду; она отрывисто смеется, и снова ее лицо становится задумчивым, глаза глядят в небо, затянутое

тучами, глаза, глядящие на тучи без неба; я вижу на ее колене руку, это моя рука на ее колене, когда я положил руку ей на колено? но она не возражает, как будто ей на колено упал с дерева сморщенный лист или противное, но безвредное насекомое, она продолжает рассказывать мне (уже долго?) о своих переговорах с теми, кто похитил ее мужа; а может быть, ей кажется вполне естественным неожиданное появление стариковской руки у нее на колене, потому что старости больше позволено, или просто единственное, что ее интересует на свете, — это оплата выкупа, вся та затея, в которую она уже втянулась с помощью своего брата из Буги; дело именно в этом, Исмаэль, у нее есть причины не замечать мою руку на своем колене, она уверяет, что отдала им все, что у нее есть, говорит, что она *в сомнениях*, не волнуйтесь, учитель, это мои сомнения. Потом она внимательно смотрит на меня, словно угадывая мои мысли или полагая, что угадала; она заметила мою руку на своем колене? она уже знает, что все мои мысли только о ее колене? ее тревожит мое прикосновение? "Нет, учитель, — говорит она, — Отилии у них нет, я уже их спрашивала".

— Отилия, — повторяю я вслед за ней.

Теперь она рассказывает, что не смогла набрать даже половины того, что они требуют. "Вы даете нам меньше половины, — сказали они ей, — это не обещает ничего хорошего вашему мужу", и она добавляет, сложив губы в незнакомую мне улыбку, — это радость? — что они даже сказали ей: "Сразу видно, что вы его не любите".

Она говорит: "Я всем телом чувствовала их взгляды, учитель, как будто они хотели съесть меня живьем".

Они дали ей пятнадцать дней, чтобы она заплатила остальное, то есть до сегодня, учитель, этот срок заканчивается сегодня; я сказала им, что согласна, и предупредила, чтобы привезли его с собой, как обещали в прошлый раз, когда своего обещания не исполнили. "И что было бы, если бы мы его привезли? — ответили они. — Пришлось бы тащить его обратно, и то кабы нас лень не заела, понимаете? он умер бы по вашей вине, из-за вашей неисполнительности". Я настаивала, что хочу видеть его, говорить с ним, и сказала: "Я вам отдала все, что у меня было. Теперь мне нужно искать кого-то, кто одолжит мне остальное, а если мне никто не одолжит, я все равно буду здесь вместе с сыном".

"Как это не одолжат? — сказали они. — Тогда пеняйте на себя".

Жеральдина оборачивается, чтобы увидеть мою реакцию, озадаченная и испуганная; я не знаю, что ей сказать; я никогда не видел лиц похитителей — Бог весть, что это за люди.

Я знал только брата Жеральдины: я видел, как он приехал из Буги на машине в одну из дождливых ночей — высокий, лысый, хмурый; он смог проделать последний отрезок пути по специальному пропуску партизан; услышав его троекратный свист, я выглянул в окно; вышла Жеральдина со свечей в руке, они обнялись. С трудом, вдвоем внесли черный пластиковый пакетище с обналиченными деньгами Жеральдины, их с мужем деньгами, сказала она мне с бесполезной сейчас яростью, деньгами, скопленными за долгие годы совместного труда, учитель, всегда честного.

В ту же ночь брат Жеральдины робкой тенью покинул Сан-Хосе так же, как приехал: в своей машине, под дождем, с пропуском, приклеенным изнутри к лобовому стеклу, словно для хвастовства. Он обсудил с Жеральдиной, разумно ли Эусебио оставаться с ней. Жеральдина не возражала, чтобы брат увез мальчика, но тот захотел остаться с матерью, “Я ему объяснила, какому риску он себя подвергает, объяснила, как маленькому мужчине, — с простодушной гордостью говорит Жеральдина, — и Эусебио не колебался: с папой и с мамой до самой смерти”. Рот Жеральдины приоткрывается, глаза еще пристальнее смотрят в небо: “У меня больше нет ни гроша, учитель, это я и собираюсь им сказать, они должны сжалиться, а если не сжалятся, пусть делают, что хотят, увезут меня вместе с ним, так даже лучше: все втроем, вместе, как того хотела жизнь, чтобы годами ждать неизвестного дня; Эусебито я беру с собой, это моя последняя карта, они сжалятся, я уверена, я отдала им все, ничего не утаила”.

Теперь Жеральдина плачет, второй раз за день в моем доме плачет женщина.

И пока она плачет, я вижу свою руку у нее на колене, хотя не смотрю на нее, но я ее вижу: моя рука продолжает лежать на колене Жеральдины, а она плачет и не видит или не хочет видеть мою руку у себя на колене, а может, теперь она ее видит, Исмаэль; твою извращенную натуру занимает только ее колено, а не слезы по похищенному мужу, даже не безрассудная, но явная радость, когда она говорит, что сын, как настоящий мужчина, останется с ними, что бы ни случилось, и говорит это недрогнувшим голосом; что подумает ее муж? он будет страшно разочарован, “забирай все и уезжай”, — какие-то похожие его слова передал ей Эусебито; Жеральдина разговаривает, словно в бреду, и это вызывает во мне жалость; мы оба сидим среди обломков, среди истребленных цветов, попавшие в одну беду.

— Ортенсия предложила мне лететь с ней на вертолете, учитель. Конечно, я не полечу, уже не смогу. Но не буду отрицать, что теперь мне страшно.

Она смотрит на мою руку на своем колене.

— А вы, — то ли говорит, то ли спрашивает она.

— Что?

Снова короткий смех.

— Вы не умрете, учитель?

— Нет.

— Смотрите, как дрожит.

— Это волнение, Жеральдина. Или сластолюбие, как говорила Отилия.

— Не волнуйтесь, учитель. Не гоните от себя любовь. Любовь выше сластолюбия.

Она деликатно убирает мою руку со своего колена. Но остается неподвижно, молча сидеть рядом.

Из-за ограды ее позвал сын; как будто упал в пустой бассейн, или это была игра? его голос прозвучал так, как будто он упал в бассейн, вскрикнул и тишина. Жеральдина сразу ушла, нырнув в пролом ограды, вся словно выточенная из траура. Я не пошел за ней, другой бы пошел, но я — нет, пока не пошел, зачем? Кроме того, я почувствовал голод, впервые мне захотелось есть, сколько времени я не ел? на кухне я поискал кастрюлю с рисом, в ней осталась одна порция, рис выглядел твердым, склизким и подгоревшим. Я съел его рукой, холодный, жесткий, да так и остался сидеть возле печки. Уже давно Уцелевшие не появлялись в доме, наверняка потому, что не находили ни еды, ни внимания. Пришлось им устраиваться самостоятельно. Но мне не хватало их мяуканья, их глаз — с ними я чувствовал себя ближе к Отилии, они составляли мне компанию; и только я о них подумал, как они ощутимо напомнили о себе пучками перьев на кухонном полу, которые привели меня, как в сказке, в комнату: там, возле кровати, валялись две растерзанные птицы, а на подушке — останки черных бабочек, съестное пожертвование, которое оставили мне коты. Только этого не хватало, подумал я, чтобы мои коты меня кормили: раз я не заботился об их пропитании, они позаботились о моем. Если бы я не съел рис, то давешний голод заставил бы меня ощипать до конца этих птиц и пожарить в печи. Я выбросил птиц, бабочек, подмел перья, и меня сморил сон, я лег ничком на кровать и почти уснул, как вдруг меня позвал с улицы женский крик — все постоянно кричат, сказал я и вышел за дверь, словно сунулся в ад.

* * *

Какая-то женщина бежала, прижимая к бедрам фартук или обтирая об него руки, от чего она спасалась? она не спасалась, а

бежала посмотреть. “Вы слышали, учитель?” — крикнула она мне. Я последовал за ней. Мне тоже хотелось посмотреть. Мы добрались до кафе Чепе, и там, на галерее, перед столиками, разбросанными словно после урагана, в кольце любопытных сидел Чепе и сжимал голову руками. “Наверно, нашли его жену, но мертвую”, — подумал я, видя его отчаяние; на улице было не жарко; непривычный ветер вторил хриплым стонам Чепе и закручивал пыль вокруг его башмаков. Собравшиеся выжидали, и тишина словно дробилась от новых вопросов и робких комментариев. Я тоже узнал подробности: сегодня на рассвете под дверь Чепе подложили последнее предупреждение — указательные пальцы его жены и дочери в окровавленном пакете. Там же, рядом с Чепе, я вижу заляпанный бумажный пакет. Мне хочется побыть с Чепе, но из толпы подходит Ану и берет меня за локоть. Меньше всего в таких обстоятельствах мне охота разговаривать с Ану, но он смотрит на меня так изумленно и так крепко держит, что я сдаюсь; я вспоминаю, что, вроде, посочувствовал ему во время последнего похожего разговора, не помня тогда, ни кто он, ни откуда. “Учитель, — проговорил он мне на ухо, — вас разве не убили, пока вы спали?” — “Конечно, нет, — с трудом ответил я и, придя в себя от такого вопроса, попробовал засмеяться: — Разве я не стою перед тобой?”. Тем не менее мы несколько секунд смотрели друг на друга, будто не веря своим глазам. “И кому бы меня убивать? — спросил я. — Зачем?” — “Так мне сказали”, — ответил Ану. Он не выглядел ни пьяным, ни одурманенным. Побледневший, он пристально смотрел мне в глаза здоровым глазом и моргал. Его руки цепко держали меня за локоть. “И что это за шутки такие”, — спросил я, а он повторял: “Значит, вы живы, учитель”. — “Пока что”, — ответил я. И вдруг он — ни с того ни с сего — сказал: “А знаете, я никого не убивал”. — “Что?” — не понял я. “Чистая ложь, чтобы привлечь покупателей”, — говорит он. Я с трудом сообразил, о чем речь. “Но так ты их только отпугнул, — сказал я, — мы все думали, что ты людям глотки режешь”, — и высвободил локоть из его пальцев. Наш разговор никто не слушал. “Я рад, что вы живы, учитель”, — не отставал он. Похожий на получившего нагоняй ребенка, он вызывал необъяснимую жалость. Там я его и оставил, с его диким вопросом и моргающим глазом; он развернулся и ушел, и я сразу о нем забыл. “Стало быть, меня убили, пока я спал, — сказал я и на секунду убедил себя, что обращаюсь к Отилии: — Но так сильно мне ни разу в жизни не везло”.

Чепе хватает пакет и встает, губы его растянуты, словно в изумленной улыбке. Он быстро уходит, толпа за ним. Куда? Я

тоже иду со всеми. Ведь куда-то же он направляется. “В полицию”, — угадывает кто-то.

“Зачем?” — недоумевает кто-то другой.

“Спросить их”.

“Спросить их что? Они ничего ему не ответят”.

“Что они могут ответить”.

В центре этого людского кольца, среди недоумевающих лиц, смирившихся с тем, что так ничего и не поймут, у двери полицейского участка я — еще один среди многих, еще одна ошеломленная физиономия. Словно сговорившись, мы позволяем Чепе войти одному. Он входит и почти сразу выходит с другим выражением лица. Мы без слов понимаем: в участке никого нет, куда все подевались? Нам и раньше казалось странным, что у входа не видно ни одного полицейского; только сейчас до нас доходит, что тишина в Сан-Хосе какая-то чрезмерная, и каждого накрывает облако тревоги, каждое лицо, каждый поблекший голос. Я вспоминаю, что Глория Дорадо уезжала в грузовике с солдатами; был ли тот грузовик последним? нам ничего не сказали, ничего не объявили, и все, похоже, задают себе тот же вопрос: на чью милость нас оставили?

И вдруг мы замечаем, что улицы постепенно заполняют неторопливые безмолвные фигуры, которые незаметно выныривают из-за смутно виднеющихся дальних углов, возникают то тут, то там, словно нехотя, исчезают и появляются снова, в великом множестве, со стороны обрыва. И мы все, кто стоит вокруг Чепе, начинаем отступать, тоже не спеша и молча, каждый сам по себе, к своему дому, и что особенно непостижимо — делаем это так, как будто ничего естественнее и придумать нельзя. “Все на площадь!” — кричит нам один из наемников, но его будто не слышат; я иду рядом с какой-то семейной парой, я их не узнаю, но иду рядом с ними, не пытаясь выяснить, куда именно. “Я сказал, всем на площадь!” — снова раздается тот же голос, теперь в другом месте. Никто не обращает на него внимания, мы слышим свои шаги, все более поспешные; в какой-то момент все бросаются бежать, и я, старик, со всеми, но ведь мы безоружны, говорю я, что мы можем сделать? я говорю это вслух и со злостью, словно оправдываясь перед Отилией.

Мы все, кто провожал Чепе, больше его не видим, зато слышим: он кричит и визжит, как свинья перед закланьем, от чего кровь стынет в жилах, это кричит объятый ужасом человек, но он требует от чужаков ответа, у них ли его жена и дочь, они ли прислали ему утром пальцы жены и дочери, он

требует от них ответа, и мы замираем на месте, большинство из нас, словно взяв передышку, каждый на своем углу, никто не может поверить в происходящее, а ветер продолжает гнать по тротуарам вихри пыли, солнце скрывается за вереницей туч. “Наверно, будет дождь, — думаю я. — Господи, хорошо бы ты наслал на нас наводнение и всех утопил”.

Мы не видим Чепе, или я его не вижу. Остановившиеся горожане и чужаки заслоняют его, но мы слышим его голос, он все выкрикивает свой вопрос, теперь заканчивая его проклятьями и обвинениями, на нашу беду, на свою беду, потому что раздается выстрел. “Вот и до Чепе дошла очередь”, — говорит стоящий рядом со мной человек, но его жена бросается бежать, и он бежит за ней, снова все бегут в разные стороны, и никто не издает ни крика, ни восклицания, все молчат, словно стараясь не шуметь на бегу.

“Все на площадь, вашу мать!” — приказывает голос. Люди в форме тоже бегут, загоняя горожан, как скот, никто не может в это поверить, но пора поверить, сеньор, пора; бегущие рядом со мной муж и жена добрались, наконец, до своего дома, расположенного позади церкви. Я хочу войти с ними, но муж меня не пускает: “Вам нельзя, учитель, — говорит он, — вы идите домой, а то втянете нас в неприятности”. Что он говорит, думаю я и смотрю сбоку на его большущую голову, на испуганные глаза, но тут появляются руки его жены, помогают ему, и вдвоем они захлопывают дверь у меня перед носом. Этот человек не хочет пускать меня в дом, он боится, что я из тех, кто втягивает в неприятности, говорю я себе. Похоже, я снова один, так что, Исмаэль, не запутайся в улицах, иначе тебе не добраться до дома. Напрасно я смотрю во все стороны: все одно и то же, везде одна и та же опасность, для меня все уличные углы одинаковы. За любым из них может таиться беда. Но куда бы ты ни пошел, Исмаэль, не ошибись дорогой; я иду обратно так, словно темной ночью на ощупь пробираюсь домой, это невероятно: улица пуста, только я перед вереницей запертых на засовы окон и дверей. Я колочу в створку одного из закрытых окон, не здесь ли живет старик Сельмиро, тот, что старше меня, мой друг? да, с облегчением вижу я, истинное чудо: это дом Сельмиро, Сельмиро позволит мне войти. И я стучу в широкую деревянную раму; острая заноза впивается мне в кулак, но окно никто не открывает, хотя я знаю, что это окно его комнаты. Я слышу внутри покашливанье и прикладываю ухо к щели.

— Сельмиро, — говорю я, — это ты? Открой окно.

Никто не отвечает.

— Идти до двери нет времени, — говорю я. — Я влезу в окно.

— Исмаэль? Разве тебя не убили, пока ты спал?

— Конечно нет, кто это выдумал?

— Я слышал.

— Открой быстрей, Сельмиро.

— Как я тебе открою, Исмаэль? Я при смерти.

Я остаюсь один посреди улицы. Но что еще хуже, у меня больше нет сил бежать. Мне кажется, что нарастает какой-то грохот, он приближается, неизвестно откуда, и скоро я окажусь в его центре.

— Что там происходит, Исмаэль? Я слышал выстрелы и крики, там, на улице, танцуют?

— Убивают, Сельмиро.

— А тебя тоже заставили танцевать?

— Конечно.

— Тебе лучше идти домой, я не могу двигаться. Меня наполовину парализовало, ты не знал?

— Нет.

— И не знал, что сделали мои подлые сыновья? Они меня бросили. Поставили рядом кастрюлю риса и жареный банан, миску с печенью и почками и бросили меня. Конечно, они оставили тут много мяса, но что я буду делать, когда оно кончится? Подлецы.

— Открой хоть окно. Я залезу. Мы защитимся.

— Защитимся от кого?

— Говорю же, что людей убивают.

— Не зря они меня бросили.

— Открой окно, Сельмиро.

— Разве я не сказал тебе, что не могу двигаться? Тромбоз, Исмаэль, ты знаешь, что это такое? Я старше тебя. Подумать только, надо же: отплясывать прямо посреди улицы.

— Открой.

— Я едва могу протянуть правую руку, чтобы взять кусок мяса; что мне делать, когда я захочу в туалет?

— Они подходят, стреляют со всех сторон.

— Подожди.

Проходит какое-то время. Я слышу, как внутри что-то падает.

— Твою мать, — слышу я голос Сельмиро.

— Что случилось?

— Упала сковорода с почками. Если в дом влезет собака, я не смогу ее отогнать. Она все сожрет.

Он плачет и ругается.

— А окно, Сельмиро?

— Я не дотягиваюсь.

— Открой, ты сможешь.

— Беги, Исмаэль, беги куда-нибудь, ради Бога, если правда то, что ты говоришь, не стой там, как вкопанный, не теряй времени. Заберется собака, рано или поздно, и все сожрет, мне придется писать в кровать?

— Прощай, Сельмиро.

Но я не двигаюсь. Я уже не слышу шума. Попробую хотя бы плестись дальше. Бежать, как советует Сельмиро, я уже не могу.

— Твои сыновья вернутся, — говорю я на прощанье.

— Они так и сказали, но зачем вся эта еда, зачем они мне ее оставили, они уехали из Сан-Хосе, бросили меня. Подлецы.

* * *

Чтобы как-то двигаться вперед, я опираюсь на стену каждого дома. И вдруг слышу ровный гул: я не один на улице, возвращаются плотно смешанные голоса, я озираюсь вокруг, голоса вьются и извиваются, не далеко и не близко, сплошной поток со всех сторон, наконец я вижу их, вижу за два уличных пролета от себя, они проходят, горстка лиловых лиц и открытых ртов, видных мне в профиль; я не могу разглядеть, кто кричит, они исчезают, как головокружение в мимолетном шуме, но вот уже ничего не слышно, только еле уловимый шорох, почти беззвучный вздох; теперь появляются преследователи, и последние из них поворачивают в мою сторону, бегом, приближаются, они заметили меня? высматривают, рыщут, всего за несколько домов отсюда, они целятся во все стороны, готовые стрелять, они будут стрелять в воздух или в меня? я сползаю на тротуар и лежу, свернувшись клубком, как будто сплю, прикидываюсь мертвым, изображаю мертвого, я мертвый, нет, я не сплю, мое сердце на самом деле почти остановилось, я даже глаза не закрываю, они распахнуты, неподвижны, устремлены в небо, покрытое клубящимися тучами; я слышу топот сапог, близкий, неотделимый от страха, вокруг меня словно испарился весь воздух; один из них, должно быть, разглядывает меня, изучает от пяток до последнего волоска на голове — будет оттачивать свою меткость на моих костях, думаю я и едва удерживаюсь от смеха, опять неуправляемого, неудержимого, как чих, напрасно я стискиваю зубы, все равно вот-вот зайдусь самым долгим в жизни смехом; эти люди проходят мимо, как будто вообще меня не видят или думают, что я мертвый; сам не знаю, как мне удалось в последнюю секунду не захихикать, не захихикать от страха, и, только пролежав мертвецом минуту-другую, я поворачиваю голову и отваживаюсь скосить глаза: они убегают за угол; я слышу первые капли дождя — крупные, ред-

кие, они шлепаются в пыль, как большие мятые цветы; наводнение, Господи, наводнение, но капли сразу же иссякают, и я думаю: *Богу не угодно*, и опять смех стоит уже у меня в горле, прямо в горле; ты сходишь с ума, Исмаэль, думаю я, и смех внутри меня гаснет, словно мне стало стыдно за самого себя.

— Этого старика незачем убивать, не видите? Он почти покойник.

— Выпустить ему кишки?

— Не тот ли это старикан, которого мы видели мертвым минуту назад? Гляньте, какой розовенький, от него не пахнет мертвечиной, небось, святой.

— Эй, папаша, вы живой или мертвый?

Теперь я был не один. Они стояли позади меня. Человек, задавший вопрос, приставил дуло винтовки к моей шее. Я слышал его смех, но не шевелился.

— Может, его пощекотать?

— Нет, святых не щекочут. Мы придем позже, папаша, уже не такие добрые.

— Лучше сразу выпустить ему кишки и дело с концом.

— Если хотите меня убить, убейте сейчас.

— Слыхали? Покойник заговорил.

— Вот видите? святой, чудушко Божье. Небось, голодный? Не хочешь кусок хлеба, святой? Попроси у Бога.

Они ушли. Мне кажется, что они ушли.

Бог, хлеб?

Пища червей.

Нет. Они не ушли.

Я вздрагиваю, но на них не гляжу. Чувствую, что они подходят, медленно, целую вечность. Они задумали что-то мерзкое. Приволокли кого-то и бросают рядом со мной. Похоже, это тяжелораненый: его лицо и грудь залиты кровью. Это кто-то из горожан, кого я знаю, но кто?

— Ну вот, — говорит один из них.

Ну вот?

— Сделай ему доброе дело, добей его.

Он протягивает мне пистолет, но я не беру:

— Я никого никогда не убивал.

— Убей меня, отец, — просит раненый, через силу, как будто уже совсем издалека, и переваливается на бок, тщетно пытаясь заглянуть мне в глаза — ему не позволяют слезы и потоки крови на лице.

— Убейте его вы, — говорю я тому, который протягивает мне пистолет. — Не видите, что он мучается? Заканчивайте свое дело.

Я из последних сил встаю. Никогда я не чувствовал себя такой рухлядью; меня не слушаются ни руки, ни ноги; но все же мне хватает сил, чтобы отвести от себя протянутый пистолет, чтобы не обращать внимания на дуло винтовки, по-прежнему приставленное к моей шее.

Я снова бреду прочь, наугад, ухожу от них невыносимо медленно, потому что мое тело больше не мое, куда я ухожу? в гору, под гору.

Я слышу выстрел. Пуля пролетает близко, свистит у меня над головой, еще выстрел, и пуля впивается в землю в сантиметрах от моей ноги. Я останавливаюсь и смотрю назад. Меня поражает, что я не чувствую страха.

— Вот это мне нравится, папаша: что вы не трясетесь от страха. Но я знаю, почему. Вы не можете застрелиться, правда? Наверняка не можете, поэтому хотите, чтобы мы вас убили, сделали вам одолжение. Но мы не доставим вам такого удовольствия, пока не доставим, верно?

Остальные поддакивают, смеясь. Я слышу стон раненого, похожий на тихое ржание. Я плетусь дальше, не разбирая дороги.

Снова выстрел.

На этот раз не в меня.

Я оборачиваюсь.

— Кто этот старый ублюдок? — говорят они.

— Эй, папаша, хотите поработать мишенью?

— Сюда, — говорю я и указываю на сердце.

Не знаю, что их опять рассмешило, мое лицо? в ответ они снова заливаются смехом.

Где я нахожусь? Опять до меня доносятся не только этот невнятный гул, то нарастающий, то затихающий, и отдаленные звуки выстрелов, но и крик одуревшего Ану — наверно, и я скоро одурею вместе со всем белым светом: как он собирается продавать пирожки среди всего этого бедствия? — говорю я себе, услышав его *Ануууу*, которое звучит на каждом перекрестке невероятно отчетливо, как будто Ану обосновался везде и всюду; я не узнаю город, сейчас это другой город, похожий, но другой, переполненный противоестественными, ошеломляющими картинами, город без ума и сердца, какой перекресток выбрать? лучше всего все время идти в одном направлении, пока город не останется позади, но хватит ли мне сил? Лишь теперь я замечаю, что не только усталость и безразличие не позволяют мне двигаться. Опять колено. Старость не лечится, маэстро Клаудино, мир твоему праху.

Возле школы я встречаю группу людей, которые колонной идут к шоссе. Они покидают Сан-Хосе и, наверно, дума-

ют то же самое, что и я; это значительная часть жителей города. Неторопливые и понурые мужчины, женщины, старики, дети уже не бегут. Передо мной сплошная унылая масса растерянных лиц, старухи бормочут молитвы, кто-то из мужчин упрямо тащит на себе самые ценные вещи, одежду, домашний скарб, даже телевизоры; а вы не идете, учитель? Нет, я остаюсь здесь, слышу я собственный ответ. И здесь я остаюсь, в раскаленной тени покинутых домов, немых деревьев, я прощаюсь со всеми и машу им рукой, я остаюсь, Господи, я остаюсь, остаюсь, потому что только здесь смогу найти тебя, Отилия, только здесь смогу ждать тебя, а если ты не придешь, значит, не придешь, но я остаюсь здесь.

— Будьте осторожны, учитель, — предупредил меня тот же человек, что закрыл передо мной дверь своего дома, когда мы убегали.

Мне уже не в первый раз дают такой совет.

Он настаивает:

— У них есть список имен. Если находят — шлепают на месте.

— Вас видели в этом списке, учитель, — говорит кто-то другой. — Вас ищут. Лучше потихоньку присоединяйтесь к нам.

Удивительная новость. Меня ищут. Я вглядываюсь в человека, с которым разговариваю: это один из сыновей Сельмиро.

— А твой отец? — спрашиваю я. — Ты его бросил?

— Он не захотел уходить, учитель. Мы собирались унести его, но он сказал, что предпочитает умереть там, где родился, а не в чужом краю.

Он смотрит мне в глаза, не мигая. Голос у него срывается:

— Если он и вам сказал, что его сыновья подлецы, это ложь; он любит плакаться. Идите и убедитесь сами, учитель. Дом открыт. Он не дал нам себя унести.

Кому верить?

Если считать сына Сельмиро, возле меня остается не более трех человек. Но и они уже начинают раздражаться и наседать.

— Идемте с нами, учитель. Не упрямьтесь.

— Но как? — говорю я им, показывая распухшее колено. — Если бы я даже захотел, то все равно бы не смог.

Сын Сельмиро пожимает плечами и бежит догонять уходящую группу людей. Двое оставшихся вздыхают и качают головами.

— Они вот-вот объявятся, учитель. Не говорите им, кто вы. Они вас не узнают.

— А Чепе? — спрашиваю я. — В конце концов, что произошло? Я не знаю, что произошло.

— Мы его больше не видели.

— Кто похоронит мертвых? Кто похоронил Чепе?

— Никто из нас его не хоронил.

Я слышу, как они обмениваются насмешливыми репликами:

— Видать, один из них.

— Наверняка тот, кто его убил.

Они раскаиваются в своих словах, а может, жалеют меня, когда видят, с каким лицом я их слушаю:

— А мы уходим, учитель, мы не хотим умирать. Нам ли раскрывать рот? Приказано убираться, поэтому мы должны уходить, вот и все.

— Пойдемте с нами, учитель. Вас называли в этом списке. Мы слышали ваше имя. Берегитесь. Там было ваше имя.

Зачем им имена? Они убивают кого ни попадя, кого хотят, и не важно, какое имя у человека. Хотелось бы знать, что написано на этом листе с именами, в этом "списке". Да это просто чистый лист бумаги, Господи! Бумага, которая уместит любые имена, какие им заблагорассудится.

Голоса и вздохи доносятся со школьного берега, из густо заросшей поймы, граничащей с лесами, горами, необъятными далями, они звучат все громче с тропинки, ведущей из гористой местности: оттуда поднимаются вспотевшие люди и занимают места в колонне, я слышу их голоса, они рассказывают, дрожа от страха, спорят, жалуются, "Людей убивают, как мух", — говорят они, словно мы этого не знаем. Я тщетно высматриваю Родриго Пинто с женой и детьми. Тщетно ищу Родриго с его мечтой и горой. Спрашиваю про него — один из его соседей качает головой, но без грусти, как я ожидал. Наоборот, кажется, что он сейчас расскажет хохму: он говорит, что видел шляпу Родриго плывущей по реке, и идет дальше, не обращая внимания на мои вопросы. "А жена Родриго, его дети?" — не унимаюсь я, ковыляя следом. "Их было семеро", — кричит он мне, не оборачиваясь.

Я наблюдаю, как они исчезают за первым поворотом шоссе. Они уходят, я остаюсь, но какая разница? Они идут, неизвестно куда, в чужие места, которые никогда не станут им родными, и точно так же я остаюсь в городе, который больше мне не родной; здесь может наступать вечер, ночь, утро, а я даже не замечу; теперь я уже и времени не помню? дни в Сан-Хосе, когда ты на улицах один, станут безнадежно тоскливыми.

Хоть бы еще раз набрести на окно Сельмиро, мы составили бы друг другу компанию, но где оно? я не знаю. Я всматриваюсь в перекрестки и фасады и вдруг вижу Уцелевших — вдвоем они огибают водосточный желоб на одной из крыш, проходят сверху и тоже пристально смотрят на меня неподвижными любопытными глазами, как будто и они меня узнали. "Каково быть котом, о Господи, обыкновенным котом, там, на крыше, — говорю я им, — прежде чем взяться за вас, конечно, сначала пристрелят меня". Они выслушивают и исчезают, так же мгновенно, как появились, они шли за мной по пятам? С деревьев срываются стайки птиц, испуганные чередой выстрелов, пока не близких. В отдалении еще одна группа припозднившихся людей торопливо идет по дороге; кажется, что они бегут на цыпочках, чтобы не шуметь, добровольно соблюдая повышенную осторожность. Некоторые беженки испуганно показывают на меня пальцами, как будто увидели нечистую силу. Я сижу на камне, белом и широком, под благоухающей магнолией; этот камень и эту магнолию я тоже не помню, когда они появились? и по понятной причине не могу узнать ни эту улицу, ни эти перекрестки — многое не могу узнать, я потерял память и словно погружаюсь в пучину, ступенька за ступенькой, в совершенно незнакомый мир — этот город; я думаю о том, что останусь в нем один, но я как-нибудь превращу этот город в свой дом и буду ходить по тебе, город, пока не вернется Отилия.

Буду питаться тем, что они побросали на своих кухнях, буду спать на их кроватях, узнаю истории их жизней по оставленным следам, отгадаю, как они жили по забытой ими одежде, мое время потечет по-другому, я найду, как его провести: я пока не слепой, колено пройдет, я схожу до высокогорья и обратно; мои коты по-прежнему будут меня кормить; когда не остается ничего, кроме слез, что происходит со счастьем? я буду лить слезы? нет, время от времени я буду смеяться тем смехом, который всегда скрашивал мне жизнь, и я буду смеяться, потому что только что увидел рядом с собой свою дочь: ты села на этот камень, говорю я ей, надеюсь, ты поймешь, до какой степени я состою из мерзости, или сплошной любви — последние слова я говорю вслух и смеюсь; надеюсь, что ты с сочувствием придвинешься ко мне и простишь единственного, кто виноват в исчезновении твоей матери, потому что это я бросил ее одну.

Теперь передо мной появляется Отилия.

С ней какие-то дети, должно быть, мои внуки, они испуганно смотрят на меня, держась за руки.

— Вы настоящие? — спрашиваю я их.

Только это я и могу у них спросить.

Мне отвечает крик Ану, короткий, неожиданный. Отилия исчезает, оставив мне горький привкус во рту, как будто я сейчас проглотил что-то по-настоящему горькое — смех, свой смех.

Я встаю. Пойду я домой. Пусть весь город ушел, но мой дом — нет. Туда я и пойду, думаю я, и дойду, даже если заблужусь.

* * *

Через две или три улицы от белого камня — наверно, не надо было мне от него уходить, никогда, — я встречаю тех людей, которые узнали, что я не умер, встречаю посреди улицы, возле дома с геранью, посаженной у входа, чей это дом? Сверяясь со списком, они выкрикивают незнакомое мне имя, мое? я иду прямо на них и спохватываюсь слишком поздно, когда пятиться и вовсе глупо; но они меня не останавливают; с моего места видно, что входная дверь дома открыта. Последним усилием я перебираюсь на противоположный тротуар, поближе к стене, в тень галереи с разбросанными как попало столами — кафе Чепе, опять.

Они во всю глотку выкрикивают имя, дверь открыта, никто не выходит, никто не откликается на имя, на зловещий приказ. Один из вооруженных людей без всякой надобности пинает дверь ногами, в щепки разбивает ее прикладом и входит в дом, за ним еще двое или трое. Они волоком вытаскивают человека, которого я тоже не узнаю, они повторяют его имя, кто он? теперь я забываю даже имена? это усатый парень, бледный и перепуганный еще больше, чем я; они оставляют его сидеть посреди улицы, полы его рубахи причудливо шевелятся на ветру, как будто прощаются два разлученных зверька; бандиты что-то кричат, но я не разбираю слов, потому что за их спинами раздается надрывный женский вой, из дома выбегает пожилая женщина, ровесница Отилии, я должен ее знать, это мать парня? да, это выбежала за ними его мать, осыпая наемных убийц проклятьями.

— Он ничего не сделал, — кричит она.

Но они без тени сомнения прицеливаются и стреляют, один, два, три раза, и уходят, не обращая внимания на мать, не обращая внимания на меня, — не хотят меня видеть? — уходят размашистым шагом, женщина бежит за ними, воздевая руки, голося, как безумная. “Вам осталось только Бога убить”, — кричит она, срываясь на визг.

“Скажите, где он прячется, мамаша”, — отвечают они.

От этих слов она разевает рот, как будто глотает воздух; я вижу, что она в растерянности и не знает, опуститься ли на колени перед сыном и попробовать облегчить ему последние

минуты, если он еще жив, или броситься за этими людьми; одной рукой она виснет на вещевом мешке того, что идет позади, другой рукой указывает на тело сына:

— Так убейте его еще раз! — кричит она, снова и снова. — Что ж вы не убьете его еще раз?

Я сижу на краю тротуара, но не для того, чтобы прикидываться мертвым. Ветер продолжает поднимать вихри пыли, моросит легкий дождик. Будь что будет, я встаю и иду в противоположную сторону от женщины, которая продолжает кричать *убейте его еще раз.* Раздается выстрел, звук падающего тела. Как и тогда, когда я спустился из лачуги маэстро Клаудино, отвращение и дурнота клонят меня к земле, я стою перед дверью своего дома? я думаю, что это мой дом или, по крайней мере, место, где я сплю, мне хочется в это верить. Я вхожу, но лишь для того, чтобы убедиться: это не мой дом, все комнаты опечатаны. Я возвращаюсь на улицу. Мимо пробегают, не заметив меня, какие-то новые люди. Я неподвижно стою, слушая топот бегущих ног.

Наконец я узнаю одну из улиц — возле нее была фабрика гитар; увидев дом Маурисио Рея открытым и пустым, я неожиданно прихожу к выводу, что остался в городе один. Сельмиро наверняка уже умер, мне показалось тогда, что он еле дышал, все остальные куда-то ушли — и те, кто выжил, и убийцы, — нет больше ни единой живой души, эта мысль застает меня самого врасплох, но, не успев ее додумать, я слышу крик Ану, непонятно откуда и одновременно со всех сторон. “Он здесь”, — думаю я, и во мне оживает надежда хоть кого-нибудь встретить.

Я ищу тот перекресток, на котором Ану всегда продавал свои пирожки. Я слышу его крик, и меня снова пробирает озноб: мне опять показалось, что крик доносится со всех сторон, от всего вокруг, даже от меня самого. “Наверно, этот крик мне мерещится, — говорю я вслух, и собственный голос кажется мне чужим, — ты сходишь с ума, Исмаэль”. Крику вторил ветер, холодный, непривычный; перекресток Ану неожиданно отыскался сам собой. Ану я не увидел, но увидел его передвижную печь, прямо перед собой; крик послышался снова. “Значит, мне не мерещится, — подумал я, — ведь должен же где-то быть тот, кто кричит”. Новый крик, еще громче прежнего, раздался на перекрестке, он мощно взвился, удвоился и стал таким пронзительным, что мне пришлось заткнуть уши. Я вижу передвижную печку, стремительно обрастающую коростой красноватых песчинок — тучей муравьев, зигзагами мечущихся во все стороны, а на сковороде — наполовину погруженную в остывшее черное масло голову Ану, похожую на камень: посреди лба возника-

ет лакированный таракан и тут же возникает крик; наверно, это и есть безумие, подумал я, убегая: знать, что не слышишь крика, но слышать его внутри, по-настоящему, совсем по-настоящему; я бежал от реального, отчетливого крика и все еще слышал его, даже когда, наконец, добрался до дома, упал навзничь на свою кровать, закрыл лицо подушкой и заткнул нос и уши, словно пытаясь удушить себя, чтобы только его не слышать.

Вдруг все стихло, не принося покоя, кругом ни звука.

Угадать, который час, было трудно, темнело, я закрыл глаза, пусть меня найдут спящим, меня не убили, пока я спал? Но уснуть я не мог, никак, хоть умри. Прежде, чем уснуть, я должен выйти в сад, посмотреть на небо, прикинуть, который час, обнять взглядом ночь, окружающую красоту, кухню, Уцелевших, неподвижный стул.

Я вышел. Небо еще не погасло, спасительная ночь еще была далеко.

— Жеральдина, — сказал я вслух.

Теперь я предположил, что Жеральдина где-то за оградой и, что еще того нелепей — живая, я в это верил, я верил, что найду Жеральдину, смогу найти ее, и, самое главное, живую. Смогу услышать, что она жива, несмотря на крик.

И тут же вспоминаю другой крик, крик ее сына, которым он позвал ее, когда мы с ней виделись в последний раз. Я вспоминаю этот крик, пролезая сквозь ограду — вокруг успела вырасти трава.

Вот и бассейн; я заглянул в него, как в яму: среди сморщенных, шуршавших на ветру листьев, среди птичьего помета, среди разбросанного мусора, рядом с окоченевшими трупами гуакамайо лежал ничком, подогнув руки под голову, неправдоподобно бледный труп Эусебито и казался еще бледнее из-за своей наготы; кровь, похожая на нитку, как будто все еще сочилась из его уха; рядом с ним что-то клевала курица — последняя курица неумолимо подступала к его лицу. Я подумал о Жеральдине и шагнул в распахнутые настежь стеклянные двери. Меня остановил шум в доме. Я выждал несколько секунд и пошел дальше, прижимаясь к стене. За окном маленькой гостиной виднелись неподвижные профили нескольких мужчин; они стояли, отрешенно уставившись на что-то, совершенно завороженные, погруженные в себя, как прихожане перед причастием. Позади них, такие же неподвижные, словно каменные, лежали на стене их черные тени, но на что они так внимательно смотрят? Забыв про все, желая только найти Жеральдину, я и сам не заметил, как оказался рядом с ними. Никто не обратил на меня внимания; я замер, как они, — еще один темный камен-

ный сфинкс в дверях. Между подлокотниками плетеного кресла беззащитно лежала обессилившая, голая Жеральдина, ее голова моталась из стороны в сторону, сверху ее обнимал один из этих людей, он пыхтел над Жеральдиной, он насиловал Жеральдину; я не сразу понял, что передо мной труп Жеральдины, это был труп, доставшийся в распоряжение целой очереди; почему бы и тебе не составить им компанию, Исмаэль? постарался я себя уязвить, почему бы тебе не объяснить им, как насиловать труп? как его любить? разве ты не об этом мечтал? и я увидел себя со стороны, подглядывающим за трупом Жеральдины, за наготой трупа, еще по-прежнему прекрасного, вполне воспроизводившего то, что могло быть страстными объятиями Жеральдины. Эти люди, подумал я, обезумевшие лица которых я вижу в профиль, эти люди, должно быть, ждут своей очереди; ты тоже ждешь своей очереди, Исмаэль? — спрашиваю я себя, глядя на труп, слушая, как двигается безжизненная, манипулируемая кукла — Жеральдина снова проявила свою власть, потому что этот тип всего лишь озверевшая полуголая фигура, почему бы тебе не подойти и не сказать ему: нет, так нельзя? Почему бы тебе не подойти и не объяснить ему, как надо?

— Хватит! — кричит один из них, странно растягивая слова. — Брось.

И другой:

— Пошли отсюда.

Трое или четверо оставшихся не отвечают, каждый стоит, как вкопанный, похотливые лица в профиль; я спрашиваю себя, не мой ли это профиль, еще хуже того, который я увидел бы в зеркале.

Прощай, Жеральдина, говорю я громко и ухожу.

И слышу крики за спиной.

Я выхожу из дома через главный вход. Не спеша иду по улице к своему дому, не пытаюсь бежать, не оборачиваюсь, как будто бы то, что происходит, на самом деле не происходит, я уже готов открыть свою дверь, и руки у меня не дрожат, когда эти люди окриком запрещают мне входить. “Стоять!” — кричат они и окружают меня, и на какую-то долю секунды я даже чувствую, что они меня боятся, боятся меня сейчас, когда я еще более одинок, чем прежде. “Ваше имя, — кричат они, — или мы вас прикончим!” Пусть прикончат, я только хотел, что же я хотел? запереться и поспать. *Ваше имя*, — напирают они, что я им скажу? свое имя? чужое? Скажу им, что меня зовут Иисус Христос, скажу им, что меня зовут Симон Боливар, скажу им, что меня зовут Никто, скажу им, что у меня нет имени, и опять начну хохотать, и тогда они подумают, что я над ними издеваюсь, и застрелят меня, и так тому и быть.

Из *португальской поэзии* XX–XXI *веков: традиция и поиск*

Перевод и вступление Ирины Фещенко-Скворцовой

Все в Португалии связано с морем, все "танцует" от него. Недаром Мануэл Алегре в одном из своих стихотворений назвал Португалию "страной, где много моря". Море плещется в стихах Луиса Камоэнса (Луиша де Камойша — так произносится его имя на его родине) и Фернандо Пессоа (Фернанду Пессоа). Отзвуки морской стихии слышны в стихах многих поэтов, перенявших эстафету от "двух великих португальцев".

Я хочу остановиться только на нескольких поэтах. Почему я выбрала именно их? Возможно, они наилучшим образом соответствуют моему представлению о душе Португалии, отражающейся, как в зеркале, в португальской поэзии.

Стихи, романы и эссе Жозе Режиу отличаются мистическим и в то же время интимным тоном, в них затрагивается психология отношений человека с человеком, человека с Богом и Дьяволом (первая книга его так и называется "Стихи о Боге и о Дьяволе", 1926), отношений художника с современным ему обществом. Он полемизирует с писателями различных направлений в литературе (неореалистами, формалистами и т. п.), отстаивая независимость писателя от любого литературного направления и особенно от любой политической программы, что являлось в то время вызовом обществу, в котором он жил.

В 1965 году Амалия Родригеш[1] записала на диске "Португальское фаду" Жозе Режиу (музыка Алайна Олмана). Это фаду из первой книги Режиу написано в соответствии с давними традициями фаду — особого жанра португальской песни, появившегося на улицах Лиссабона во второй половине XIX века, вначале как песни моряков. В различном исполнении оно до сих пор является одним из самых любимых, не только в Португалии, но и во всем мире. В нем поет сама "саудаде"[2]. Именно португальские поэты некогда ввели в литературу чувство-идею "саудаде", видя в нем средство для встречи Португалии с самой собой, средство вернуть потерянную ею идентич-

© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, вступление, 2017

1. Амалия Родригеш (порт. Amália da Piedade Rebordao Rodrigues; 1920–1999) – португальская певица, "королева фаду", "голос Португалии".

2. Слово "саудаде" нельзя перевести ни на какой другой язык мира. Не только словом или словосочетанием, но даже пересказом передать его смысл сложно. Португальцы говорят, что saudade можно только пережить. В значении этого слова сочетаются понятия одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления.

ность, средство возродить в португальском народе португальскую душу. Поэт служит посредником между Богом и человечеством, его миссия — быть вечным Прометеем, воспевать "саудаде", напоминая человеку о его божественном происхождении и о возможности возрождения. В словах поэта есть отзвук того божественного, что включает в себя душа человеческая.

Любовь народа к "Португальскому фаду" опровергает утверждения тех, кто считает: для современной Португалии это слово потеряло прежнее магическое значение.

Не меньшим успехом, чем "Португальское Фаду" пользуются в Португалии песни на стихи Мануэла Алегре. В молодости он был членом запрещенной Португальской коммунистической партии, выступал против фашистского режима Антониу Салазара. Был призван в армию, служил на Азорских островах и в Анголе, где некоторое время провел в тюрьме Луанды за участие в попытке восстания военнослужащих против колониальной войны. После возвращения в Португалию был выслан на север Африки, где также участвовал в борьбе против режима. В 1974 году Алегре вернулся на родину, вступил в Социалистическую партию, и с 1975 года постоянно избирается от нее в парламент. До 1974 года его произведения, издававшиеся за рубежом, были в Португалии под запретом и циркулировали в стране в качестве самиздата.

Его поэзия была и остается песней Свободы, из всех стихов португальских поэтов именно стихи Алегре больше всего поют, многие его стихи исполняются как фаду. "Песня о ветре что проходит" была написана в 1963 году и положена на музыку гитаристом Антониу Пуртугалом. Эта песня навсегда осталась в истории сопротивления диктатуре Салазара, это гимн сопротивления, хранящийся в коллективной памяти португальцев. Песня написана в традициях народных троваш[1], в которых герой вопрошает облака, ветер, другие природные силы, животных о своей любимой. Во многом эта песня навеяна песнями Камоэнса, так же, как и Алегре, жившего в изгнании, далеко от родины, так же, как и он, державшего в одной руке оружие, в другой — перо.

Изгнание диктует и тему странствия в его поэзии, он и сам себя называет странником, бродягой ("Книги португальца-бродяги", 2001). Это странствие, в котором так много от Камоэнса, оборачивается путешествием длиной в жизнь, целью, никогда недостижимой, постоянно отодвигающейся от путника, как далекий горизонт от моряка, стоящего за штурвалом.

Морская тематика была главной и в творчестве Софии де Мелу Брейнер Андрезен, одного из самых значительных португальских поэтов XX столетия, чьи стихи переведены на многие европейские языки. "Плавания" (или "Навигации") — название ее книги, впервые увидевшей свет в 1983 году, но так можно было бы озаглавить все ее творчество. Образ моря несет у Софии

1. Троваш — куплеты, которые сочиняет и поет народ.

только позитивную окраску, она будто и не помнит об опасностях морских путешествий, о кораблекрушениях. Для Софии море — это метафора свободы, метафора экзистенции и творчества человека. София писала, что, разрабатывая эту тему, она проникает, словно взглядом исследователя, туда, где зарождается жизнь, где Я встречается с самим собой, где происходит очищение, физическое и духовное, где возможен побег из времени и пространства, благодаря тесной связи с мифом об Элладе и великими приключениями португальских первооткрывателей, связи с Бесконечностью.

Погружение в эту античную стихию, путешествие к началу времен позволяет поэту слышать голос вещей и видеть их, будто впервые. Идея творения находится в центре поэтики Софии де Мелу Брейнер. Она исповедует евангельскую истину: "В начале было Слово". Называть вещи — вот, что роднит поэтическое творчество и открытия мореходов прошлых эпох. Называть вещи — это значит лепить их форму, создавать их. Для поэта вещь не существует до того момента, пока он к ней не приблизится, пока она им не названа. Союз между речью и ви́дением усиливается ощущением присутствия того, о чем говорится, оно здесь, в пределах досягаемости взгляда как пишущего, так и читающего написанное.

Софию называют летописцем наизнанку: описываемые ею события начинаются именно в данный момент, время, протекшее с момента действительных событий, нивелируется. Море служит для Софии средством вечного возвращения не только пространственного, но и временного: "Так время может возвращаться / Мы всегда возобновляемся как море", — пишет София в одном из своих стихотворений. Античная Греция как символ начала мира постоянно присутствует в стихах поэта, дополняясь другими образами: Юг (португальский Алгарве), Восток (в том числе воображаемая Индия и Гоа, где она побывала) — это и есть тот земной рай, потерянный человечеством, яркий цветной "Другой мир", сулящий возрождение. Этот другой мир воплощается для поэта в океане — "чистом королевстве" (эпитет Софии де Мелу). Именно здесь лирический герой встречается с пространственно-временным путешествием, и наибольшей наградой для него служит создание нового человека.

Из мифов прошлого, из борьбы героев с грозной стихией, противопоставляя яркое прошлое и тоску настоящего, она извлекает этику, из нее хочет сплести гармонию Вселенной, найти утерянное в лабиринтах жизни человеческое достоинство, чистоту, стремление к истине.

Она убеждена, что человечество, предоставленное самому себе, самонедостаточно. Путешествие, странствие — мистический символ бесконечности, синоним открытий, чуда, контакта с Другим. Наш современный мир, где все открыто, нанесено на карту, описано, — благодаря воображению поэта, словно затаился в ожидании импульса, толчка, человеческого стремления, в ожидании открытия.

Луиза Нету Жорж, пожалуй, самый оригинальный португальский автор второй половины XX века. При жизни поэта вышли шесть книг стихов,

седьмая была опубликована после ее смерти, в тот же год. Большая часть произведений Луизы Нету Жорж переведена на многие языки.

Поэтический язык Луизы с его "спазмами привычного смысла" (как сказала А. К. де Резенде Шиара[1]), то есть смещениями, перемещениями смыслов, искусственным созданием брешей в понимании, которые предлагается заполнить самому читателю, словно превращается из родного языка в иностранный — непривычный и странный. Ее поэтические находки могут шокировать: "красота может быть определена (объяснена) как ботинок на траве". Читателю стихов Луизы трудно перевести ее непривычные образы на привычный язык обыденного человеческого мышления.

Внимание к ритмам, их чередование, их своеобразие, внимание к звуку, постоянные аллитерации в ее стихах — все это говорит о большой роли музыки в поэтике Луизы.

Особенности ее поэтического языка ярко проявились в книге "Неподвижная земля" (1964). Один из стихотворных циклов этой книги называется "Домá". Стихотворения этого цикла дают читателю настоящую галерею разнообразного поведения и разнообразных типов португальских женщин, каждая из этих женщин отождествляется с каким-то домом. Есть дома-странницы, дом-девственница, дом-проститутка, дом-мятежница, дом-прóклятая и т. д. В стихотворении-послесловии к циклу автор предлагает отменить дом, ставший ненужным его обитателям. Женщина, стремящаяся к свободе, предпочитает дому улицу. Поэт осуждает летаргию и конформизм, охватившие страну при режиме диктатуры, фарисейство, разъедающее ее, как коррозия — железо; яркий пример этому — стихи "Мятежная", "Покорная судьбе".

В стихотворении-послесловии к циклу язык, насыщенный, как обычно, эллипсами, аллитерациями, игрой паронимами, претерпевает метрические разрывы, доходящие до фрагментации слов, до намеренного уродования речи — по аналогии с тем, что происходит с телом и душой лирических героинь. Говоря об улице, призывая предпочесть ее дому, автор даже визуально строит стихотворение так, чтобы оно походило на улицу:

Улица
угроза
раз — ли —
вал-ась
наклон
на вы
-ворот
в стихи — ю
суици-
-да

1. Анна Криштина де Резенде Шиара – доктор филологических наук, преподаватель бразильской литературы в Государственном университете Рио-де-Жанейро.

Намеренное деформирование как реальности, так и языка, противоречивое сочетание образов, постоянная игра смыслами — все это мощно втягивает нас в свою орбиту.

Внимание Луизы Жорж к тому, что обычно упускается из виду в обыденной жизни, ее умение видеть красоту мельчайшего, случайного, фрагментарного, имело продолжение в произведениях многих молодых португальских поэтов.

Но самый интересный из них, в творчестве которого также проросли семена поэтики Луизы Жорж, и чрезвычайно притом отличный от нее всем строем своего поэтического мироощущения, — это Даниэл Фариа. Прослушав курс теологии в католическом португальском университете в Порту, став лиценциатом в 1996 году, проучившись четыре года на филологическом факультете университета в Порту (1994—1998), Фариа решил выбрать для себя монашество и в 1999 году стал послушником в монастыре Синжеверда, где скоропостижно скончался в том же году. При жизни издал пять книг поэзии, две вышли после его смерти, как и том, включивший в себя все стихи Фариа.

В поэзии Фариа всегда присутствует незримый Бог, что придает его текстам особую глубину. Бог в стихах Фариа, Бог потерянный и вновь обретенный, выступает под разными именами-символами. Поэтическая речь, в представлении Фариа, стирает границы между звучанием слов и природой, какой ее видит чистый, непосредственный взгляд. Если София де Мелу называет вещи, чтобы вызвать их к жизни, то Фариа объясняет мир средствами поэзии. Нередко его речь сама превращается в ту "вещь", которую он собирается "объяснить". И тогда Вселенная поэта Даниэла Фариа оживляется силой его поэтического языка, вызывается им к жизни — и этот процесс перехлестывает через границы официальной религии.

Излюбленный прием Фариа — монолог, но порой он прибегает и к диалогу между "я" и неким "ты", которое множит свои облики, может быть Богом, а может — просто близким человеком. С помощью образов, метафор и риторических фигур, тщательно выстраивая текст и тонко играя смыслами, поэт ищет "молчаливую суть мира", или мир, в котором могло бы царить молчание, где глагол превращается в предмет и, наоборот, где дом одновременно присутствует и отсутствует, где жертвенность и самоотречение тесно сплетены с ощущением безмерности своей силы.

Даниэл Фариа сумел претворить свой духовный опыт в эстетику возвышенного поэтического сознания и слова. Его поэтика — поэтика созерцания и размышления, являющихся, по словам Рамона Мария дель Валье-Инклана, чудесной лампадой, которая зажигается для освещения невидимого.

Заключая разговор о современной португальской поэзии, мне хочется не согласиться с определением Португалии в стихах Мануэла Алегре: "Страна, где много моря // и мало путешествий". Жива еще душа отважных португальских мореходов, и каждый год она отправляется в плавание по славному непредсказуемому океану поэтической речи Португалии.

Жозе Режиу

Португальское фаду

Когда родилось ты, фаду,
Был штиль две недели кряду,
Разгладил он ширь морскую.
Тогда родилось то слово,
В груди моряка молодого,
На вахте он пел тоскуя,
На вахте он пел тоскуя.

Какое же это чудо,
Мой край в долине цветущей!
Испании берег рыжий
Не видишь ли ты отсюда?
И отмелей португальских?
Ослеп я от слёз, не вижу.

Слова его с губ летели
На одной каравелле
Закатною кровью алой.
Те губы о доме пели,
На них поцелуи сгорели,
Лишь море их целовало,
Лишь море их целовало.

Прощай, Мария, с тобою
Мы верить будем удаче.
И я обещаю ныне:
Пойдём с тобой к аналою,
Коль Бог, порешив иначе,
Не скроет меня в пучине.

И звучало другое фаду
В тихий вечер, что нёс отраду,
И светилось небо, ликуя.
На другой каравелле слово
Рвалось с губ моряка другого,
На вахте он пел тоскуя,
На вахте он пел тоскуя.

Из книги "Стихи о Боге и о Дьяволе".

Мануэл Алегре

Песня о ветре что проходит

Спрошу у ветра что мчится
о родине о любимой
он словно большая птица
молчит пролетая мимо.

Спрошу у рек что зелёный
цветок свой несут на воле
не тонут в воде их сонной
со мной остаются боли.

Со мной остаются боли
Земля на цветке зелёном
куда и по чьей ты воле
бредёшь под ветром солёным?

Спросить бы клевер срывая
о ней и сказать впрямую
коль мощь дохнёт штормовая
за родину смерть приму я.

Спрошу тех чьи мрачны лица
Зачем глаза опустили?
Молчит кто живёт в темнице
Покорный недоброй силе.

Как тянутся ветви к небу
И видно их издалече.
Кто рад господскому хлебу
У тех опущены плечи.

И ветер всё мчит куда-то,
То жалуясь, то стеная.
Я видел тебя распятой
Отчизна моя родная.

И в беспросветной печали
На реках к морю текущих
Стоишь всегда на причале
Игрушкой для волн влекущих.

Я видел суда на воле
А ты на цветке зелёном
зелёные листья боли
под ветром морским солёным.

Злорадными голосами
оболгана в униженье.
Ты в голода чёрной яме
в безмолвной долине тени.

И ветер не скажет слова
В метаниях неуемных.
Я вижу стоишь сурово
у вод печальных и тёмных.

Вестей у речной излуки
прошу но мольбы напрасны.
Народа пустые руки
помочь отчизне не властны

В сердцах земляки и братья
Ночь воет псом одичалым
У ветра хотел узнать я
О родине но молчал он.

Трилистник срываю снова
три слога в слове “свобода”
пишу для вас это слово
сыны моего народа

Неграмотны вы ну что же
Напев мы подхватим вместе
Коль сеять на ветер всхожи
Стихи и песни и вести.

В ночи лихолетья злого
Встречь граду и камнепаду
Всегда кто-то кинет слово
И кто-то зажжёт лампаду.

София де Мелу Брейнер Андресен

Лузитания

Те кто к морю идут и с тихим всплеском
На баркасе чёрном взрезают воду
Точно острый нож с рукоятью чёрной
Живы скудным хлебом и лунным блеском.

Моряк без моря

У моряка вдали был спокойный берег
Тихий пляж где вольно душе и думам,
Но проходит сумраком он угрюмым
Городских безжалостных мёртвых улиц

Все города застывшие у пирса корабли
Гружённые собаками что воют на луну
Гномами и трупами похожими на кули.

Он идёт качаясь будто на шхуне
На углы домов наталкиваясь плечами
Нет ни чаек ни волн взвивающихся бичами
Лишь тени плывут вослед как рыбы в лагуне

В мыслях его в их запутанной сети
Бьются медузы скользкой холодной массой
Падает ночь под ветром при лунном свете

И он восходит по спрятанным ступеням
И он проходит по улицам безымянным
Ведомый среди потёмок собственным мраком
Глядя на мир стеклянными зрачками

Идёт а дома непрерывные темные глыбы
Сжимают тени его, как чёрные спруты
Чаруют его фонари летучие рыбы
Ярки и острогруды.

Потому что его корабль растерял все снасти
Потому что высохло море водой в пруду
Потому что судьба погасила его звезду

В небе трефовой масти
Потому что потеряна цель и нет пути
И победы проданной вновь не обрести
Опустились руки от чёрной беды-напасти

И напрасно он поднимается всё печальней
Чистый луч рассвета разыскивая на небе
Призывая ветер свежий ветер причальный

Нет не смоет с лица отвращения пена моря
Это чувство впечатано там навечно
И напрасно он призывает ветер
Что бежит по пляжам влагой дразня беспечной
Он умрёт без моря и без кораблей
Без их парусов пены морской белей
Умрёт меж серых стен лазарета
Где останки истерзанных тел
Плавают в сумерках медлящего рассвета.

* * *

И к Северу, и к Югу
И к Западу Востоку
Трясут упругой гривой
Поводят влажным оком
Летят четыре ветра четыре скакуна

Дух Моря вопрошает:

“Скажите, что с ним сталось
С тем для кого хранил я
Под пенистой волною
Владенье непорочным
С зелёной глубиною?”

Не будет спать он под песчаным одеялом
Средь раковин с узорчатым кораллом

Он будет гнить в земле и ярким днём
И к Северу и к Югу
И к Западу Востоку
Четыре скакуна чьё зорко око
Прозрачные ветра пронзая окоём
Не вспомянут о нём.

Затем что с вечным он утратил связь
Себя отрезал от глубин бездонных
Во власти времени бестрепетно дробясь
На улицах безжалостных и сонных

Луиза Нету Жорж

Б*арельеф*

Изнутри векового покоя
мы
это завтрашняя скульптура

(узкая дорожка муравьёв
спускается на волосы
пятная патиной пыли сердце)

Ты и я
завтрашняя статуя
В руках у нас нет цветка
книги ружья
нет потертого престола где можно умереть
заколотого готического монстра у ног

(Все сны — из камня или бронзы
нет мои — из соломы или бумаги)

Ты и я
барельеф (фриз украшает низ)[1]
нас выставляют напоказ трогают продают
используют богачи
и мёртвые уже наводнившие
пьедестал статуй

Ты и я
эллиптичны в сексе
вчера кричала на твоей груди
сегодня секрет в моем чреве

1. Барельеф по-португальски — baixo-relevo (baixo — низкий, relevar — быть важным, иметь значение), поэтому baixo-relevo имеет двоякий смысл: a) барельеф, т. е. скульптурное изображение, выступающее над поверхностью; b) кто-то (или что-то) не являющийся важным, обычный, не выделяющийся. В данном случае автор относит лирических героев стихотворения к категории обычных людей, небогатых и незнатных. (*Прим. перев.*)

не наследующие от теней
уже без жестов
завтрашняя скульптура

Дома

I (“Путешественницы”)

Домá – дочери ночи
Утром они просто дома
Ночью простирают руки ввысь
дымятся уходя

Смыкают веки
пересекают большие пространства
облаками ли кораблями

Дома плывут в ночи
на приливной речной волне

Они гораздо послушней
чем дети
Под штукатуркой замыкаются
Задумчивые

Пытаются говорить с нами
в безмолвии
голосом черепиц наклонных

II (“Девственница”)

Клялась всегда блюсти невинность
Опустила на глаза ставни
Кормилась пауками
Сыростью
косыми лучами солнца

Если её касались спасалась бегством
если отворяли двери
скрывала свой пол

Рухнула в экстазе лета
размытая светом мужского солнца

III (“Покорная судьбе”)

(Пожар сожрал фундамент
Вскоре источил ей чрево)

Говорит что глаз узрит:
— Да, в полночь
когда ветер шарил по шторам
когда темно выходили из кино

(Пожар опоясал её
Пуб-лич-но)
И она поёт своё:
“В сумерки много мошек на стёклах мёртвых
Над уровнем моря”
(Над часами потрескивают резцы
пальцы пламени
сверкают серебром)

и она ведёт речь о зеркалах:
“У зеркал удостоверю
есть вертящиеся двери
стёкла окон эпатажем
искажают все пейзажи”

(Пожар возбуждает антенны мгновенно
Забывши жестокое тело
Мужское
Пребывает в покое: в своём жилище)

Ждёт Она ждёт Не говорит уже
В пылающей круговерти
ждёт смерти

IV (“Дети”)

Могут играть по воскресеньям
на прогулку выйти из проулка
глянуть вполглазка улиц-не-пересекать

играть отраженьями в стёклах оконных
(или брильянтом)
стучать дверьми несильно
скользить перилами
немножко
целовать лапки паукам
и кошкам

V (“Проститутка”)

Была безумная на углу
Принимала народ в любое время

Разваливалась и
видели её соблазнённой путаны
крысы гнёзда аистов с крыши
свистки поездов пьяные рояли
свет фонарей голоса лесных зверей

VIII (“Бездомная”)

“Я знаю что такое улица — говорит дом
То чему негде остаться
на ночь”

IX (“Богатая”)

Воз — дух
Это самый высокий дом
— самый богатый —

в этом селе

X (“Единственная”)

Была единственной
провожавшей мёртвого
удержали хотела уйти
ещё кричит не подымая век:
(слышишь?)
“Под этой крышей жил человек
год за годом
Под этой крышей одинокий умер”

XI (“Бесстыжая”)

Об этой говорили газеты
Нет стыда
Раздевается не вовремя для любовника:
Вот отхожие места тайники разные постели грязные
Утром рано у неё бельё
на полу веранды

XII (“Вечно свободная”)

та что не хотела стен
та что не хотела штор из льняных волокон
слуховых окон
чтоб входили-выходили моря-приливы
беглецы
та что была просто домом

открытое одиночество
а не любые бесконечные “четырестены”

XIII (“Про́клятая”)

Жестко моё дерево как железо
Под моею крышей беременных били
по ночам рыдали в комнатах моих

проклята я проклята ох как мне непросто
Призраки окружают черепа
Смотрят на меня караульные плюют на пол
мой пол из железобетона

Взываю к землетрясению укрой меня
унеси меня ветер избавитель
с ненавистью засну проснусь с ненавистью
душа разрушается час-от-часу
сотрясаются стены до костей
тесно как тесно в тёмной тревоге
куда-то уходит коридор
Кто обмоет меня перед смертью?
Кто воскурит благовония надо мною мёртвой?
Меня, мёртвое жилище, кто оплачет?

XIV (“Мятежная”)

Сорвешь маску
Твоюумаску
О двойственная знаю из негашёной извести
твояамаска
твёрже чем этот ноготь
и страшнее
чем этот ноготь на пальце
Равны кирпичи в стене и в печи

Дому — мозг меж домами — мост
скажут

“лицо этого дома его лицо говорю
настоящее в крови”

“Послесловие к Домам”

Улица
угроза
раз — ли —
вал-ась
наклон
на вы
-ворот
в стихи — ю
суици-
-да

Выбирай -те
чтобы выйти
час пик
безумный
час — вне
закона
вы —
бросьте
в пейзаж за —
— оконный
дом
напрасную
пристань
живущих
в нём

Даниэл Фариа

Из *книги* “*Объяснение Деревьев и Других Животных*”

После летних пожаров дожди
Заставляют растения всплыть на поверхность
Вулканической вспышкой

Зеленое пламя
Моментально спускаются кратеры
Полные соком
Разливая свои ароматы как лаву

Если б звери погибли в огне никогда не суметь
Возвратиться им так. Но для трав и кустарников
смерть
Это молодость их, это новый рассвет
И начало. Поднимаются стебли
Полны новорожденных нежных.

Точно так же людские сердца пламенеют
Пьют вино молоко родниковую воду и не угасает
В них любовь

Звезда родится из корней сожженных
Стволов на склонах
Из множества быков воспламененных
Когда в рогатых пламенных коронах
Проходят меж стогов пылающих к домам.
Огонь — пророчество безумие и рост
Мост к жизни и ступень её — посередине —
Ориентир. А на ладони есть скопленья звёзд
Что направляют скот на перегонах.

Простор — пробоина покинутая всеми
И пустота как лапа ветви защищает
От легкости. Вот пробудилась птица
И клюв ее не ранит нежность песни
Какую боль несут деревья
Когда приходит к нам Весна
И те друзья, что на ногах ещё.

Как сосунки что на коленях поджимали лапки
Потом на стеблях ножках проходили сквозь
Все то что разделяет
И пили из земли открытой их головками тугими.

Чтобы видел ты
Извилистые точно внутренность ракушек
Рассеиванье рыбьих робких косяков
Глаза на месте том где нет уже
Ни их самих и ни других
Цветущих

Будь птичкой бил бы ты крылом и разрывал силки
Будь мотыльком ты оставлял бы круги вокруг
фонарей
Будь ты пчёлой жужжал от возмущенья
Но ты полёт среди теней
Будь муравьём ты нёс бы грузы и складывал бы их
усталый
Будь ты цветком ты опылял бы землю
И был бы ты нетленною короной
Будь ты цветком идущим сквозь весну, сквозь лето,
осень, зиму

* * *

Хожу немного над землёй
В том месте где обычно птицы
Летают
Хожу немного выше птиц
В том месте где они склоняются к земле
Готовые к полету.

Мне тяжесть мёртвая страшна —
Гнездо что разорили

Воздушно нахожусь над тем что смертно
На склоне где слова подобны хлебу
На преломляющей его ладони
И не делю как тишина написанного мной

Иду легко над тем что говорю
Кровь проливая внутрь слов произнесённых
Иду немного выше льющейся поэмы

Иду смиренно я в окрестностях глагола
Я — преходящий — на ступени незримой над землей
В том месте где деревья полнятся плодами
И где другие схвачены пожаром

Внутри горящих нахожусь какой-то частью
И гасну постепенно но ещё я жажду
Ведь я иду над силой утоления желания живущих
И сдавливаю сердце для того, что опускается передо
мною

И пьёт

* * *

Прислоняюсь к смерти без защиты, без тени
Как зерно
Приближаюсь к цветку что придёт, прихожу
Поверхностью сна твоего к рубежу
Так как будто рука ожила засевая
Сердце вспаханное пришедшим для жатвы
Я трескаюсь внутри смерти словно зерно
Я трескаюсь внутри зерна
И любого растения похожего на тебя

* * *

Голос ветра летящего пыль развевая
Дом ли
Дерево в той или этой поэме
Я — в тени виноградной лозы там где Осени бухта
кривая
Прививаю я свет
Ко всему что в стихах называю.

* * *

Есть примета того что ведут нас
Побуждая единственно к росту. Манера деревьев
Несравненно терпение в этом стремлении их к
высоте
Доброта их незрелая так пребывать продолжаться
И пернатым служить маяками

Лидия Дэвис

Рассказы

Перевод с английского Е. Суриц

Мы с моим псом

МУРАВЕЙ, и тот может на вас смотреть и даже грозить вам лапками. Мой пес, конечно, не знает, что я человек, он меня считает собакой, хоть я никогда не прыгаю через забор. Я сильная собака. Но я не разеваю рот, свесив челюсть, когда хожу гулять. Какая бы ни стояла жара, я не вываливаю язык. Правда, я на него лаю: “Фу! Фу!”

Кафка готовит обед

ПРИБЛИЖАЕТСЯ день, когда придет моя дорогая Милена, и меня охватывает отчаяние. Я еще даже не приступал к решенью вопроса о том, чем буду ее угощать. Даже еще не приступал к обдумыванию этой мысли, только кружил вокруг, как кружит мотылек вокруг лампы, обжигая об нее голову.

© 2007 by Lydia Davis
© Е. Суриц. Перевод, 2017

Я так боюсь, что не додумываюсь ни до чего, кроме картофельного салата, но он для нее уже не станет сюрпризом. Нет, это невозможно.

Мысль об обеде не покидала меня всю неделю, давя на меня непрестанно, вот так на морской глубине нет места, где бы на вас ни давил пласт воды. Вдруг я собираю все силы, берусь разрабатывать это меню, и будто меня заставляют гвоздь вколачивать в камень, и сам я — сразу — и тот, кто бьет молотком, и гвоздь. А то вдруг я сижу себе вечерком и читаю, с миртом в петлице, и встречаю в книге такие прекрасные пассажи, что даже сам себе кажусь прекрасным.

С тем же успехом я мог бы сидеть во дворе сумасшедшего дома и пялиться в пространство, как идиот. И все равно я же знаю, что в конце концов я остановлюсь на каком-то меню, куплю продукты, приготовлю обед. В этом, по-моему, я похож на бабочку: ее зигзагообразный полет так неверен, она так бьет крылышками, что больно смотреть, она летит как угодно, но только не по прямой, и, однако же, успешно одолевает многие, многие мили и достигает места своего конечного назначения, а стало быть, она куда расторопней и, во всяком случае, куда целеустремленней, чем кажется.

Терзать себя — жалкое занятье, конечно. В конце концов, не терзал же гордиева узла Александр, когда тот никак не развязывался. Я как будто заживо себя погребаю под всеми этими мыслями, и в то же время чувствую, что должен лежать и не шевелиться, потому что я, может быть, уже умер на самом деле.

Сегодня утром, например, незадолго до того как проснулся, хоть и уснул я недавно, я видел сон, и никак не могу с себя стряхнуть этот сон: я поймал крота и отнес на поле хмеля, а там он канул в землю, как в воду, и был таков. И когда я думаю про предстоящий обед, мне хочется провалиться сквозь землю, как этот крот. Хорошо бы забиться в ящик бельевого комода и только время от времени, чуть приоткрыв ящик, проверять, не задохнулся ли я уже. Куда удивительней, что вообще каждое утро встаешь с постели.

Я знаю, винегрет был бы лучше. Можно угостить ее и картошкой, и свеклой, и бифштексом, если я мясо включу. Но хороший кусок мяса не требует гарнира, он вкусней без гарнира, так что гарнир можно подать предварительно, правда, в таком случае это будет уже не гарнир, а закуска. Что бы я ни приготовил, она, возможно, не очень высоко оценит мои усилия, а возможно, она почувствует легкую дурноту, и свекла эта на столе будет только ее раздражать. В первом случае

мне будет мучительно стыдно, а во втором — я даже не знаю, как тут быть и откуда мне знать, кроме как задать один простой вопрос: может, она хочет, чтобы я убрал всю эту еду со стола?

Не то чтобы этот обед меня страшил. В конце концов, есть у меня кой-какая энергия и воображение, и я, возможно, сумею приготовить такой обед, какой ей придется по вкусу. Были же другие, сносные, обеды и после того блюда для Фелицы, которое стало таким провалом — хоть из него проистекло, может быть, больше пользы, чем вреда.

Я на прошлой неделе пригласил Милену. Она была со знакомым. Мы встретились случайно, на улице, и я возьми и выпали приглашение. У спутника ее было доброе, дружелюбное, пухлое лицо — очень правильное лицо, как бывает только у немцев. Пригласив ее на обед, долго еще я бродил по городу, бродил, как по кладбищу, такой покой царил у меня на душе.

А потом я стал терзаться, как цветок в цветочном ящике, охлестываемый ветром, но не теряющий ни единого лепестка.

Как в письме, усеянном помарками, есть и у меня свои недостатки. Прежде всего, я отнюдь не силач, а ведь Геракл и тот, кажется, однажды упал в обморок. Весь день на службе я стараюсь не думать о том, что мне предстоит, но от меня это требует таких усилий, что на работу ничего уже не остается. Я перевираю телефонные номера, и барышни-связистки уже отказываются меня соединять. Не лучше ль сказать себе: “Иди-ка ты лучше домой, начисти как следует столовое серебро, выложи на буфете и пусть с этим будет покончено”, ведь все равно я мысленно весь день его чищу — вот что мучит меня (без всякой пользы для серебра).

Я люблю немецкий картофельный салат из старой, разваристой картошечки с уксусом, хоть он такой тяжелый и сытный, что меня подташнивает еще до того, как я за него примусь, — будто я усваиваю подавляющую и чуждую культуру. Если я его предложу Милене, я предстану перед ней с такой грубой стороны, от которой лучше ее уберечь, с такой стороны, какой она еще не знает. Французское же блюдо, пусть и более тонкое, стало бы изменой себе, непростительным, может быть, предательством.

Я полон самых лучших намерений, но ничего не предпринимаю, в точности как в тот день прошлым летом, когда я сидел у себя на балконе и смотрел на жука, а он лежал на спине и дрыгал лапками не в состоянии подняться. Я от души сочувствовал жуку, но не мог встать со стула, чтобы ему помочь. Он перестал шевелиться и так надолго затих, что я его счел

умершим. Но вот появилась ящерица, толкнула его, перевернула, и он взбежал по стене, как ни в чем не бывало.

Я вчера скатерть купил, на улице, у человека с тележкой. Он был маленький, тот человек, просто крошечный, хилый, бородатый и одноглазый. Подсвечники я взял напрокат у соседки, или, лучше сказать, она мне их одолжила.

После обеда я предложу ей эспрессо. Составляя план этого обеда, я чувствую себя немножечко, как Наполеон себя бы чувствовал, составляя план российской кампании, знай он заранее точный ее исход.

Я хочу быть с Миленой, не сейчас только, а всегда. Зачем я человек, я себя спрашиваю, — какое зыбкое, никчемное существование! И почему не дано мне стать счастливцем-шкафом у нее в комнате?

Когда еще я не знал мою дорогую Милену, я считал жизнь несносной. А потом она вошла в мою жизнь и показала мне, как я был неправ. Наша первая встреча, правда, не предвещала добра, потому что на мой звонок дверь открыла ее мать, и какой же большой был у этой женщины лоб, на котором четко написано: "Я мертвая, я презираю каждого, кто еще не умер!" Милена, кажется, была рада, что я пришел, но еще больше радовалась, когда я стал прощаться. В тот день я случайно глянул на карту города. На миг меня изумило, что кому-то вздумалось городить целый город там, где все, что нужно, — это место для Милены.

В конце концов, может, проще всего было бы приготовить для нее точно то же, что я приготовил тогда для Фелицы, только тщательней, чтобы уж ничего не испортить, и без грибов и моллюсков. Можно даже и Sauerbraten[1] включить, хотя, когда я его для Фелицы готовил, я ведь еще ел мясное. В то время меня не донимала еще мысль о том, что животное тоже имеет право на достойную жизнь и — что, возможно, еще важней — на достойную смерть. Теперь я даже моллюсков есть не могу. Мой дед со стороны отца был мясник, и я поклялся, что ровно то же самое количество мяса, какое он изрубил на своем веку, я не съем на всем своем веку. Давно уже я не прикасаюсь к мясному, правда, употребляю масло и молоко, но ради Милены можно опять приготовить Sauerbraten.

У меня самого никогда не было хорошего аппетита. Я куда худей, чем надо, но я давно уж худой. Несколько лет тому

1. Жаркое из говядины, предварительно вымоченной в уксусе (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

назад, например, я часто плавал на лодочке по Влтаве. Немного прогребу вверх по реке, а потом ложусь навзничь на дно лодки и плыву себе, отдавшись течению. Как-то раз один знакомый шел по мосту и вдруг видит: внизу я. Будто настал день Страшного суда, говорит он, и мой гроб разверзся. Но он-то сам тогда уже, можно сказать, растолстел, и о худых толком не имел никакого понятия, только, что они худые, и все. Каков бы ни был вес, который ношу на себе, это мой неотъемлемый вес.

Она, возможно, больше вообще не захочет прийти, не потому что ветреная, а потому что ужасно устала, это же так понятно. Если она не придет, нельзя сказать, что я буду по ней скучать, ведь она постоянно со мной в моих мыслях. Но она будет по другому адресу, а я буду сидеть за кухонным столом, уткнувшись лицом в ладони.

Если она придет, я буду улыбаться, улыбаться, я это унаследовал от одной своей старой тетки, она тоже без конца улыбалась, но у нас у обоих улыбки эти от смущения, а не от радости или участия. Я не смогу говорить, я даже радоваться не смогу: сил совсем не останется после этой стряпни. И если, грустно извиняясь за первое, с супницей в руках, я замру на пороге кухни, перед тем как перейти в столовую, и, если она в то же самое время, чувствуя мое смущенье, замрет на пороге гостиной перед тем, как перейти в столовую с противоположной стороны, тогда прелестная комната какое-то время будет совершенно пуста.

Что ж — один сражается у Марафона, другой у кухонной плиты.

Но вот я разработал почти все меню, и уже вообразил все приготовление обеда во всех подробностях, от начала и до конца. И, стуча зубами, сам с собой повторяю бессмысленно фразу: “И тогда мы побежим в лес”. Бессмысленно — потому что рядом нет леса, да и кто куда побежит?

Во мне живет вера в то, что она придет, хотя рядом с верой сидит и страх, всегда сопровождающий мою веру, страх, присущий всякой вере от начала времен.

Мы с Фелицей не были помолвлены ко времени того злополучного обеда, хотя за три года до него мы были помолвлены, и через неделю нам предстояло опять обручиться — не как следствие обеда, конечно, и не из-за того, что сердце Фелицы окончательно растопилось бы от жалости из-за моих напрасных потуг приготовить кашу варнишкес, драники и

Sauerbraten. Нашему же конечному разрыву, с другой стороны, есть, наверное, больше объяснений, чем требуется, — смешно, но иные специалисты считают, что самый воздух этого города, возможно, располагает к непостоянству.

Я волновался: все новое всегда волнует. Вдобавок мне, конечно, было страшно. Я уж почти остановился на традиционном немецком либо на чешском блюде, хоть они и тяжеловаты для июля. Какое-то время меня мучила нерешительность, даже во сне. А то вдруг я и вовсе сдавался, уж подумывал, не удрать ли из города. Потом я мужественно решал остаться, если тупое лежанье на балконе может быть названо мужественным решением. И тогда казалось, будто меня парализовала нерешительность, а на самом деле мысль моя бешено билась у меня в голове; в точности как стрекоза — будто недвижно висит в воздухе, а на самом деле, она бешено бьет крылышками по тугой струе ветра. Наконец я вскочил, как вскакивают, чтоб вытолкнуть незнакомца из собственной постели.

Я тщательно продумал угощенье, но это, наверно, неважно. Я хотел приготовить что-нибудь такое питательное, потому что ей не мешало бы подкрепить свои силы. Помню, я собирал грибы, рано утром прокрадываясь между стволов на глазах у двух пожилых монахинь — они, кажется, уж очень не одобряли меня, или мою корзину. Или тот факт, что я, идя в лес, вырядился в хороший костюм. Но их одобрение, в общем, так же ничего б не меняло.

Час близился, на недолгое время я вдруг пугался, что она не придет, хотя впору бы пугаться того, что она придет. Сперва она говорила, что едва ли придет. Странно, и зачем она это говорила. Я себя чувствовал, как посыльный, который уже не может быть на побегушках, но еще надеется устроиться на новое место.

Как крошечный зверек в лесу, сильно, несоразмерно шуршит листвой, когда в испуге спешит к себе в норку, или даже не в испуге, а просто он ищет орехи, и ты думаешь, что медведь ломится через чащу, а это никакой не медведь, а мышь — вот таковы были и мои чувства, меленькие, но шумные. Я просил ее, ну пожалуйста, не приходите ко мне на обед, но потом я просил ее, ну пожалуйста, не слушайте меня и все-таки приходите. Как часто наши слова произносит за нас будто кто-то незнакомый и чуждый. Я не верю уже никаким речам. Даже в самой сладкой речи таится червь.

Однажды, когда мы с ней ели в ресторане, мне было так совестно за этот их обед, как будто я сам его состряпал. Перво-наперво нам подали такое, что могло отбить аппетит ко всему

остальному, даже к самому вкусному: жирные белые Leberknödeln[1] плавали в жидком бульоне среди кружочков жира. Явно немецкое блюдо, не чешское. И зачем нужно было так все усложнять, вместо того чтобы сидеть себе спокойно в парке и смотреть, как колибри вспархивает с петуний и усаживается на верхушку березы?

В тот вечер, на какой был назначен обед, я говорил себе, что, если она не придет, у меня зато будет в распоряжении пустая квартира, ведь если пустая комната в собственном распоряжении просто необходима для жизни, пустая квартира необходима человеку для счастья. Я снял квартиру для этого случая. Но пустая квартира меня не осчастливила. Или, может, для счастья мне была нужна не пустая квартира, а две пустые квартиры. Она пришла, но она опоздала. Сказала, что задержалась, она была вынуждена дожидаться разговора с одним человеком, который сам дожидался, с нетерпением дожидался, исхода прений об открытии нового кабаре. Я ей не поверил.

Когда она вошла, я был чуть ли не разочарован. Она наверняка предпочла бы пообедать с кем-то другим. Она собиралась мне принести цветок, но явилась с пустыми руками. И все же — просто из-за того, что я с ней, из-за ее любви, из-за ее доброты, — я испытал восторг, живой, как жужжание мухи на ветке липы.

Несмотря на неловкость, мы продолжали обедать. Уставясь на приконченное блюдо, я горевал о своей утраченной силе, горевал из-за того, что родился, горевал из-за того, что солнце светит. Мы ели что-то, что, увы, не могло исчезнуть с тарелок, если мы его не проглотим. Я был одновременно тронут и пристыжен, доволен и опечален тем, что она ела с явным удовольствием, — пристыжен и опечален тем исключительно, что не мог предложить ей чего-нибудь получше, тронут и доволен тем, что еды, кажется, хватило, на сей раз хотя бы. Изящество, с каким она ела, и тонкость ее похвал только и придавали ценность еде — катастрофически скверной. Уж, конечно, она заслуживала иного — копченого угря, скажем, фазаньей грудки, шербета, испанских фруктов. Неужели нельзя было все это уж как-нибудь ей предоставить?

А когда похвалы еде иссякали, сам язык ее делался гибким, приходил ей на выручку, становился прекрасней, чем можно было бы рассчитывать. Послушай Фелицу кто-то со

1. Печеночные фрикадельки (*нем.*).

стороны, он бы подумал: “Вот это человек! Небось, горы способен двигать!” — тогда как я всего-навсего мешал кашу так, как учила меня Оттла[1]. Я надеялся, что когда она уйдет, то отыщет прохладное местечко, какой-нибудь сад, и там отдохнет в шезлонге. Что до меня — уж этот-то кувшин треснул задолго до того, как повадился по воду ходить.

Не обошлось без аварии. Я сообразил, что стою на коленях, только тогда, когда уперся взглядом в ее ноги. По ковру расползались улитки, в нос ударял чесночный дух.

Кажется, при всем при том, покончив с едой, мы еще развлекались, сидя за столом, какими-то шуточными задачками, орудуя мелкими числами, не то крупными числами, не помню, и я оглядывал в окно здание напротив. Наверно, лучше бы помузицировать, но — мне слон на ухо наступил.

Разговор у нас не клеился, спотыкался. Я бессмысленно петлял, от нервозности. Наконец я сказал ей, что совершенно теряюсь, но это неважно, ведь раз она так далеко зашла со мной, значит, оба мы заблудились. Было много недоразумений, даже когда я застрял на этой теме. Но ей нечего было бояться, что я на нее сержусь, лучше боялась бы, наоборот, что я не сержусь.

Она мне приписала какую-то тетю Клару. У меня и вправду была тетя Клара, у каждого еврея есть своя тетя Клара. Но моя давным-давно умерла. Ее тетя Клара, она сказала, такая смешная, любит провозглашать, например, что нужно ровно наклеивать марки на конверты и нельзя выбрасывать мусор в окно, и то и другое совершенно справедливо, конечно, но не так-то легко исполнимо. Поговорили о немцах. Она люто ненавидит немцев, но я ей сказал, что напрасно, потому что немцы чудесные. Может, зря я ей хвастал, что недавно больше часа колол дрова. Я-то думал, она должна мне быть благодарна — я, в конце концов, одолевал искушение сказать что-то злое.

Еще одно недоразумение, и она готова была уйти. Мы пробовали разные способы выразить то, что у нас на уме, и в те минуты были, собственно, не влюбленные, а просто играли в слова. Даже животные, когда ссорятся, теряют всякую бдительность: белки носятся взад-вперед по лужайке, через дорогу, забывая о том, что их, может быть, выслеживают хищники. Я сказал, что, если уж ей нужно уйти, единственное, о чем я прошу, это поцелуй на прощанье. Она уверяла,

1. Оттла — младшая любимая сестра Франца Кафки.

что, хоть мы немного и повздорили, мы снова скоро увидимся, но по мне "скоро" вместо "никогда" — это все равно "никогда". И она ушла.

После такой потери я очутился в положении Робинзона Крузо, даже еще хуже, — у Робинзона Крузо, по крайней мере, был его остров, и его Пятница, и его припасы, козы, судно, которое потом забрало его и его имя. Ну а я — мне казалось, что некий доктор, зажав между колен мою голову, провонявшими карболкой пальцами протискивает мне еду в рот и в глотку, пока я не подавлюсь.

Кончился вечер. Богиня вышла из кинематографа, а маленький швейцар, стоя в дверях, ее провожает взглядом — и это наш обед? Я так грязен — вот почему я без устали ору о чистоте. Никто не поет так чисто, как те, кто сидит в глубинах ада, — ты думаешь, это песня ангелов, а это совсем другая песня. И все-таки я решил еще немножечко пожить, во всяком случае, дотянуть до утра.

В конце концов, я такой неуклюжий. Кто-то сказал однажды, что я плаваю, как лебедь, но это не был комплимент.

Чувства

МНОГИЕ обращаются со своими пятью чувствами с вниманием и почтительностью. Водят глаза по музеям, нос — по цветочным выставкам, руки нежат на шелке и бархате в магазинах тканей, уши ублажают концертами, ресторанными блюдами — рот.

Но большинство заставляет свои чувства день за днем тяжело трудиться: глаза, а ну, почитайте-ка мне газету! Эй, нос, обрати внимание, не пригорела ли каша? Уши! Сосредоточьтесь, прислушайтесь, не стучат ли в дверь!

Вечно они задают своим чувствам работу, а те ее исполняют все — или почти все: уши глухих, например, не могут, глаза слепых не могут.

И чувства устают. Иной раз, задолго до конца они объявляют: довольно! С меня хватит.

И человек остается, неприспособленный к жизни, и торчит дома без самых необходимых вещей, вынужденный влачить существование дальше.

Если все чувства ему откажут, он поистине одинок: во тьме, в молчанье, руки немеют, во рту — пустота, в ноздрях — пустота. И тогда он себя спрашивает: ну что я им сделал? я ли их не баловал?

Т*елевидение*

1

У всех у нас есть свои любимые передачи, они идут каждый вечер. Нам говорят — будет увлекательно, и действительно очень все увлекательно.

Нам намекают на то, что́ будет, и все сбывается и все увлекательно.

Прогуливайся мертвецы под самыми нашими окнами — не так увлекательно было бы.

И во всем хочется участвовать.

Хочется быть тем именно человеком, к которому обращаются, чтобы узнать, что́ будет далее сегодня вечером и далее на неделе.

Мы слушаем рекламу до изнеможения, мы терпим все это: от нас хотят, чтобы мы такую уйму всего накупали, а мы бы и с радостью, да денег таких у нас нет. Но невозможно не восхищаться — такая во всем этом научность.

Вот бы обладать уверенностью, как у этих людей. Женщины там все подтянутые, о женщинах в нашей семье такого не скажешь.

Но мы верим в жизнь.

Мы верим, что с экрана обращаются именно к нам.

Мама, например, влюблена в ведущего. А муж, тот ест глазами одну молоденькую репортершу и только и ждет, когда камера отъедет и покажутся ее груди.

После новостей мы переключаемся на викторину, потом на детектив.

Часы бегут. Сердца у нас бьются то помедленней, то почаще.

А еще есть одно такое игровое шоу — ну просто замечательное. Каждую неделю один и тот же человек сидит среди публики, плотно сжав губы, со слезами на глазах. И опять на сцену выходит его сын — отвечать на вопросы. И сын этот стоит и моргает в телевизионную камеру. И ему не дают отвечать на вопросы, а то он сейчас бы выиграл самую крупную сумму в сто двадцать восемь тысяч долларов. Мы не в восторге от юнца, и нам совсем не нравится мамаша, которая все улыбается, скаля плохие зубы, но нас трогает этот отец: его слезы, его сжатый рот.

И мы выключаем телефон на время этой программы, и мы не подходим к двери, когда звонят, хотя такое, конечно, случается редко. Мы смотрим не отрываясь, и мой муж тоже сжимает губы, а потом он улыбается так широко, что не вид-

но глаз, ну а я, я сижу сзади, как та мамаша, — острый взгляд, набитый золотом рот.

2

Не то чтоб я считала передачу про гавайского полицейского такой уж прекрасной, просто там все кажется даже реальней, чем моя собственная жизнь.

За вечер происходит масса переключений. Каналы 2, 2, 4, 7, 9 или каналы 13, 13, 13, 2, 2, 4 и т. д. То мне хочется посмотреть полицейскую драму, а то телевизионную документалистику.

Отчасти это из-за моей изоляции, из-за темноты снаружи, из-за тишины снаружи, из-за позднего, все более позднего, часа, эта история на экране кажется, наверно, такой интересной. Но и само содержание, конечно, играет роль: вот сегодня — сын возвращается после долгой отлучки и женится на жене своего отца. (Она не его мать.)

Мы с таким вниманием относимся к этим передачам, потому что их сочиняло много умных и модных людей.

Мне кажется, что за стеной снаружи тоже шумит телевизор, но это гуси с криком летят на юг в первых вечерних сумерках.

Посмотришь, как девица по имени Сьюзен Смит с жемчугами на шее поет гимн Канады перед началом игры в хоккей. Выслушаешь гимн до конца и переключаешь канал.

Посмотришь, как ноги Пита Сигера подрагивают в такт его песне о Робине Э. Ли[1], и переключаешь канал.

И нельзя сказать, что ты делаешь то, что хочется. Ты просто проводишь время.

Пережидаешь, пока наступит определенный час, и ты погрузишься в определенное состояние, и можно будет идти спать.

А в общем-то, приятно узнать, какая будет завтра погода — с какой скоростью будет дуть ветер и в каком направлении, и

1. Пит Сигер (1919–2014) — американский фолк-музыкант, певец, поэт и общественный деятель; Роберт Эдвард Ли (1807–1870) — американский генерал, герой Гражданской войны.

вероятны ли осадки, и с прояснениями ли будет облачность, — и такая научная точность в этих словах: “сорок процентов”, “с вероятностью сорок процентов”.

Все начинается с синей точечки в центре темного экрана, и вот тогда понимаешь, что все эти картинки к нам приходят очень издалека.

3

Часто к концу дня, когда я устаю, моя жизнь, кажется, переходит в кино. То есть мой настоящий день переходит в мой настоящий вечер, но и отодвигается от меня, и делается чужим, и, кажется, переходит в кино. И в этом кино все так сложно, запутано, так трудно понять, что хочется другого кино. Хочется увидеть телевизионный фильм, где все будет просто и ясно, легко понять, несмотря на болезни, катастрофы и беды. Там многое будет опущено, все сложности останутся за кадром, потому что мы и так все поймем, и главные события наступят внезапно: кто-то может вдруг изменить решение, хотя оно было таким твердым, а может внезапно влюбиться. Все сложности будут опущены, потому что надо успеть к главным событиям, времени мало, всего час двадцать минут, а тут еще эти рекламные паузы, а мы-то главных событий ждем.

Один фильм был про женщину-профессора с болезнью Паркинсона, один про олимпийского лыжника, который лишился ноги, но снова освоил лыжи. Сегодня было про одного глухого — он влюбился в логопедшу, которая учила его говорить, и ведь я так и знала, что влюбится, потому что она хорошенькая, хотя играет неважно, а он очень видный мужчина, хотя глухой. Он был глухой в начале кино и снова оглох в конце, но в середине он слышал и научился говорить с точно воспроизведенным местным акцентом. За час двадцать минут этот человек не только стал слышать и снова оглох, он еще создал успешный бизнес благодаря своему таланту, утратил его из-за предательства сотрудника по компании, влюбился, остался с этой женщиной до самого конца кино и потерял невинность, которую, оказывается, трудно потерять, когда ты глухой, и легче, когда ты слышишь.

И все это сжалось, уместилось в самый конец одного дня моей жизни, которая, пока длился вечер, совсем от меня отодвинулась...

Культурность

ПРЯМО не знаю, как я буду с ней поддерживать дружеские отношения. Уж я об этом думала-передумала, она и понятия не имеет, сколько я об этом думала. Сделала последнюю попытку. Позвонила ей, а целый год не звонила. Только разговор у нас, по-моему, как-то не клеился. Вся беда в том, что она не очень-то культурная. Или, лучше я так скажу, она для меня некультурная. Бабе под пятьдесят, а хоть бы чуть покультурней стала, чем двадцать лет назад была, когда еще мы с ней познакомились, но тогда-то мы все больше о мужиках толковали. Мне тогда плевать было, что она некультурная, сама небось была еще не настолько культурная. Я ведь, по-моему, стала культурней, во всяком случае покультурней ее-то, хоть я и понимаю, что так говорить некультурно. Но уж очень тянет поговорить, да обождет она, эта культурность, уж очень хочется еще немножечко так поговорить про подругу.

Вопросы грамматики

КОРРЕКТНО ли будет теперь, в то время, пока он умирает, высказывание: “Вот тут он живет”?

Если меня спросят: “Где он живет?”, корректен ли будет ответ: “Ну, в данный момент он, собственно, не живет, он умирает?”

Если меня кто-то спросит: “Где он живет?”, корректно ли ответить: “Он живет в Вернон-холле”, или корректней будет ответ: “Он умирает в Вернон-холле?”

Когда он умрет, я смогу говорить в прошедшем времени: “Он жил в Вернон-холле”. И еще я смогу говорить: “Он умер в Вернон-холле”.

Когда он умрет, все, с ним связанное, будет в прошедшем времени, исключительно. Впрочем, вопросы: “Куда его везут?” или “Где-то он теперь?” будут в настоящем времени.

Но тогда я не буду знать, корректны ли местоимения “он”, “его” в применении к нему. Будет ли он, когда умрет, по-прежнему “он”, и если да, то до каких пор он будет “он”?

Другие могут сказать про него “тело”, и далее называть это тело “оно”. Но не могу я в применении к нему говорить “тело”, для меня он, конечно, по-прежнему будет не то, что можно назвать — “тело”.

Другие будут говорить “его тело”, но это опять же не то. Это уже не “его” тело, раз больше он им не владеет, раз он утратил активность и ничем не способен владеть.

Я даже не знаю, корректно ли будет это “он” в словосочетании “он умер”. Но иначе не скажешь. И, кстати, с тех пор о нем придется говорить исключительно в прошедшем времени. Хотя нет, ведь я скажу: “Он лежит в гробу”. Причем я, конечно, не скажу, да и никто не скажет: “Оно лежит в гробу”.

Когда он умрет, я буду по-прежнему говорить в применении к нему “мой отец”, вот только не знаю, буду ли я всегда говорить исключительно в прошедшем времени или в настоящем тоже?

Его поместят в урну, не в гроб. И вот не знаю, когда он будет в этой урне, скажу ли я: “В этой урне мой отец”, или: “В этой урне был мой отец”, или: “В этой урне то, что было моим отцом”?

Я буду по-прежнему говорить о нем “мой отец”, но, может быть, только до тех пор, пока он будет выглядеть, как мой отец, или хоть приблизительно, как мой отец? Но потом, когда он уже будет в виде праха, неужели я, указывая на этот прах, скажу: “Это мой отец”? Или я скажу: “Это был мой отец”? Или: “Этот прах был моим отцом”? Или: “Этот прах — то, что было моим отцом”?

А потом, приходя на кладбище, я буду — как я буду говорить? “Здесь похоронен мой отец?” Или: “Здесь похоронен прах моего отца?” Но прах не будет принадлежать моему отцу, отец не сможет больше ничем владеть. И, очевидно, корректней будет говорить: “Здесь похоронен прах, который был прежде моим отцом”.

Во фразе “Он умирает” все построение указывает на активное действие. Но он не активно умирает. Единственное, что он теперь делает активно, — он дышит. Когда я смотрю на него, мне кажется, что он дышит с трудом, он так старается, что вдобавок слегка морщится. Он старается, да. Но разве у него есть выбор? Иногда он вдруг морщится сильней, на секунду, не больше, как будто бы ему что-то мешает, или он вдруг сильней сосредоточился. Хоть я и догадываюсь, что морщится он от какой-то боли внутри или чего-то вроде, но возникает все-таки впечатление, будто он чем-то озадачен, недоволен, чего-то не одобряет. Я часто видела это выражение у него на лице, но никогда еще оно не сочеталось с этими прикрытыми глазами, разинутым ртом.

“Он умирает” — звучит активней, чем “Скоро он станет мертвым”. Естественно предположить, что виной тому глагол “станет” — мы можем “стать” тем-то и тем-то, независимо от своей воли. Независимо от своей воли, скоро он “станет” мертвым. Он ничего не ест.

"Он ничего не ест" — тоже звучит активно. Но не по своей воле он не ест. Он не сознает, что не ест. Он вообще без сознания. Тем не менее это "не ест" звучит органичней в применении к нему, чем "он умирает", можно предположить, что вследствие отрицательной частицы "не". Это "не" в применении к нему в данный момент совершенно органично, поскольку кажется, будто он отвергает что-то — а все потому, что он так морщится.

Джек и Стэк

МАМА никак не могла найти свой стэк. То есть палки, трости у нее были, но она не могла найти свой любимый стэк с рукоятью в виде собачьей морды. А потом она вспомнила: это Джек взял этот стэк. Джек пришел в гости. И когда он уходил домой, ему понадобился стэк. Два года назад это было. Мама позвонила Джеку. Сказала Джеку, что ей нужен стэк. Джек пришел со стэком. Когда Джек пришел, мама была усталая. Она лежала в постели. Она не посмотрела на стэк. Джек ушел домой. Мама встала с постели. Она посмотрела на стэк. И увидела, что это не тот стэк. Что это самый обыкновенный стэк. Она позвонила Джеку и сказала: это не тот стэк. Джек устал. Он даже говорить не мог. Он уже лег в постель. Наутро он пришел со стэком. Мама встала с постели. Посмотрела на стэк. Это был тот самый стэк. С рукоятью в виде собачьей морды, тонкой, как у борзой. Джек ушел домой с другим стэком, самым обыкновенным стэком. Когда Джек ушел, мама жаловалась, жаловалась по телефону: и почему это Джек не вернул тот стэк? и почему это Джек вернул не тот стэк? Мама устала, ей все надоело. Ах, до чего надоел маме этот Джек с этим стэком.

Разновидности расстройства

БОЛЬШЕ сорока лет я выслушиваю то, что говорит мне мама, и только лет пять выслушиваю то, что говорит мне муж, и я часто думала, что она права, а он нет, но теперь я чаще думаю, что прав он, особенно в такие дни, как, например, сегодня, когда у меня был долгий телефонный разговор с мамой насчет папы и моего брата, а потом более краткий телефонный разговор с мужем о разговоре, который был у меня с мамой.

Мама волновалась, не задела ли она чувств моего брата, когда он ей сказал по телефону, что хотел бы на часть своего

отпуска приехать к ним и им помочь, ведь мама только что вышла из больницы. Она ему сказала, хотя это была неправда, что никакая помощь в доме не нужна, и потому ему приезжать не надо, поскольку она будет расстраиваться из-за того, например, что должна будет еду готовить, а она еще не привыкла к этим костылям. Он спорил, говорил: “Ну что, в самом деле, за причина!”, а теперь вот трубку не берет. Она волнуется, не случилось ли с ним чего, но я сказала ей, что это вряд ли. Просто он использовал, наверно, ту часть отпуска, какую выделял для них, и на несколько дней куда-то махнул один. Он же взрослый мужчина, она забывает, что ему под пятьдесят, хотя мне очень жаль, что, отказав ему, она тем самым могла обидеть его. Вскоре, после того как она вешает трубку, я звоню мужу и пересказываю ему все.

Мама задела чувства брата, оберегая папу от некоторого специфического расстройства и сославшись на собственное какое-то расстройство, и, хотя мне трудно было отрицать слишком мне знакомое папино специфическое расстройство, мне, с другой стороны, трудно было отделаться от мысли — ну неужели нельзя было поступить иначе, так, чтобы не отклонять предложение брата о помощи и не обижать его.

Она задела чувства брата, оберегая папу от некоторого специфического расстройства, которое он предполагал в том случае, если приедет брат, и сославшись на собственное расстройство несколько иного свойства. А теперь брат, не беря трубку, расстраивает маму с папой, и это расстройство у них у обоих одинаковое, или почти одинаковое, но вовсе не то, какое предполагал папа, и не то, на какое ложно ссылалась мама в разговоре с братом. И вот с расстройства мама позвонила мне рассказать, как они с папой расстроены из-за моего брата, и тем вызвала расстройство уже у меня, хоть и не такое сильное и совсем иного свойства, чем расстройство, испытываемое теперь папой с мамой, и специфическое расстройство, предвосхищаемое папой, и расстройство, на которое ложно ссылалась мама.

Когда я все это пересказываю мужу, его я тоже расстраиваю, причем сильней, чем расстроена сама, и это совсем не такое расстройство, как у мамы с папой, и не такое, какое предвосхищал один из них и на какое ложно ссылался другой. Муж расстроился из-за того, что мама отвергла помощь брата и тем его расстроила, а потом рассказала мне о своем расстройстве и тем расстроила меня больше даже, он говорит, чем я могу себе представить, но еще сильней он расстраивается из-за того, что вечно она всех расстраивает, причем не только брата, но и меня, расстраивает даже больше, чем я предполагаю, и чаще, чем я думаю, и, когда он мне все

это объясняет, я опять расстраиваюсь, но это совсем иного свойства расстройство и совсем иной степени, чем то расстройство, какое вызвал у меня разговор с мамой, потому что теперь я расстроена уже не только из-за себя самой и брата, не только из-за папиного предполагаемого специфического расстройства и того расстройства, какое он чувствует теперь, но из-за мамы, которая сейчас, да и всегда, вечно всех расстраивает, как справедливо говорит мой муж, хотя сама она при этом обычно не так уж расстроена.

Одиночество

НИКТО мне не звонит. И, все время сидя дома, не станешь прослушивать автоответчик. А вот я выйду, и, пока меня не будет, кто-то, глядишь, и позвонит. А потом я вернусь домой и прослушаю автоответчик.

Бессонница

Все тело так болит —
видно, эта тяжелая кровать на меня давит снизу.

Сожжение членов семьи

СПЕРВА они ее сожгли — в прошлый месяц дело было. В общем-то, две недели назад. Теперь они его морят голодом. Когда умрет, они его тоже сожгут.

Да уж, хорошенькое дело. Сжигать членов своей семьи, да еще летом.

"Они", конечно, тут разные совсем. "Они" ее сожгли где-то у черта на рогах. А "они", которые здесь его голодом морят, это уже другие.

Погодите. Они же должны были морить его голодом, но теперь они его кормят.

Они его кормят вопреки указаниям врача?

Да. Мы решили — ладно, пусть он умирает. Так доктора посоветовали.

Он болел?

Нельзя сказать, чтобы уж так болел.

Он не болел, но они хотели, чтоб он умер?

Он как раз был болен, воспаление легких у него было, но он пошел на поправку.

Он пошел на поправку, и тут они захотели, чтоб он умер?

Ну, он старый был, им не хотелось снова лечить его воспаление легких.

Они думали, для него же самого лучше умереть, чем снова заболеть?

Ну. А потом в доме для престарелых по ошибке ему принесли завтрак. Видно, указаний врача не получили. Да еще нам говорят: "Он отлично позавтракал!" И это тогда как раз, когда мы приготовились к тому, что сейчас он начнет умирать.

Ладно. Они получили указание. Больше они его не кормят.

Все опять идет по графику.

Ему придется умереть, рано или поздно.

У него уйдет на это несколько дней.

Но еще не было ясно, когда он умрет, и они дали ему этот завтрак. Он его съел. И, они еще сказали, с удовольствием! Теперь уж — какая еда! Он не просыпается даже.

Спит, значит?

Ну, не то чтобы. Глаза у него приоткрыты, чуть-чуть приоткрыты. Он не видит ничего — глаз не поворачивает. И он не станет отвечать, если вы с ним заговорите.

Но вы не знаете, сколько времени это займет.

Через несколько дней после этого его сожгут.

После чего?

После того, как он умрет.

И вы им дадите его сжечь.

Мы их попросим его сжечь. Мы даже за это им заплатим.

Так почему бы сразу его не сжечь?

До того как он умрет?

Нет, нет. Вот вы почему сказали "через несколько дней после этого"?

По закону, нам придется выждать по крайней мере сорок восемь часов.

Даже когда речь идет о старом безобидном счетоводе?

Не такой уж он был и безобидный. Подумайте о заявлении, которое он оставил.

То есть если он умрет в четверг, его нельзя будет похоронить до понедельника.

Когда умрет, его увезут. Подержат где-то, а потом увезут куда-то и там похоронят.

А кто поедет с ним, кто его проводит, когда он умрет?
В общем-то никто.
Никто с ним не поедет?
Ну, кто-то его заберет, но это лицо нам незнакомо.
Вам незнакомо это лицо?
Работник по найму.
И, небось, среди ночи?
Да.
И вы, небось, не знаете даже, куда его повезут?
Не знаем.
И так-таки никто, значит, ему не составит компании?
Ну, он ведь будет уже неживой.
И, значит, по-вашему, это будет неважно.
Его в гроб положат?
Нет, в картонную коробку, в общем.

В картонную коробку?

Да, в маленькую такую. Узкую и маленькую. Она мало весила, даже с ним внутри.

Он такой маленький был?

Да нет. Но с возрастом он усох. И стал легче. Но все-таки уж не до такой степени.

И он, по-вашему, точно был в этой коробке?

Был.

Вы заглядывали?

Нет.

Почему же это?

Нам не предоставили такой возможности.

Выходит, в картонной коробке сожгли нечто, и вы *верите*, что это был ваш отец?

Да.

И сколько времени это длилось?

Много часов подряд.

Сжигание счетовода! Какая торжественная церемония!

Мы не знали, что это будет картонная коробка. Мы не знали, что она будет такая легкая и маленькая.

Вот это был “сюрприз”.

Не знаю, куда он делся, когда умер. Интересно, где он теперь?

И вы теперь это спрашиваете? Почему же вы раньше не спросили?

Ну, вопросы были. Ответа не было. Но сейчас это более актуально.

“Актуально”!

Мне хотелось думать, что еще он где-то близко, нет, правда, хотелось верить. Если он близко, он, по-моему, где-то тут витает.

Витает?

Ну, не ходит же он. Так его и вижу — парит в нескольких метрах от земли.

И вы говорите “Так его и вижу” — и вы можете сидеть в удобном кресле и говорить, что вы “его видите”. Ну и где же он, по-вашему?

Но если он где-то рядом, витает, он такой, каким он раньше был, или такой, каким сделался к концу? Раньше он был в твердой памяти. Восстановил он ее, прежде чем вернуться? Или он такой, как стал к концу, когда от памяти у него маловато осталось?

Нашли о чем толковать.

Сперва я, бывало, задам ему вопрос, а он говорит “Нет, не помню”. Потом стал только головой трясти, если я задам вопрос. А у самого такая улыбочка на лице, будто бы он и непрочь не помнить. Будто ему даже это интересно. По-моему, ему внимание льстило. Тогда ему еще нравилось наблюдать то да се. Раз как-то, еще дождь шел, сидим мы с ним перед домом, у главного подъезда под такой вроде как крышей.

Минуточку. Что вы называете домом?

Дом престарелых, он там под конец жил.

Дом! Скажете тоже!

И он смотрел, как воробьи прыгают по мокрому асфальту. Потом мальчик проехал на велосипеде. Потом женщина прошла под ярким зонтиком. И он на них на всех пальцем показывал. На воробьев, на мальчика-велосипедиста, на женщину с ярким зонтиком под дождем.

Да бросьте вы. Просто вам хочется считать, что он все еще витает поблизости.

Нет, я уже не считаю, что он тут поблизости.

Скажите еще, что он по-прежнему в твердой памяти. А то как же. Иначе он плюнул бы на все и просто бы улетучился.

Я считаю, что он — и вправду — был здесь потом еще три дня. Я так считаю.

Почему три?

Сердце, ум

СЕРДЦЕ плачет.

Ум пытается утешить сердце.

Ум растолковывает сердцу все как есть, опять.

Ты потеряешь тех, кого ты любишь. Их всех не будет больше. Но ведь и земли когда-нибудь не будет.

И сердцу тогда легчает.

Но увещания ума задерживаются ненадолго в слухе сердца.

Речи эти сердцу так внове.

Пусть все они вернутся, молит сердце.

Ум — все, что есть у сердца.

Помоги, ум. Помоги сердцу.

За шестьдесят центов

ВЫ в Бруклине, в кафе, вы заказали только чашечку кофе, но кофе стоит шестьдесят центов, а это для вас дорого. Но не так уж это дорого, если учесть, что за те же шестьдесят центов в ваше пользование предоставляются одна чашка, одно блюдце, один металлический сливочник, один пластиковый стаканчик, один столик и два стульчика. Затем к вашим услугам, если пожелаете, кроме кофе и сливок, предлагается вода с кубиками льда, и причем все в отдельной расфасовке — сахар, соль, перец, салфеточки и кетчуп. Кроме того, вы в течение неограниченного времени пользуетесь кондиционером, поддерживающим безупречно прохладную температуру в помещении, белым электрическим светом, который бьет во все углы, так что нигде ни тени, наслаждаетесь, глядя на тех, кто снаружи идет по тротуару на зное и ветру, и обществом тех, кто внутри гогочет, повторяя одну и ту же довольно соленую шутку по поводу рыжей, лысеющей пигалицы, которая, сидя на стульчике у стойки, болтает скрещенными ножками и пытается короткой белой ручкой дотянуться до мужчины, который стоит к ней ближе всех, чтоб влепить ему оплеуху.

Муха

В хвосте автобуса,
в туалете,
ну очень маленький нелегальный пассажир
едет в Бостон.

Как она не могла вести машину

ОНА не могла вести машину, когда небо сплошь обложено тучами. Или если она, положим, и могла вести машину, когда небо обложено тучами, она не терпела музыки, если в машине были еще пассажиры. Когда в машине двое пассажиров, да еще зверек в клетке, и небо обложено тучами, она могла слушать, но не говорить. Если ветер опилками из клетки зверька охлестывал ей колени и плечи и колени и плечи сидящего рядом мужчины, она ни с кем не могла говорить и никого не могла слушать, даже если в небе было совсем мало туч. Если мальчик спокойно читал книжку на заднем сиденье, а мужчина рядом разворачивал газету так, что краем задевал за панель управления, и солнце, отразясь от белых листов, ей било в глаза, она ни слушать, ни говорить не могла, сосредоточась на въезде на хайвей, встраиваясь в густой поток мчащихся машин, пусть в небе не было ни единой тучи.

Но если была ночь, и не было ребенка в машине, и не было клетки, зверька, и не было чемоданов и свертков, прежде загромождавших салон, и мужчина рядом совсем не читал газету, а смотрел перед собою в окно, и небо было такое черное, что она не видела туч, она могла только слушать, но не говорить, и она не терпела музыки, если мотель в отдаленье, левей, весь в огнях, над нею, на темном холме, будто переплывал хайвей впереди, покуда она на полной скорости мчала среди мелькания фар, и передние фары слева неслись на нее, и убегали в зеркало заднего вида, а задние фары, впереди, на закруглении вправо, под большим кораблем мотельных огней, слева направо переплывали хайвей впереди, то есть она могла говорить, но могла сказать одну только вещь, остававшуюся без ответа.

Незнакомцы

МЫ с бабушкой живем среди незнакомых людей. И как только в доме умещается такая уйма народа, и все они в разное время выходят к столу? Они усаживаются обедать так, будто бы их приглашали — правда, для них, и вправду, всегда поставлен прибор, — или, входя в гостиную с холода, потирают руки, громко ругают погоду, устраиваются у камина, берутся за книжку, которую я в первый раз вижу, и начинают читать с места, заложенного потертой бумажной закладкой. Одни, понятное дело, веселые, милые, другие противные — хмурые

или злые. С некоторыми я сразу завожу дружбу, мы понимаем друг друга с первого слова — и я так радуюсь, что снова с ними увижусь за завтраком. Но вот я спускаюсь к завтраку, а их и след простыл, и часто я их больше вообще никогда не встречаю. Очень все это странно. Мы с бабушкой никогда не говорим про этих мелькающих незнакомых людей. Но я слежу за ее розовым тонким лицом, когда она входит в столовую, клонясь на трость, и замирает от удивления — но ничего, она так медленно ходит, что это почти незаметно. Молодой человек выскакивает из-за стола, комкает салфетку, подвигает ей стул. Нервно улыбаясь, любезно кивая, она осваивается с его присутствием, и, хоть я же вижу, что ее, как и меня, поражает, что его здесь не было утром, да и завтра не будет, она ведет себя как ни в чем не бывало. Но часто за столом оказывается, конечно, не такой вот любезный молодой человек, а тощая старая дева, которая ест молча, быстро и уходит, пока мы еще продолжаем жевать, или старуха, дующаяся на целый свет и плюющаяся кожурой печеного яблока на край своей тарелки. И с этим ничего не поделаешь. Как избавиться от всех этих людей, которых ведь мы с бабушкой не приглашали, — хотя все они рано или поздно, конечно, и сами уйдут? Мы с бабушкой, понятно, люди разных поколений, но и ее, и меня учили — никогда не задавать вопросы, а только улыбаться, улыбаться, если ты чего-то не понимаешь.

Путешествие с мамой

1

На переднем стекле автобуса, в конце концов, значилось “Буффало”, не “Кливленд”. Рюкзак был из Сьерра Клуба, не из общества Одюбона.

Нам сказали, что нам нужен автобус, на котором впереди написано “Кливленд”, пусть я вовсе не в Кливленд собралась.

2

Рюкзак, какой я с собой взяла, был исключительно крепкий. Даже прочней, чем надо.

Я приготовила много ответов на случай, если меня спросят, что я везу в рюкзаке. Можно сказать: “Это земля для цветов” или “Это для подушки, лечебно-ароматической”. Можно и правду сказать. Но в этот раз не стали обыскивать поклажу.

3

В чемодане на колесиках у меня металлический ящичек, хорошенько обернутый в разные тряпки. Теперь это ее домик, или ее постель.

Мне не захотелось ее класть в этот чемодан на колесиках. В рюкзаке у меня на спине она, по крайней мере, была бы поближе к моей голове.

4

Мы ждали автобуса. Я грызла яблоко, такое старое, как будто печеное, просто как яблочный пай.

Интересно — а она тоже слышала это записанное объявление? И тоже раздражалась? Громкоговоритель чуть не каждые пять минут его повторял. Грамматически неправильное начало — вот что могло ее раздражать. “Благодаря причинам безопасности...”

5

Выезд за городскую черту отозвался такой окончательностью, что на секунду я усомнилась, будут ли в ходу наши деньги там, куда мы направляемся.

Раньше она не выходила из дому. Теперь вот переезжает.

6

Как давно мы никуда с ней вместе не ездили.

А столько еще есть всяких мест.

Цэрэнтулгын Тумэнбаяр

Шаманка

Рассказ

Перевод с монгольского С. Эрдэмбилэга

В палящий летний зной, от которого даже собаки скулили, старуха-тангутка сидела около разведенного очага. Запах паленой шерсти разносился повсюду на радость местным мухам. Старуха держала на коленях червивую баранью голову, опаливая ее раскаленными щипцами для дров. Время от времени она баранью голову переворачивала, придерживая замызганными пальцами, под ногтями скопился толстый слой грязи. Пот градом катил с лица старухи, но она была всецело занята своим делом, недосуг было даже отодвинуть сползающий на лоб платок.

Находилась она в ветхой лачуге, сооруженной из нескольких прутьев кустарника, соединенных между собой верхними концами и накрытых лоскутами всевозможных тканей, кусками войлочной подстилки, обветшалой подкладки от старой дэли[1], что были кое как связаны обрывками волосяных веревок и бечевок.

© С. Эрдэмбилэг. Перевод, 2017
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.
1. Долгополая традиционная монгольская одежда. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Когда что-то тяжелое бухнулось сверху на ее лачугу, старуха, сбросив на землю баранью голову, выскочила наружу, не выпуская из рук длинных железных щипцов и, закусив губу, заковыляла что есть мочи вслед за мальчиком, запустившим камнем в ее обиталище. Тут босоногий озорник издевательски показал старухе язык и пустился наутек, сверкая растрескавшимися пятками. Старуха схватила полную горсть земли и бросила вслед мальчику, извергая при этом проклятия, чтобы тот исчез за семью горами, сгинул за курганами, провалился сквозь землю, так, чтобы ее уши его не слышали, глаза не видели. "Падаль поганая", — выкрикнула она напоследок и заковыляла обратно в свою лачугу.

Старая тангутка принялась было снова опаливать баранью голову, но щипцы уже остыли, и ей пришлось опять раскладывать кизяк, разводить огонь и раскаливать щипцы. И проклятия на бедную голову того мальчугана посыпались вновь: "Ну погоди, падаль поганая, не останется от тебя ничего, ни кусочка поклевать воронам, ни косточки чадящей". Наконец, баранья голова, которую она отвоевала у бродячих собак на свалке сомонного центра, разварилась в котле так, что она могла жевать мясо своим беззубым ртом. Старуха принялась за еду, приправляя мясо диким луком. Своими темно-красными деснами она, словно зубами, отрывала от кости мягкую плоть и, шамкая, жевала ее разъезжающимися челюстями.

В подобных житейских суетах старуха дотянула до осенних дней, когда начался забой скота.

В такое время земля, где забивали животных, становилась густо-красной от их крови. Там старуха и разживалась головами, конечностями, внутренностями животных, запасалась ими на зиму, чтобы было, что бросить в желудок в холодное зимнее время.

Летом же она подкармливалась излишками борца — сушеного мяса и молочных продуктов, перепадавших ей от добрых соседей. Но в летнее время люди лишь изредка закалывают баранов, поэтому ей приходилось и голодать. А когда уж совсем становилось туго, она заходила в первую попавшуюся юрту, и ей выносили то пиалу пустого, без молока, чая, то горстку сушеного творога арула.

Но вся беда была в том, что, хотя старуха тангутка никому ничего дурного не сделала, люди относились к ней с презрением. Особенно ее донимали дети, да и она сама не выносила их, где бы они ей ни повстречались, осыпала их проклятьями. И даже когда кто-то приносил ей добрую весть, она отвечала примерно так: "Если это правда, пусть поседеют твои волосы, если это ложь, пусть побелеют твои кости".

Летом и осенью она собирала оставленный людьми для просушки кизяк. Когда ее окликали, говорили, чтобы перестала воровать, отвечала в таком духе: “Это трава зеленой долины, это помет бродячей скотины. Где на них печать, что они ваши, где на них знак, что они не мои? Есть ли там клеймо, которое сломалось, есть ли там метка, которая стерлась?” Скажет подобное, наполнит свою плетеную корзину доверху, закинет за спину и, как ни в чем не бывало, заковыляет прочь. И мало кто из местных ребятишек, подрастая, не пробовал бросить камень на крышу ее лачуги. Почему дети обзывали ее ведьмой, почему она была для них словно соринка, попавшая в глаз, словно заноза, вонзившаяся под ноготь, никто толком не знал. Впрочем, она разве что не носила при себе амулет в виде черепа, а так и впрямь походила на ведьму, как это в сказках бывает. Бывало, кто-нибудь сердобольный искренне посочувствует, пожалеет про себя: “Лучше б она померла, чем жить такой жизнью”. Эта старая тангутка как наглядное воплощение обездоленности была, видимо, совершенно одинока на этом свете. Но ведь не появилась же она из ниоткуда, родилась же она от матери своей. Вот только бы не бросалась бранными словами, не ругалась бы беспрестанно. Никто не скажет, что она накликала на кого-нибудь беду, но особенно те, у кого были малые дети, при наступлении сумерек отгоняли ее подальше, береглись от беды.

Не было такого, кто ходил бы на двух ногах, носил бы голову на плечах, да заглянул бы в ее черную, как дыра, лачугу. Один только бродячий пес этой осенью наведался к ней, да и тот обгрыз и распотрошил все припасенные ею бараньи головы и внутренности.

Так в невероятной бедности в маленьком поселении в Гоби коротала свой век эта старая женщина, прозванная тангуткой. Была она в здравом уме, но всеми воспринималась хуже всякой твари. И никто не знал, откуда она явилась, через какие радости и невзгоды прошла. Если кто и ведал, может, не хотел рассказывать, кто его знает. Ходили слухи, что она пришла из далекой глухой тайги, что она злая шаманка. А если кто ее пустит в темноте на порог своей юрты, околдует она его для любых недобрых дел, справное превратит в неисправное, доброе в злое. Поговаривали, что она и есть албин — чертов огонь. И никто не знал, где здесь правда, где ложь, — только никем не доказанные слухи были недобрыми.

В последние дни среднего месяца той зимы наступили жестокие холода. Закрылась школа сомонного центра, детей держали у себя в теплых юртах, без особой надобности мало кто выходил наружу. Суровая зима угрожала бескормицей. И уже

третье утро кряду не было видно дыма из трубы в лачуге старухи. В поселке женщины начали перешептываться, поползли тревожные слухи. Наконец, администрация сомона чуть-ли не по жеребьевке назначила нескольких проведать старуху. Так соседи впервые переступили порог лачуги, где жила тангутка. Они сразу же увидели, что несчастная старуха уже отправилась в мир иной, тело ее лежало у дверцы очага, все засыпанное пеплом, закоченевшее, искаженное судорогой то ли от голода, то ли от боли или холода. Лишь при дуновении ветерка седые волосы пепельного цвета шевелились у нее на голове как у живой, гримаса исказила ее посиневшее лицо, затвердевшее, как железо, взгляд ее голодных глаз, подернутых синевой, застыл, устрашающе вперившись куда-то вверх, сквозь дымоходное отверстие лачуги, беззубый рот с красными деснами был широко раскрыт, как отверстие в преисподнюю. В таком виде она покинула сей мир.

Знать суждено было этой старушке с далекой чужбины сложить свои кости на их земле, решили люди и похоронили ее честь по чести как свою близкую родственницу, хотя при жизни много плохого говорили о ней и косо поглядывали. Когда ее переодевали, меняя грязные засиженные вшами лохмотья, на шее у нее обнаружили что-то мягкое, зашитое в кусочек кожи, наподобие талисмана. При внимательном рассмотрении люди увидели пучок волос маленького ребенка. Оказывается, была эта ведьма тангутка когда-то матерью, носила в утробе своей дитя, как говорят, живую плоть от плоти своей. И каждый подумал, кому же принадлежал этот пучок волос, что, как реликвию, всю жизнь хранила старуха.

* * *

Старая шаманка Шанший после камлания объявила, что настало время выбрать новую шаманку племени, деву-удган. Хранительницей духа Бурхан-тенгри было предначертано стать юной девушке, известной в далеком таежном распадке как Высокая тангутка, с густыми черными бровями, живым проницательным взглядом, гибким телом, ловкой и быстрой в движениях. И сказала старая шаманка, обращаясь к своей преемнице: “Прохудился бубен мой древний, ослабло костлявое тело мое. Теперь тебе оберегать людей от бедствий приходящих, очищать от нечисти мирской, чтобы всем было во что одеться, чтобы всем было где приютиться, чтобы у всех охота была удачная. Язык твой острый, ноги твои легкие, лик у тебя отважный, глаза у тебя зоркие. Умеешь предвидеть правильно, сказать мудро. От Неба полученный оберег тебе передаю, тебя от духов злых заклинаю”.

Так семнадцатилетняя девчушка тангутка по воле высшего Неба и содействии старой шаманки была посвящена в деву-удган, хранительницу духа своих соплеменников. Раньше случалось ей, сиротке, чтобы как-то прожить, пить лишь воду из ручья и питаться мхами на скалах. Теперь же ее непритязательное жилище из сплетенных шестов, покрытых древесной корой, утеплили новыми оленьими и косульими шкурами, внутри расстелили большую шкуру лося, начала она нежиться под собольим одеялом, получила ездового оленя. Юная удган быстро освоила шаманское искусство. Когда призывала духов, сильным и чистым голосом распевала заклинания, от окружения земного полностью отстранялась, душой и телом уходила в камлание, била в кожаный бубен, скрепленный сухожилиями косули и освященный хадагом[1], исполняла дивные высокие прыжки ритуального танца, при этом ее умные и проницательные глаза устрашающе сверкали. И отбрасывала она прочь всякое зло, приходящее на землю, голод и бедствия, грозившие людям. Стала она для соплеменников живым идолом, защитницей, поддерживающей дух племени.

Теперь лучшая добыча, наиболее ценные изделия, самые драгоценные меха клались к ногам шаманки, носящие голову склонялись перед ней, стоящие на ногах сгибались перед ней. Но была она рождена во плоти человеческой и оставалась она плотью человеческой. А плоть была женская и, как случается издавна, на ее женскую долю горя перепало вдоволь. Не так-то просто было ей отстраниться от обычной человеческой жизни, от мирских деяний и желаний. Возложили на нее тяжкое бремя — незавидная судьба быть посланницей Неба. Уже и юноши-ровесники возмужали, и девушки-ровесницы расцвели. И печалилась она глубоко, когда юноши, отправляясь на дальнюю охоту, испрашивали у нее благословление и удачу, но видели в ней не девушку, а посланницу Неба, смотрели на нее взглядами, полными покорности и смирения.

“Ну просто взять бы и заворожить их, чтобы они на нее мужскими глазами смотрели, как на женщину”, — такая закрадывалась порою мысль.

В тот зимний день, когда молодая тангутка, отправляя молодежь на охоту, испрашивала удачу у высшего Неба под ритуальным деревом, она почувствовала на себе взгляд необычно сверкающих глаз, отличавшийся от всех остальных. Глаза

1. Шелковая материя, напоминающая шелковый шарф, которую преподносят в знак почтения и религиозного поклонения.

продолговатые и коричневые, как у волка, выражали вовсе не религиозное преклонение, горели они нескрываемым вожделением, страстным желанием. В полном замешательстве, с испугом отвела она взор.

Обратилась она к духам своим, чтобы простили они ее, чтобы священное Дерево-мать помогло вырвать из ее сердца тот жгучий взгляд. Долго, истово молилась, наконец, пришло хоть какое-то успокоение, душевное равновесие. Вечером легла она под свое соболье одеяло, прикрыла веки. Можжевельник в очаге разгорался, наполняя жилище ароматом. Вдруг полог чу́ма распахнулся, вихрем ворвался морозный воздух тайги и вместе с ним влетел, как изголодавшийся орел, тот самый юноша со сверкающими глазами. Глаза его источали такую жгучую мужскую силу, словно у этого юноши по венам текла не кровь, а бежал огонь. И крепкая рука молодого охотника плотно обхватила гибкий стан тангутки, столь искусной в шаманских танцах.

Не смогла девичья душа шаманки оттолкнуть пышущую жаром грудь юного охотника, грудь, в которой билось такое буйное сердце, что безрассудно посягнуло на деву-удган, хранительницу духа всего племени.

“Ты можешь быть шаманкой для тех, кто тебя таковой почитает, для меня же ты та, с кем вместе волокли хворост через снежные сугробы, та, с кем вместе росли и играли, ты — моя черноглазая лань. Не твоему духу поклоняюсь я, а склоняюсь перед твоими прекрасными очами. Много ночей провел я в молитвах у Дерева-матери, испрашивая тебя. И велело Дерево-мать, чтобы сегодня ночью я пришел к тебе”.

И с той ночи больше никто его не видел. Освободился он от душевного и телесного томленья, а свою шаманку обрек на пожизненные страдания. Ушел он в леса, бродил по горам и скалам, пока не превратился в человека-медведя, — так и след его где-то сгинул. Как бы шаманке ни хотелось, как бы она ни тосковала, не решилась она с помощью духов позвать душу дерзкого парня, так бесстрашно посягнувшего на нее — хранительницу духа и оттого погубившего себя самого. Этот единственный случай в ее жизни, промелькнул, как звезда на небосводе, озарил на мгновение ее жизнь и исчез бесследно.

С тех пор тангутская шаманка ни разу не смотрела в глаза мужчинам. И поклялась самой себе, что, несмотря на всю несправедливость, ей доставшуюся, пронести по жизни уготованную ей долю, не проронив ни слезинки, с твердою душою, с каменным сердцем, к смерти и жизни отнестись равнодушно, будто бы она не от матери родилась, а от обрыва оторвалась, будто бы не отцом зачата, а от скалы откололась.

Пришло время родов, и хотя соплеменники догадывались, но вслух высказываться остерегались. Потому говорили, что молодая шаманка зачала дитя от небесного юноши. И стала молодая шаманка матерью с сердцем из красного камня. Родился у нее сыночек, с которым вряд ли кто сравнится по красоте, с челом ясным, как луна в полнолунье, с черными миндалевидными глазами, излучавшими необыкновенный мягкий свет, сыночек и впрямь дарованный Небом.

Казалось бы до единственного сына, ни с кем не сравнимого на земле, невозможно было дотронуться замасленными руками или усадить на пыльную землю. Но когда мальчик подрос, стала тангутка частенько побивать его ничуточки не жалея. Лупила так, словно и вправду имела каменное сердце. Люди, видя это, тихо шептались, сокрушаясь над несчастной долей славного мальчика. Да разве найдется на свете такой, который осмелится порицать саму шаманку. Но кто мог знать, что поступала так шаманка-мать, ибо узнала от духов своих, что настанет неизбежный час, который низвергнет ее в пропасть бездонного горя. Случалось, были дни, когда от душевной боли готова была она наложить руку на единственного сына, лишь бы уберечь его от грядущих мучений, лишь бы убавить предстоящие ему страдания на этом свете. Но затем, по избиении сына, падала она ниц перед Деревом-матерью в страстном покаянии, разрывалось ее сердце от превеликой жалости, с глубокой нежностью обнимала сына, топила в бездонном море материнской ласки, вся источалась любовью. Не становилось ей легче от мыслей о том, что все в этом мире преходяще, что у любого со временем волосы выпадают, глаза выцветают и всякий смиряется перед тленностью мира сего, — все равно душа не примирялась с мыслями о безысходности. Смотрела на сына застывшим взглядом, смешанным с отчаянием и любовью, ночи напролет баюкала под сердцем, боялась как бы не запятнали его лицо лунные блики, даже от мирного дыхания ночи берегла его сон. Надрывалась от тщетных дум, как уберечь сына от горестей, выпадающих на людскую долю. Не сравнить ни с чем страдания матери по своим детям. Но еще страшнее удел матери-шаманки не только угадывать горькую участь сына, но ясно предвидеть, какой именно ужасный конец уготовила ему жестокая судьба.

Если б не была она признана тангутами посланницей Неба, Хранительницей духа племени, пусть даже питалась мхом со скал, запивая его родниковой водой, укрываясь в ветхом чуме, пусть худо-бедно жила бы сама по себе, без нынешней шаманской неволи, была бы рядом с тем охотником, кото-

рый так бесстрашно распахнул полог ее чума, жила бы, как подобает всякой обычной женщине. Много было чумов, в которых подрастали и расцветали девушки, но тот дерзкий охотник, обуянный страстью, осмелился овладеть самой шаманкой. Не будь она шаманкой, остался бы сейчас среди соплеменников, поставил бы собственный чум и вился бы дымок из его родного очага. А она, вместо того чтобы камлать, заклинать удачу, возносить просьбы и ниспосылать проклятия, распевала бы сердечные песни любви, которые звенели и расходились по всей тайге. Не было бы теперешних мучений о судьбе единственного сына.

В таежном распадке подрастало новое поколение, взрослели девушки и юноши, трудно представить, что и они были когда-то малыми детишками, а среди молодежи, притягивая завороженные взгляды девушек, рос красавец — сын шаманки.

В то утро с большого зимнего промысла возвращались охотники с богатой добычей, они принесли много разной пушнины, особо выделялись меха́ соболей и куниц. Был среди охотников и сын тангутки, за поясом у него торчал нож с берестяной рукояткой, а глаза его мужественно сверкали. Целый охотничий сезон тангутка не видела его, а увидев, едва не потеряла сознание. Перед ней стоял тот самый охотник, который лет двадцать назад смотрел на нее голодными волчьими глазами и дал ей испробовать краткий миг земной услады, а потом растворился в небытии, словно и не было его вовсе. “О Небо!” — вскрикнула шаманка. Она зажмурилась, а затем медленно приподняла веки — перед ней стоял ее возмужалый сын.

— Мой сын, ты стал взрослым мужчиной, ну вылитый отец, — вырвалось из ее уст.

— Что вы сказали мама, какой отец?

— Да, мой сын... как твой небесный отец, — ответила она и примолкла.

И как дурное предзнаменование на другой же день после возвращения охотников, юноши, среди них и ее сын, призваны были на войну, которая разразилась где- то далеко на востоке.

С тревогой и печалью таежные жители провожали своих мужчин на войну. Перед тем как уйти, они поклонились Дереву-матери, прося благословения, а шаманка совершила ритуальный обряд, приободрив дух молодых охотников.

Наступило благодатное лето. Повсюду пестрели цветы, созревали ягоды, кругом слышалось птичье пение. Шаманка продолжала ревностно выполнять ритуалы, благодарила Небо за то, что Оно охраняет судьбы тангутских детей. У сопле-

менников росла надежда о благополучном возвращении своих людей, бодростью наполнялись их сердца. Но случилось так, что издалека пришли однажды чужаки покупать пушнину и лисьи меха. Они погостили в чумах, поделились новостями из дальних мест, а когда пустились в обратную дорогу, натворили беду — по пути собрали плоды со священного материнского Дерева. На следующую после такого кощунства ночь облака, клубясь и бурля, понеслись по небу, как черный дым, все вокруг загрохотало так, что, казалось, сама гора Сумэру вот-вот расколется и обрушится. Пошел град, будто звезды посыпались с неба.

Тангутка камлала в своем чуме, люди, рассевшись вокруг, затаив дыхание суеверно внимали ей.

О, священная гора Хайрхан,
Укрепи во мне путь мой праведный,
Укажи мне мой путь лучезарный,
Буду ли в потемках — светом озари,
Буду ли спотыкаться — опорой подсоби!
Всевышние Духи мои,
Затерявшемуся судьбу оберегая,
Заблудившемуся дорогу указуя,
Мой жребий вытяните мне,
Мою участь поведайте мне,
Если виновна, прошу исправленья,
Если я грешна, прошу очищенья,
Помилуйте, Горы священные!
Словно птаха, потерянная в тумане, дрожу,
Словно лань, утерянная в лесу, трепещу,
Лишилась сна, чтобы поспать,
Лишилась спины, чтобы прилечь,
От стужи синею, от жары засыхаю,
Опираюсь на челюсть, ползу на коленях,
Не вижу леса, глаза напрягая,
Не сглотну простоквашу, рот разевая,
Затерлись зубы на деснах,
Завязли слюни в устах,
Помилуйте!
Беспрестанно я надрывалась,
Бренным телом изнурялась,
Добрые кости износились,
Дохлой плоти уравнялась,
Намучилась до предела,
Натерпелась до конца,
Потоплена телом в реке кровавой,

Повязана к жизни нитью тонкой,
Вожжи у сына будь короче, будь длиннее,
Возмужать дозволь ему побыстрее,
Ушедших воинов за дальние реки,
Утеряных мужей за высокие горы,
Поверни назад, пожалей,
Позови обратно к горам седым,
Пускай возвратятся к истокам родным!

Едва шаманка закончила заклинания, как, словно гром небесный, обрушился на нее вопль, ей послышалось: “Мама“, — потом она через духов своих увидела образ сына в огне и дыму, проваливающегося куда-то сквозь землю, голос сына постепенно затихал. “О Духи, о священное Дерево-мать”, — вскричала шаманка, медленно оседая на землю. А соплеменники подумали, что она падает, ослабев от бесперерывного, нескольких дней кряду продолжавшегося, камлания.

Небо разгневалось за то, что пришлые люди насобирали запретные плоды с Дерева-матери. Ведь Дерево было священным, и посредством него люди общались с Небом. Черный вихрь был ниспослан на племя. Он загнал всю дичь в места, недоступные людскому взгляду, неслышимые людскому уху. А само дерево было повержено на землю. Только однажды после этого один престарелый охотник добыл однорогого оленя, тем и закончилась охотничья добыча того года. Бедствие, которое обрушилось на племя, смерть сына в далекой чужбине — все это случилось по вине чужаков, посмевших дотронуться и осквернить священное Дерево-мать, покровительствовавшее племени и оберегавшее жизнь ее сына. Чтобы вернуть благосклонность Бурхан-тенгри, задобрить Дерево-мать девять дней провела тангутка в камлании, без пищи, без сна совершала обряд, не перерывалась, передохнуть себе не давала. Потом слепила из грубой муки фигурки тех нечестивых людей, вдохнула в них жизнь и закопала в землю, головами в ту сторону, откуда пришло зло, прочитала проклятия, изгоняя прочь их души.

После исполнения обряда тангутка затворилась в своем чуме, предаваясь горю. Ее материнское сердце восставало против увиденного в камлании. “Не может быть такого, — кричало оно, — пойди и увидь все своими глазами”, — вынуждало оно. До сей поры удавалось шаманке, общаясь с духами-хранителями, оберегать целое племя, не знало племя ни голода, ни болезней, но не удалось ей уберечь единственное родное существо. Раз так, ни к чему ей духи-хранители решила она и,

опираясь на палку, вышла в темную ночь, в незнакомую даль, неведомую землю. Устремилась тангутка прямо через таежные гущи, но, перед тем как уйти, вверила свой шаманский бубен Дереву-матери, которому соплеменники из поколения в поколение поклонялись и которое теперь замертво лежало на земле, распластавшись, с раскиданными ветвями, словно искромсанные руки и ноги. Никогда не приходилось ей выходить из тайги на равнину, покидать лес, выходить в степи. Не взяла она с собой в дорогу ни ножичка, ни колышка. Видя страдания старой женщины, сова глумилась издевательским смехом так, что все ее тело заходилось в судорогах, а скалы и утесы вокруг гулко вторили крику совы насмешливым эхом.

Сиротливая ива, как кол земной, торчащая на лесной прогалине, казалось, вторила одинокой судьбе тангутки. А Дерево-мать, которому поклонялись, как живому, весной, словно женщина, набухало плодами, летом расцветало, осенью плакало желтыми листьями, лишаясь плодов, сорванных безжалостным холодным ветром, зимой стояло под тяжестью грустных дум, вглядываясь вдаль, куда на охоту ушли ее сыновья. Далеко превосходило Дерево-мать обычные деревья и по высоте, и по широте раскинувшихся ветвей. Бывало, взбирались на него люди, заблудившиеся в темной таежной чаще, или карабкались в последний миг, спасаясь от диких зверей. А при первых лучах солнца заснеженная верхушка Дерева-матери призывно серебрилась и сверкала, выручая многих людей.

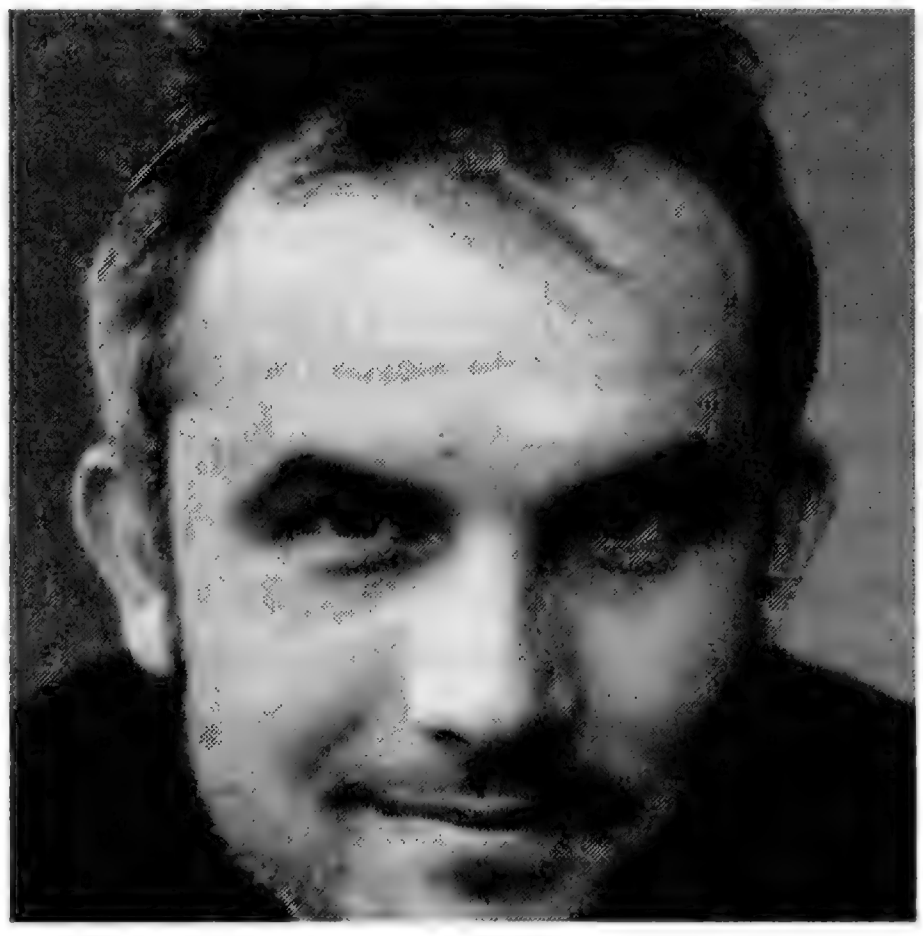
Теперь не стало ни ивы, предохраняющей от заблуждений, ни Дерева-матери — покровительницы племени.

Старая тангутка исходила целый свет, пока не добралась до просторной долины, израненной и исковерканной взрывами, кипевшей огнем и кровью, как это показывали духи. Но как она ни старалась, не отыскался ее сын. Отказалась она там от своих шаманских духов, побрела, не разбирая дороги, туда, куда ноги повели. И все время ей виделось и слышалось, как корчится ее сын от смертельных ран, как мучительно взывает к Бурхан-тенгри, к Дереву-матери, к матери своей. И думалось Тангутке, что лучше было бы ей при помощи магии своей еще малолетним послать его на небеса, избавляя от предстоявших земных мучений. Шатаясь и раскачиваясь, брела старая женщина, то падая навзничь, то падая ничком, шла вперед, не оборачивалась, туда, где в мерцающем воздухе сходились небо с землею — стремилась, видать, уйти к небу. И неизвестно было, в своем ли она уме или вовсе выжила из ума. Как-то раз, обессилевшая до невозможности, упала она где-то, да так и осталась в той земле. Превратилась в ски-

талицу заблудшую, нищенку бездомную. Была теперь изгоем — человек не посмотрит, собака не принюхается. Иногда, бывало, привидится ей, как где-то далеко посвящается она в шаманки, иногда приснится Дерево-мать, расцветающее и плодоносящее. Проснется после такого сна и горюет, что не уснула навсегда, что снова пробудилась. Сколько бы ни жаждала возвратиться в родные края, не посмеет она смотреть в глаза соплеменникам, вверившим свои судьбы ее духам, людям, которые благоговейно внимали ее камланиям, подчинялись ее словам, как небесному закону. А она бросила их на произвол судьбы и темной ночью, по-воровски, ушла, постыдно сбежала, возвысила свое собственное горе надо всем остальным. Теперь она молилась о том, чтобы после того, как она отойдет в мир иной, ее душа вернулась в таежный распадок, чтобы переродиться пищей, если соплеменники будут нуждаться в еде, или целебным зельем, если будут нуждаться в лечении.

Горюя и скорбя о непрочности людского бытия, добралась она до широких просторов гобийской степи, но удалось ли ей там найти хоть малую толику утешения? Была она шаманкой, но имела обычное сердце, как у всех людей, и потому носила при себе обожествленную прядь волос единственного — плоть от плоти, кровь от крови — сына, только доля ей выпала горькая, материнская. Может, поэтому людское веселье и смех воспринимались ею, как насмешка над страждущими и обездоленными. Может, поэтому она не сдерживалась, осыпая людей проклятиями, чтобы как-то облегчить свою обиду. Кто знает?

Ласло Дарваши



Рассказы

Перевод с венгерского Максима Леонова

Почему бы не посмотреть фильм еще раз?

СПЕРВА пришлось увезти собаку. Она не переносила запаха старика. Хоть и не кидалась на него, зато изгрызла кровать, свисавшие края простыни и ножки стола. Когда он вошел к отцу, весь пол был усеян стружкой и клочьями матраса. Собака сидела посреди комнаты и моргала с невинным видом. Он отвез собаку в приют. Куда еще ее было девать, кому нужна старая капризная шавка? И сиделка старалась держаться от нее подальше. Прежняя, соседская девушка, уехала в Англию, теперь некому было выгуливать собаку. Иногда он выносил собачье дерьмо, которое всегда обнаруживалось в разных местах. Собака дурила. Она никогда не гадила на одном и том же месте. Затем настал черед кана-

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© Максим Леонов. Перевод, 2017
Перевод выполнен при содействии Венгерского института PIM Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Iroda.

реек. Одна из них сдохла, три оставшиеся галдели, даже если их накрывали платком. Замолчите. Они не умолкали, пронзительно верещали под платком, в темноте. Остались только рыбки. Золотые рыбки, гуппи и гурами счастливо плавали в заросшей водорослями мутнеющей воде, широко разевали рты, словно разговаривая, и с довольным видом гонялись друг за дружкой. Они широко растопыривали похожие на вуали плавники; может быть, и в самом деле наслаждались жизнью. Солнце грело их, проникая сквозь стенки аквариума, вентилятор работал, кислорода хватало — что еще нужно для счастья? Как-то он прочитал, что скоро появится лекарство, излечивающее стригущий лишай. Уже дома у старика стали гореть спина и руки, все тело покраснело, а началось все еще в больнице. Там ему поставили диагноз, все описали, все разъяснили, ничего, дескать, с этим не поделаешь. Сказали, что жить ему осталось недолго. Не чувствую, сказал старик, не чувствую, что пора помирать. Это хорошо, сказал врач, лучше ничего такого не чувствовать. Старик заявил, что отправляется домой, ему на все плевать, он здесь не останется. И вернулся домой. Может, там ему что-то дали, от чего у него и пошел лишай, вдобавок ко всему. Однажды вечером он прочитал в интернете, что лишай скоро можно будет излечить.

— Вылечить? Эту дрянь? — старик разглядывал свои руки, покрытые красными пятнами.

— Рано или поздно все станет излечимым, — пожал он тогда плечами.

Он осмотрелся, потому что в комнате опять воняло. Дерьмо, оставшееся от собаки? Чертова тварь. Надо бы здесь проветрить.

— Любую болезнь можно будет вылечить? — спросил старик.

— Ну конечно.

— И не будет смертельных болезней?

— Не будет.

— И что, люди перестанут умирать?

— Не перестанут.

— Тогда зачем все это?

— Может, чтобы они спокойно доживали до самого конца. Больным хуже помирать, разве не так?

— Нет, — захохотал старик. У него потекли сопли. — По-моему, помирать здоровым — полная чепуха. Если ничего не болит, незачем и помирать.

— Может быть. Не знаю.

— Фильмы привез? — старик посмотрел на сумку.

— Конечно.

Он вытащил диски. Один вставил в проигрыватель. Он привозил их дюжинами. Отец каждый день смотрел по четыре-пять фильмов. Смотрел, сидя в кровати, опершись на подушку; если не хотелось вставать, мочился под себя. Сиделка иногда с мылом отмывала его. Она звала его “дядя Шандор”. Дядя Шандор то, дядя Шандор се. Иногда у старика вставал член. Сиделка красным ногтем щелкала его “шишку”.

— Но-но, дядя Шандор, не шалите!

Пройдет неделя, и старик начнет смотреть фильмы заново. Новые ему незачем привозить. Старик этого не заметит. А если и заметит, то не будет возражать. Да и почему бы не посмотреть фильм еще раз?

Организовать все было не так-то просто. Но у него получилось. Он заходил к отцу дважды в неделю, иногда с фильмами, иногда без; мальчик, приносивший еду, приходил каждый день, за исключением выходных, у него были свои ключи. По субботам и воскресеньям еду приносил он сам. Сиделка тоже приходила дважды, но они с ней не пересекались.

— Что у тебя с сиделкой? — спросил отец. Попробовал этак на него посмотреть. Лукаво.

— Отстань, не начинай.

Плохо было то, что все это вызывало какое-то беспокойство. Что старику конец. Что тот умрет и оставит ему свою смерть как прощальный подарок. И это все. Больше у него ничего уже не осталось. Все кончится в этой квартире или на койке в какой-нибудь клинике, и смерть старика будет предназначена ему. А сейчас что с ним делать? Как обращаться к нему? О чем говорить? Не о похоронах же. Сначала он думал, что старику станет легче. Но потом понял, что нет, уже не будет. Все кончится смертью.

— Ты сказал, что поговорить хочешь, — старик хитро прищурился. Странно это выглядело, старик никогда раньше так не смотрел. Он повернулся к рыбкам. Пересчитал их.

— Да, — сказал он.

— Все рыбки на месте? Никто не сдох? Не жрут друг друга?

— Да вроде нет.

Он вышел на кухню. Гудел холодильник. Он открыл дверцу. Совсем ненужная вещь, старик то, что осталось, не доедает. В холодильнике было пусто. На бутылках — пятна плесени. Неожиданно он обнаружил пиво. Смотри-ка. Он откупорил бутылку, слизал стекающую по пальцам пену, отхлебнул.

— Это я тебе оставил, — прокричал старик из комнаты.

— Спасибо, — он снова отхлебнул.

— Хорошее пиво, верно?

— Тебе еще нужен холодильник?

— Рыбки и холодильник — все, что у меня осталось. И кино, мать его.

— Холодильник-то зачем?

— Чтоб гудел. Привык я к нему.

Он вернулся в комнату. Старое кресло заскрипело. Он сел напротив старика, который уже смотрел кино, порой отпуская комментарии.

— Гляди, этого типа скоро прикончат. Уже повели наверх.

Он чуть наклонился вперед, чтобы лучше видеть лицо отца.

— Я хотел спросить: зачем?

— Что зачем?

— Зачем ты меня бил?

— Бил тебя, говоришь?

— Да. Много раз.

— Не знаю, — проворчал старик. — Не помню такого. Видно, нечасто бывало. Да каждый ребенок получает оплеухи. Если я и вмазал тебе пару раз, что в этом такого?

Он встал, сделал несколько шагов по комнате, закурил. Открыл окно, выпустил дым наружу. Повернулся.

— Это были не оплеухи.

— У тебя тоже есть ребенок, — сказал старик.

— Этот ребенок — твой внук.

— Бьешь его?

— Нет.

— Ни разу не ударил?

— Нет.

— Никогда?

Он загасил окурок. Свет за окном потускнел, небо на востоке посерело, приближался дождь. Серые тучи наползали друг на друга, и, глядя на них, ему вдруг показалось, что он промок до нитки. Склизко блестел шифер на крыше соседского дома, по навесу гуляла кошка. Одна из труб выпустила клуб дыма. Почему только одна? Проверяют, как работает дымоход? На карнизе, зябко нахохлившись, сидели голуби. На третьем этаже упражнялся пианист. Он уже не в оркестре, его выставили, уволили, его место занял другой, а он все играет гаммы, кажется, так это называется, день напролет. На самом деле, какое же это упражнение? Он никогда не будет больше выступать и все же не может не упражняться. Упражняется тот, кто рано или поздно будет выступать. Если же нет, тогда зачем это, улыбнулся он.

— Чему ты смеешься?

— Ничему, — он подошел к аквариуму, присел на корточки и заглянул внутрь. Он смотрел на рыбок, как старик смотрел телевизор.

— Надо мной смеялся?

— Не над тобой.

Отец снова повернулся к экрану.

— Сказал же, что его прикончат. Прямо в голову выстрелили. Надо же было ему лезть. Сидел бы тихо — не продырявили бы башку.

— Не понимаю, как это ты не помнишь, — сказал он.

— Чего?

Старик достал носовой платок, долго откашливался, затем сплюнул. Сложил платок, сунул его обратно под подушку.

— Ты меня и кулаком бил.

Старик задумался. Почесал висок, оставляя красные пятна. Скривил рот.

— Говорю же — не помню. Ты меня ни с кем не путаешь?

Он чуть было не засмеялся.

— Однажды я неделю встать не мог.

Старик упрямо покачал головой и уставился в экран. Смотрел кино.

— Тебе, сынок, видно, языком почесать захотелось.

— А тебя били?

— Меня? Кто?

— Твой отец.

Старик рассердился, рассек рукой воздух, словно отгоняя муху.

— Нет, не бил меня отец. Прими к сведению — никогда он меня не бил. И к чему ты его приплел? С какой стати?

Старик попыхтел и замолчал, снова повернулся к экрану, пробормотав что-то себе под нос. Он начал собираться. С ботинок натекла вода. Он сунул руку в карман. Потом надел пальто.

— Завтра принесу лекарства. Витамины уже заканчиваются.

Глаза старика странно блеснули.

— Ты же хотел мне что-то сказать. Поговорить со мной.

— Завтра поговорим.

— Ладно, завтра так завтра.

Он уже нашаривал ключи, когда старик сказал вслед:

— Да, выкинь из головы насчет того, чтоб рыбок увезти. Рыбок я тебе не отдам.

— Рыбки останутся, отец.

— Значит, договорились.

— Да, отец.

Он закрыл за собой дверь, вышел на улицу. Шел дождь. Он бросил несколько монет нищему на углу. Остановился, пошарил в карманах. Тело болело. Он уже сжимал рыбку в ладони, самую большую золотую рыбку. Он кинул ее на мокрый

асфальт, наклонился. Рыбка билась, слышались тихие шлепки. Он закрыл глаза. Словно большая отцовская рука ударила его по лицу. Он думал о долгих, безмолвных побоях, причины которых он никогда не узнает.

Попугай

КАК обычно, он решил вздремнуть после обеда. Неподалеку строили церковь. И так сверлили, строгали и стучали молотками, что он то и дело просыпался. Он встал, проковылял на кухню, по-быстрому выпил два абсента, снова плюхнулся в кресло и уставился в потолок. Там, наверху, гулял солнечный свет, создавая полосы и пятна, наплывавшие друг на друга. По соседству все так же сверлили и строгали, и он вспомнил, как начальник стройки однажды рассказывал рабочим, что не каждый доживает до завершения строительства церкви. Начальник стройки, высокий, сухощавый человек, непрерывно курил во время разговора, закуривая сигарету за сигаретой. Человек наблюдал за всем какое-то время с балкона и, наконец, сам потянулся за куревом. Начальник стройки говорил рабочим: вы только подумайте, на свете есть храмы и церкви, которые строились по пятьсот лет. Подумайте только, говорил он, сколько в мире церквей, которые так и не будут достроены, хотя в них уже служат священники. И еще подумайте, можно ли вообще достроить церковь? А если ее и достроят, все ли смогут в нее прийти? Нет. Не каждый попадет туда, куда он направился. Кто-то заблудится по дороге, кто-то найдет другую церковь, а кто-то в пути заболеет и умрет.

Рабочие стали спрашивать.

— Зачем же тогда строить?

— Не знаю, — ответил начальник стройки, — за это ведь платят, верно?

Платят. Правда. Если бы не платили, наверняка отказались бы от этой работы. Но раз им платят — они работают.

Тогда один рабочий задал странный вопрос:

— А молитва поможет построить церковь?

— Может и помочь. Если ее услышат, — сказал начальник стройки и тут же пожалел о своих словах.

Человек тогда подумал, если в церкви начнут служить службу, то и он сходит туда помолиться. Возможно, он встанет на колени и попросит Господа, чтобы не позволял больше птицам залетать в окно. Но ему и вправду этого хочется? Окно сейчас было открыто. Если он захлопнет ставни, то задохнется — такая стояла жара. Лучше пойти подышать све-

жим воздухом. Он встал с кресла, оглянулся, посмотрел на вмятину, которую оставило его тело. Потом включил радио и принялся крутить ручку настройки. Раздался какой-то хрип, словно кто-то молился. Он стал слушать новости. Где-то снова случился обвал в шахте. Жара не спадет еще долго, очень долго. Где-то будет демонстрация. Человек выключил радио. Он снова выпил абсенту, открыл пиво, глядя на медленно стекающую грязную пену, и в этот момент на подоконник села птица. Сказать по правде, она обычно гадила здесь. Вот и сейчас нагадила.

На улице сверлили и строгали.

Птица эта была городским попугаем, перелетающим от окна к окну. Никто не знал, кому он принадлежит, из чьей клетки сбежал. Может быть, прогнать его, кыш, нельзя сюда, птица. Человек подумал, что попугай остался в этом районе из-за строительства храма, видно, его интересовал весь этот шум сверл, рубанков, молотков. Было так жарко, что закипал стекающий по вискам пот. Город задыхался, окна повсюду были распахнуты настежь и походили на раскрытые рты. Огромные жадные рты, вдыхающие горячий воздух и выдыхающие испарения человеческих тел, запах пыли, исходящий от листьев комнатных растений, затхлый запах мебели. Шторы колыхались, словно души, жаждущие освобождения.

Попугай был исключительно сообразительным существом.

Он покачивал своей маленькой яркой головкой, наблюдал, слушал. Выучив разносившиеся по квартире шепоты и крики, летел дальше. И затем у другого окна повторял услышанное.

Иногда попугай предлагал человеку лететь с ним.

— Полетели со мной.

— Убирайся.

— Я маленький.

— А я слишком большой.

— Ты красивый, ты красивый, — шептал попугай.

— Потанцуем, дорогой.

Птица изображала, как строят церковь. Воспроизводила звуки сверл, рубанков, бешеный стук молотков. Словно эхо. Через некоторое время попугай улетел, а человек стер с подоконника желтеющий помет и выпил еще абсенту. Потом сел, уставился в потолок и стал придумывать имена трещинам. Заметил паука. Может быть, даже ненадолго заснул. Вдруг в дверь позвонили. За дверью стоял начальник стройки — во рту дымилась сигарета. Лицо у него было измученное. Прежде они разговаривали пару раз, еще когда только

начиналось строительство. Теперь у него в руках был сверток. Разрешите, сказал он, зайти на пару минут. Надо бы поговорить. Человек кивнул, ну конечно, и отступил в сторону. Начальник стройки согласился выпить абсенту и закурил новую сигарету.

— Мы молимся, — наконец сказал он, — во время работы. Строить еще не закончили, и все-таки молимся.

В руках у него был сверток.

— Ясно, — кивнул человек.

— К вам залетал попугай?

— Я никогда его не прогонял. Иногда даже ждал, когда прилетит, — кивнул человек.

— Знаете, что сказал один мой рабочий? Сказал, что птица — голос истории.

— Ну, это преувеличение, — сказал человек, наливая абсенту. Они чокнулись небольшими рюмками с толстыми стенками.

— Когда мы строили, — сказал начальник стройки, — птица без конца повторяла имя женщины. Вашим голосом. И мы не могли работать.

— Из-за имени?

Начальник стройки помолчал.

— Было так смешно. Молодые парни, рабочие, хохотали до упаду, — сказал он и потер лоб. — Не обижайтесь. Но мы не могли допустить, чтобы это все продолжалось.

— Понимаю, — кивнул человек. — Я не обижаюсь.

— Вот, возьмите, — сказал начальник стройки и положил сверток на стол. Выпил еще рюмку абсенту и вышел. Не попрощался, его шаги по лестнице были отчетливо слышны, хотя в такую жару лестница все звуки поглощает. На свертке проступила кровь. Вероятно, его просто схватили, а потом свернули ему шею. Человек положил трупик на карниз, туда, где несколько часов назад нагадила птица. Потом, спустя какое-то время, начал с ним разговаривать.

Цю Хуадун

Халат с драконами

Рассказ

Перевод с китайского Алины Перловой

1

ХАЛАТ с драконами висел в платяном шкафу, в прозрачном пластиковом чехле. Желтый — скорее всего, он служил императору будничной одеждой, не для тронного зала. Но даже этот непарадный халат был того ярко-желтого цвета, какой позволялось носить лишь императору, слепил глаза роскошью, повергал в трепет. Годы прошлись по нему, однако он по-прежнему внушал благоговейный ужас. Халат висел в шкафу, но казалось, будто император только вчера снял его и оставил там, а скоро снова накинет и поедет гулять в нем по Летнему дворцу Ихэюань, или еще дальше — охотиться верхом в Загородной резиденции Бишу Шаньчжуан[1]. Поэтому, заметив в шкафу халат с драконами, Хан Ибо

© Tsu Khuadun
© Алина Перлова. Перевод, 2017
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

1. Бишу Шаньчжуан — императорское село, расположено в г. Чэндэ провинции Хэбэй, служило летней резиденцией императоров династии Цин. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

сразу представил себе его хозяина. Но еще больше мыслей было о другом мужчине — ему почему-то показалось, что в этом императорском халате вдруг может выйти к нему ее отец. Престранное чувство.

— Императорский халат династии Цин. Над эскизами к таким халатам работали мастера из Палаты исполнения желаний[1] в парке Бэйхай, назначал их сам император. Если Сын Неба был доволен, эскиз отправляли в Сучжоу, Ханчжоу или Нанкин, там искусные портные шили халат под личным надзором чиновников из местного ткацкого управления, — объяснила Гуань Цзинцзин, открывая дверцы буфета.

Хан Ибо смотрел на халат: висит в шкафу за раздвижной дверью, и кажется, будто это стоит человек. Но халат пуст, и императора в шкафу нет. И сейчас они беседуют о халате с драконами, но по-настоящему их обоих заботит, как стать еще чуть ближе друг к другу.

— Смотри: кажется, что это не халат там, в шкафу, а какой-то человек без головы, без ног. Даже страшно немного, — сказал Хан Ибо. В тусклом вечернем свете ему и правда почудилось, что в халате кто-то есть. Может, и не император, а кто-то другой, ни головы у него нет, ни ног. И квартирка эта — его.

Гуань Цзинцзин улыбнулась, в искусственном свете она показалась ему какой-то нездешней, обольстительной. У нее длинные нарисованные брови, и глаза тоже — длинные и узкие, как ивовые листья, внешними уголками вверх, от этого она кажется немного кокетливой. Личико у нее овальное, как гусиное яйцо, вот только подбородок не круглый, а острый. Физиогномисты говорят, если у женщины круглый подбородок, ее ждет "земное счастье", и с возрастом жизнь будет баловать ее все больше. Но у Гуань Цзинцзин подбородок острый, значит, судьба ей досталась несладкая. Высокая, с тонкой талией, широким задом, большой грудью и узкими плечиками, она выглядела так волнующе, что его захлестнула настоящая страсть, когда он целовал ее в прошлый раз. Это случилось прямо на парковке — они залезли на переднее сиденье машины и стали там целоваться. Он чувствовал, какой тонкий и сильный у нее язык — словно у кобры, этим языком она могла бы высосать его слабую душу.

Как они познакомились? Дело было еще в прошлом году. В тот день он пришел со съемочной группой в музей, едва успели все расставить, еще не установили свет, как из соседнего зала с кучкой студентов вышла высокая девушка, да такая

1. Палата исполнения желаний, жуигуань — придворная мастерская императоров династии Цин.

красавица! Ее речь отличалась от рассказов обычных музейных экскурсоводов; прислушавшись, он понял, что она объясняет студентам, в каком порядке располагаются экспонаты. Они остановились в большом зале, студенты внимательно рассматривали, как тут и там на стеллажах расставлены музейные ценности. Никто и не обратил внимания, что рядом его группа собралась снимать выставочный зал.

Девушка продолжала читать лекцию. Это и была Гуань Цзинцзин, молодой преподаватель музеологии. В институте она изучала музейное дело на факультете искусств и после выпуска осталась там же преподавать. В тот день Гуань Цзинцзин привела студентов в музей на практическое занятие. Чтобы не мешать ей читать лекцию, Хан Ибо махнул рукой съемочной группе, мол, перерыв. Все разошлись, а он присел послушать.

Ему показалось, что этой преподавательнице нет и тридцати, от нее так и веяло силой. Гуань Цзинцзин говорила негромко, но четко, ясно, звонким и резким голосом, слушать было не очень приятно, однако каждое слово било в цель. С ней пришло больше сорока студентов, целая толпа. Она очень толково объясняла, как размещать экспонаты в зале в зависимости от их особенностей, рассказывала о тонкостях хранения и экспонирования некоторых музейных ценностей, об освещении, витринах, подложках, о том, какого размера должен быть шрифт пояснений на английском и китайском, о связи между значимыми и рядовыми экспонатами и о том, как увидеть выставку глазами посетителей. Хан Ибо ею заинтересовался. Он тут же собрал съемочную группу, начали записывать ее лекцию. Она заметила, что работает камера, чуть смутилась, но все так же спокойно продолжала вести занятие. Когда лекция закончилась, Гуань Цзинцзин подошла к нему и спросила, зачем ее снимали.

Хан Ибо объяснил, что они готовят документальный фильм о музее, поблагодарил за помощь — так они и познакомились. Гуань Цзинцзин узнала, что Хан Ибо холост, ему тридцать пять лет. Потом они начали встречаться, а сегодня впервые оказались в квартире вдвоем.

— На этом халате еще и кровь есть, я как-то рассматривала его и нашла пятна, — сказала Гуань Цзинцзин, снова отодвигая дверцу шкафа. — Пятна тусклые, почерневшие, не знаю, откуда они. Немного на воротнике и по бокам. Халат могли испачкать, когда доставали из склепа, а может, эти пятна появились еще во дворце. Никто уже не расскажет, как все было. У этого халата наверняка есть своя тайна, если тебе интересно, можешь раскрыть ее вместе со мной.

Халат, оказывается, еще и с кровью! И неизвестно, как эта кровь на него попала. Хана Ибо бросило в пот. Он не решился подойти к шкафу, словно в халате в самом деле кто-то притаился и вот-вот выскочит наружу. Стало нечем дышать, Хан Ибо поспешно подошел к окну. В квартире казалось слишком тесно от вещей, и мебель, и даже комнатные украшения здесь были темные, старинные, окрашенные временем. Он открыл форточку, но она распахивалась лишь наполовину, и глубоко вдохнул.

Уже стемнело, Хан Ибо смотрел из окна квартиры на верхнем этаже 28-этажного дома, возвышавшегося в районе Дашаньцзы, рядом с Арт-кварталом 798. Вдалеке, на единственной производственной зоне, оставшейся от 798-го завода, серебром переливались стальные трубы, от них шел горячий пар. Говорят, там еще сохранились военные предприятия, выпускают что-то секретное. Раньше 798 было кодовым названием одного военного завода, правда, из-за курса на конверсию во время Политики реформ и открытости этот завод постепенно пришел в упадок, ему ничего не оставалось, как кормить своих работников и пенсионеров, сдавая в аренду заводские площади. Потом сюда начали перебираться художники и галеристы, они арендовали этот громадный причудливый заводской корпус, спроектированный немецкой школой Баухауз, устроили в нем картинные галереи, выставочные павильоны, мастерские. И скоро это место стало арт-зоной, известной на весь мир. Позже собственник 798-го завода решил продать землю и выстроить здесь многоэтажный дом, но ничего не вышло. Арт-квартал уже прогремел на весь свет, стал культурным лицом Пекина, символом окна в мир, и его оставили в целости и сохранности.

В ее квартире было две комнаты — спальня и гостиная, места немного, но и оно забито вещами. Тут стояла большая кровать из розового дерева, несколько кресел и старинные стулья с высокими спинками — всю эту мебель на аукционах скупал отец Гуань Цзинцзин. А еще антикварные безделушки: "четыре сокровища рабочего кабинета"[1] и вставленные в рамки знаки различия буфан — квадратные нашивки с халатов чиновников с журавлями, цветами и травами. На стенах висели позолоченные веера с рисунками одного поэта и — по совместительству — министра ирригации династии Цин. В

1. Широко распространенное в позднеимперском Китае образное выражение, под четырьмя сокровищами рабочего кабинета подразумеваются кисть, бумага, тушь и тушечница.

шкафу сандалового дерева хранились курильницы для благовоний, и каких там только не было: и латунные, и медные, и из красной меди. А в том темном комоде — только выдвини ящик — громоздились коробки с табакерками. В каждой коробке самое малое двадцать штук, в основном цинской эпохи. Это была главная коллекция Гуань Цзинцзин.

— От папы мне досталась лучшая коллекция табакерок в стране. Знаешь, после смерти отца аукционные фирмы упрашивают меня продать ее, но я не могу на это решиться.

Хан Ибо знал, что ее отец давно умер. Уже четыре года как. Все свое имущество он оставил Гуань Цзинцзин: несколько квартир, множество антиквариата, тушевую живопись, а еще тот халат со следами крови. Если жениться по расчету, Гуань Цзинцзин стала бы для него идеальной партией, но часто казалось, что она что-то недоговаривает. В семье у нее было не все ладно, и он не мог понять, что она в конце концов за человек.

Хан Ибо вырос в интеллигентной семье и неплохо разбирался в предметах старины: его родители были сотрудниками одного музея в провинции, и он с детства много такого перевидал. Он знал, что одни ее табакерки стоят несколько миллионов юаней, а может, и того больше. Некоторые из них уйдут по сто тысяч юаней за штуку. Было ясно, что коллекция у Гуань Цзинцзин очень ценная. Хан Ибо работал сценаристом и режиссером телепередачи "Экспертиза сокровищ" и понимал, что лихорадочная мода последних двух-трех десятилетий на скупку, продажу и коллекционирование антиквариата породила целую вереницу пройдох, они радостно зарабатывали себе на чашку супа, торгуя ценными вещами и их копиями, подделками и оригиналами, рыли друг другу ямы, ставили ловушки — вдруг кто попадется.

Комната душила жарой, воздух был тяжелым, застоявшимся. Гуань Цзинцзин сняла пиджак. Был конец лета, в вечернем Пекине стояла сухая жара, и также сухо и жарко было в сердце у Хана Ибо. Ему захотелось снять рубашку, но под ней ничего не было, только голое тело. Решил не снимать, пока не время брать быка за рога, подождем, когда еще немного стемнеет. Почему-то в ее квартире он не мог избавиться от скованности и напряжения. К тому времени они были знакомы уже несколько месяцев. Позади осталось два десятка ужинов, два десятка свиданий, и сегодня они впервые оказались наедине в квартире. Было ясно, что этим вечером они должны стать еще ближе. Вот он и дождался этой минуты, но все медлил в надежде, что схватку можно еще немного оттянуть.

Кажется, Гуань Цзинцзин тоже не спешила. Она уже заманила его в свое жилище — теперь не уйти, как рыбе из садка. Она, пожалуй, еще и усмехалась про себя: мол, любопытно, надолго ли хватит его фальшивого благочестия, когда уже уложит меня в постель. Двое сидели на краю большой кровати в жаркой комнате, она доставала табакерки и по очереди показывала их Хану Ибо. Фарфоровые, эмалевые, керамические, серебряные, оловянные, все они — символы ушедшей эпохи, времени, когда люди нюхали табак, и то время утекло так далеко, что сегодня многие даже не знают, что это такое — табакерка.

— Сколько же у тебя сокровищ. — Хан Ибо бережно разглядывал ее табакерки. А на комоде ютилось еще много занятных антикварных безделушек. Там было несколько тушечниц и целый строй каменных заготовок для личных печатей — так много, что и пятачка пустого не осталось.

— Давай-ка устроим тебе экзамен: что это за камни? — Гуань Цзинцзин выбрала несколько заготовок, протянула Хану Ибо.

— Это пагодит, а это... Это тяньхуан, желтый камень! Ого, редко встретишь желтый камень такого качества. Так, здесь у нас пирофиллит и розовый кварц. У тебя все "четыре великих камня"[1] собраны! — удивился Хан Ибо.

— Взгляни еще на эти. — Гуань Цзинцзин положила под свет от торшера несколько камней-заготовок для квадратных печатей. Один камень на вид был точно желе: что-то в нем словно клубилось и переливалось. Другие были такие алые, будто их залили куриной кровью.

— Это, наверное, разновидность пагодита, камень-личи? Так, это розовый кварц, это камень балин, тут цинтяньский стеатит, а это лазурит. Надо же, все-то у тебя есть. — Хан Ибо был восхищен.

— Посмотри еще в этом ящичке. Не разбираюсь, что там за диковинки, тоже папа оставил. Взгляни, может быть, ты знаешь. — Из шкафа сандалового дерева она вынула шкатулку, открыла, и по комнате разлился необыкновенный аромат, запах настоящей старины. В шкатулке хранились женские украшения.

Он доставал их одно за другим, внимательно разглядывал, объясняя Гуань Цзинцзин:

— Смотри, это ожерелье из хрусталя, скорее всего, дунхайский хрусталь из округа Ляньюньган, провинция Цзянсу.

1. Имеются в виду пагодит (агальматолит), балин, цинтяньский стеатит, камень чанхуа.

А вот барс, вырезанный из турмалина. Барс — благовещее животное, символ богатства и накопления, ведь брюхо у него всегда полно. Ага, тут у нас браслет и ожерелье из красных кораллов, а это старый агатовый браслет. Некоторые сорта агата довольно ценные, другие же ничего не стоят. В пустынях Внутренней Монголии и сейчас находят россыпи агатов величиной с изюминку. Говорят, бутылка таких камешков стоит около десяти тысяч юаней. А это янтарная подвеска. Лучше всего, если в таком камне есть застывший комар. Вот браслет из медового камня, в медовом камне важны цвет, плотность и глубина окраски. Ага, а вот черепаховый гребень. Если будешь его носить, тебя ждет удача. — Он и правда был поражен ее коллекцией. Видно, отец крепко любил свою дочку, раз оставил ей после себя только самые ценные, дорогие вещи.

— У меня еще древние книги есть, — она достала из шкафа на балконе два прошивных тома. Он взглянул, это были "Цветы сливы в золотой вазе" — "Цзинь Пинь Мэй цыхуа", фотолитографическое издание 1957 года.

— А, старинный эротический роман, "Цветы сливы в золотой вазе", фотолитография 57 года, сделана по приказу председателя Мао.

Она чуть улыбнулась:

— В старых книгах я не очень разбираюсь. Еще у отца было издание "Цветов сливы в золотой вазе" с бумажными гравюрами времен Канси и комментариями Чжана Чжупо[1]. Вон там, в ящике, не хочешь взглянуть? — Сейчас она оказалась очень близко, ее тяжелая грудь так и ходила вверх-вниз под одеждой, набухая, словно вот-вот взорвется, в лицо ударил женский запах сырой рыбы. Он встретился с ней взглядом, и все мысли у него вдруг смешались.

2

Хан Ибо был уже сыт этими разговорами. Все здесь мертвое, даже "Цветы сливы в золотой вазе", а они с ней — живые люди из плоти и крови. Его угнетали старые вещи, нагроможденные в этой квартире: и антиквариат, и халат с драконами, и нашивки чиновников, и даже бурая мебель из розового дерева. Все это принадлежало людям, которые, возможно, ныне мертвы, нет, точно мертвы, некоторые — умерли уже не-

1. Китайский поэт эпохи Канси, династии Цин, оставил подробный комментарий к роману "Цветы сливы в золотой вазе".

сколько сот лет назад, и вот реки времени почему-то выплеснули их вещи сюда, в ее квартиру. А до того их скупил отец Гуань Цзинцзин, и потому от них еще больше веяло могильным холодом и жутким дыханием призраков. Это место давило на Хана Ибо, он едва терпел его тяжесть, и вот-вот готов был взорваться. Мягко потянул Гуань Цзинцзин, прижал к себе.

Жадно поцеловал ее, дыхание участилось. Гуань Цзинцзин тоже обняла его, так, словно еле дождалась этого мига, "Цветы сливы в золотой вазе" выскользнули у нее из рук и с глухим стуком упали на ковер, рассыпав страницы. Мужчины и женщины на гравюрах как по волшебству повторяли все, что происходило в комнате.

Часто дыша, с лихорадочными глазами, он торопливо сбрасывал с нее одежду, и скоро на ней ничего не осталось, она лежала прекрасная и нагая. Ее груди — две чудные, прелестные папайи, такие сочные, живые — сам идеал! В приглушенном свете он нежно прихватывал их ртом, всосал одну, затем другую, а потом чуть укусил. По ней молнией скользнула дрожь, она тихо застонала, вонзила ногти ему в спину, так, будто хотела оттолкнуть, но больше — почтительно и радостно встретить. Она оказалась полнее и чувственней, чем он представлял, настоящая созревшая женщина. Пурпурная роза, что цвела там, где сходились ее длинные ноги, эта сумрачная дверца в жизнь, была широко распахнута, ее влага манила, тянула к себе, она ждала, когда он войдет.

В этот миг на потолке появились силуэты двух совокупляющихся змей. Они извивались, терзая и облизывая друг другу шеи, распахивали пасти, жалили друг дружку ядовитыми зубами. Инстинкт размножения погнал самца на поиски, заставил его домогаться этой самки, напасть на нее. Со стороны соитие змей выглядит мучительным, их тела непрерывно свиваются, словно они танцуют некий диковинный танец, туловища заняты совокуплением, а головы сражаются: то он прижмет ее к земле, то она его. Иной раз змеи спариваются несколько часов подряд, и всё это время неустанно вьются, корчатся, вертятся, кусают и рвут друг друга. В мире змей немало жестокости. Если самку только что оплодотворил самец и она не желает спариваться с другим, новый самец может и загрызть ее, ведь эта самка носит в чреве потомство его врага. А когда самец страшно измотан после соития, самка, чтобы было чем выкормить будущее потомство, способна внезапно напасть и убить его, а потом медленно сожрать — того, с кем только что была нежна, ласкова, с кем едва закончила танцевать любовный танец. Змее вполне по силам целиком заглотить соперника, равного ей по размеру, и такое неред-

ко случается. Тени змей на потолке то разрастались, то сжимались, пропитывая комнату ни на что не похожим духом продолжения жизни.

Постепенно силуэты змей исчезли. На потолке появились тени двух пауков. Они быстро перебирали громадными лапами, паук-самец требовал любви у самки, превосходившей его размерами. Он резво кружил подле нее, делая какие-то странные жесты, должно быть, хотел показать себя во всей красе и добиться ее согласия, но потом вдруг решил взять свое силой: грубо взобрался на спину паучихе и принялся за дело. Самка билась, пытаясь сбросить с себя этого немилого ей самца, ведь он слишком мал, вовсе не от такого хотела она зачать потомство, но инстинкт продолжения рода одурманил паука, и он упрямо делал свое дело. Невозможно оторваться, следя за соитием пауков под лупой: самец взбирается на самку, их половые органы смыкаются, и эти двое то замирают без движения, то вдруг снова начинают копошиться: паучиха с пауком на спине живо куда-то ползет, находит подходящее место и там вновь затихает. И так до самого конца, потом паук слез со своей самки, хотел было уползти, но в эту секунду она нанесла смертельный удар, вцепилась ему в голову, затем обхватила его и принялась душить, пока он не выбился из сил, не прекратил сопротивляться, и тогда паучиха стала неторопливо поедать того, кто только что плескался вместе с ней в реке любви. Чтобы выкормить потомство, паучиха сожрала отца своих детей.

Вдруг тень паука на потолке превратилась в силуэты двух тигров. Самец и самка, они ревели и кусали друг друга, то она запрыгнет на него, то он на нее. Говорят, на детородном органе у тигра есть шипы, они глубоко вонзаются в тело тигрицы, не давая ей уйти. А у тигрицы растут утробные зубы, она может намертво вцепиться ими в член самца. И потому соитие тигров кроваво, оно пугает и волнует, это невиданное страдание, смешанное с небывалым восторгом. Вот самец с рыком прижал своим телом самку, не давая ей шевельнуться, устроился позади и загнал в нее свой член, украшенный шипами. Из-за внезапного вторжения та изумленно взревела, не в силах сбросить с себя самца, воспротивиться его грубому и неистовому натиску. Словно ступая по вольной, веселой тропе, тигр ликовал, он ощутил, как проник в нее, как пылает жаром ее нутро, о, как здесь опасно, как волнуется сердце. Сначала — влажно, скользко, горячо и привольно, но вдруг хлынула раскаленная лава, она затянула и расплавила его, стало жарко, словно на пике лета, и теперь он мог идти лишь вперед, а если отступать — то всего на шаг, и только затем,

чтоб пройти еще дальше. Тигрицу, должно быть, мучили его шипы, она вдруг укусила тигра прямо в губы, его обожгло болью, кровь заполнила их пасти и еще больше распалила.

С этой тигрицей шутки плохи, да, она кусала самца еще и еще, пока воздух не насытился запахом крови, этот запах — катализатор наслаждения, он повалил тигров на землю, а шипы, вонзенные в утробу тигрицы, не давали им расцепиться. Они катались по земле, как вдруг из матки тигрицы показалась пасть, это и есть ее утробные зубы, она обхватила ими шипастый член, мужественно занятый своим делом, крепко и безжалостно вцепилась в него и, сжимая в своих тисках, принялась заглатывать его в себя, ох, до чего же страшны утробные зубы тигрицы! В старой легенде сказано: если тигру встретилась такая тигрица — пиши пропало, она высосет из него все соки, до последней капли, и он испустит дух, падет, измученный. Ах, благо, что утробная пасть у этой тигрицы беззуба, все равно что ротик у новорожденного, она сосала его жадно, весело чмокая, и ему стало легко и беззаботно. Тут утробная пасть начала сжиматься, и тело тигрицы ритмично закачалось ей в такт, на них словно накатила волна, медленная, шумная, она пришла далеко из-за горизонта, из-под корабля и обволокла их тела, укрыла пеной.

Тигр яростно и сыто заревел, он извергнул семя, и в глубине темного чрева тигрицы все сотряслось, величественно хлынула лава, о, сладостная минута, миг самозабвения, что подарил владыка всем живым существам, она подобна ужасу перед ликом смерти, и для тигра ничто не сравнится с ней, даже в старости она иногда еще гостит в теле. Потом самец сипло зарычал, это был вздох удовлетворения, последний звук, после которого он и вправду испустил дух, пал, измученный.

3

Хан Ибо устал, силы почти иссякли, он вышел из нее, протянув за собой ниточку слизи. Гуань Цзинцзин вздохнула, словно немного досадуя, что их сплетенные тела разъединились. Он скатился с нее, лег рядом. Только сейчас заметил, как сильно они вспотели: словно рыбы, покрытые чешуей, они мерцали и переливались в темноте, влажные, соленые, липкие. На простынях теперь должны остаться оттиски их тел.

Июль словно запер город в душной сауне. Комната морила жаром, в пронизывающих окна лучах уличных фонарей, в мигающих неоновых отсветах далеких высоток было смутно видно, что все вещи по-прежнему на своих местах. Ему захо-

телось пить, он встал за бутылкой минеральной воды, но все они оказались пусты, пить было нечего.

— Вода закончилась, — сказал он, — в ванной из крана тоже не течет.

Она лежала ничком, как рыба, выброшенная на отмель.

— Милый, никто не платил за воду, вот ее и отключили. Я здесь редко ночую, эта квартира только для хранения. Сегодня как назло еще и центральный кондиционер сломался. Такая жара. Мне тоже пить хочется, может, сходишь вниз, в магазин, за водой? — Она лениво перевернулась, темнота очертила ее груди, большие, налитые, как две отборные папайи.

— Ладно, схожу куплю.

Он надел рубашку и брюки, сунул ноги в шлепанцы. В прихожей включил свет, слева стоял тот шкаф с раздвижной дверцей, в нем все так же висел окровавленный халат с драконами, и, если подойти ближе, видно, что халат и правда пуст, никого в нем нет. Хан Ибо облегченно вздохнул и вышел из квартиры.

Дверь, щелкнув, закрылась. Он оказался в длинном выгнутом дугой коридоре, пошел к лифту. Коридор тянулся далеко вперед, на двадцать восьмом этаже было около тридцати квартир, и все они располагались в один ряд, вдоль коридорной дуги. Он шел по красному ковровому покрытию, шел настороженно, с опаской — в коридоре так тихо, пугающе тихо. Не слышно ни звука, все двери заперты. Его вдруг сковал страх: в тусклом искусственном свете показалось, что он идет по лужам крови, а не по красному истертому до дыр ковру. Лампы в коридоре включались, он робко ступил на неосвещенную часть, и тут перед ним вспыхнул свет, так резко, что Хан Ибо даже вздрогнул. Он уже подходил к лифту, как вдруг на другой стороне коридора открылась дверь, мелькнула темная тень, будто кто-то высунулся из-за двери, взглянул на Хана Ибо и тут же скользнул обратно в квартиру. И снова ни звука.

Хан Ибо испуганно шмыгнул в проход к лифту. В доме четыре лифта, все быстрые, он надавил кнопку вызова, и лифт мигом пришел. Хан Ибо юркнул в него, но двери никак не хотели закрываться. Ну и ну. У него волосы встали дыбом от страха, он вспомнил, что подобное происходило в одной из американских гостиниц с китаянкой-хуацяо[1] Лань Кээр. В конце концов, ее труп нашли в баке с водой на крыше. Он подумал, что девушку, скорее всего, кто-то преследовал, и этот кто-то, должно быть, знал ту гостиницу как свои пять паль-

1. Хуацяо — выходцы из Китая, проживающие в других странах.

цев, все тамбуры, потайные ходы и пожарные двери. Убийца шел за ней, потом схватил и затащил в номер, там изнасиловал и убил, а потом сбросил ее тело в бак с водой на крыше. Разве могут быть другие версии? Но американская полиция заявила, что они не видят мотивов убийства, к тому же нет следов, которые подтверждали бы, что кто-то сбросил тело Лань Кээр в этот бак, а не она туда упала сама. Вот такая никчемная, скверная в Америке полиция. Врут и не краснеют, хотя все тут ясно, как белый день.

Двери лифта все не закрывались. Наверное, и с Лань Кээр было так же: кто-то стоял рядом с лифтом и жал на кнопку вызова. Хан Ибо высунул голову наружу: никого. Из глубины коридора долетел легкий звук закрывающейся двери. Странно.

В эту секунду двери лифта, наконец, закрылись, кабина полетела вниз, Хан Ибо с облегчением вздохнул. Ему показалось, что он попал в какую-то западню. Подумал, что, может, просто стал слишком впечатлительным.

Лифт открылся, в холле первого этажа охранник переругивался с двумя техниками в красных рубашках, те чинили центральный кондиционер. Мол, давно пора отремонтировать этот кондиционер, тогда бы я не торчал тут весь в вонючем поту.

Хан Ибо вышел из холла, заглянул в магазин в пристройке, купил несколько бутылок минеральной воды, потянулся за сигаретой, но вдруг раздумал, захотелось перейти на противоположную сторону улицы, посмотреть, в каких окнах дома горит свет, особенно на двадцать восьмом этаже. Быстрым шагом перешел дорогу, посмотрел ввысь: на каждом этаже горело всего по три-четыре окна, видно, дом заселен негусто, стоит, словно брошенный улей.

Хан Ибо внимательно изучил окна двадцать восьмого этажа, только в одном горел свет, это, должно быть, квартира Гуань Цзинцзин. Странно, только что он ясно слышал, как на их этаже открывалась дверь в другую квартиру. Стало не по себе, он решил, что надо бы все-таки вернуться наверх, и пошел обратно.

Летевший вверх лифт, наконец, замер на двадцать восьмом этаже, двери открылись, Хан Ибо вышел, повернул направо, зашагал по длинной дуге коридора, слушая, как лампы одна за другой загораются, освещая ковер под его ногами, а когда он проходит, снова по очереди меркнут. Он цепко ловил все шорохи вокруг, наверное, тот странный звук открывавшейся и закрывавшейся двери ему просто послышался. Дошел до номера 2828, вторая квартира с конца коридора, постучал в дверь.

4

Гуань Цзинцзин открыла дверь, он вошел. Тревога отступила, но Хан Ибо все еще был настороже, словно сомневался, любит ли его эта девушка. В квартире было по-прежнему жарко, кондиционер еще не починили. Гуань Цзинцзин включила вентилятор, подуло воздухом, правда, горячим, но и на том спасибо. Всюду горел свет — в комнатах, в прихожей, даже торшер у балкона, и оттого набитая старыми вещами квартира казалась живее. Он обнял Гуань Цзинцзин, ее тело дышало негой и ленью, как у самки большого зверя. Они выпили воды, сразу полегчало, и, обнявшись, улеглись в постель.

Хан Ибо, наконец, решил спросить в лоб:

— Хочу узнать больше про твоих родителей. Они для меня окутаны тайной. Мы с тобой знакомы уже несколько месяцев, а я так и не знаю, что с ними случилось.

По взгляду Гуань Цзинцзин пробежала тень:

— Папы не стало пять лет назад. Ты не был знаком с моей мамой, но она тебя видела. Помнишь, ты приходил в наш семейный ресторан, мы с тобой сидели на втором этаже, за столиком у окна. Мама тогда была на этаж выше, наблюдала за нами через монитор системы наблюдения. От нее не скрылся ни один твой жест.

Вот оно что. Он оторопел. Вспомнил, как ездил на западную сторону Четвертой Кольцевой поужинать с Гуань Цзинцзин в ее семейном ресторане, и тогда они так и не увиделись с ее матерью. Ресторан она унаследовала от отца, но за этим наследством приходилось как следует присматривать. Каждый день Гуань Цзинцзин был полон забот, с утра она читала в институте лекции по музейной экспозиции, а потом ехала в ресторан вести дела.

— В ресторане приходится следить за каждой мелочью, куда ни глянь — всюду безалаберность, воровство. Смотришь во все глаза, чтоб не украли при закупке продуктов, чтоб все деньги шли в кассу.

Хан Ибо говорил ей, что в слишком чистой воде рыба не водится, нет нужды в такой строгости, пусть все зарабатывают понемногу, тогда и дело пойдет на лад.

Ее мать была врачом, но тяжело заболела. Сидела в бухгалтерии на третьем этаже, наблюдала за ним через монитор. Что, интересно, она чувствовала?

— Как я показался твоей матери?

— Она подумала, что ты старше, чем есть. Тебе всего тридцать пять, но на вид можно дать больше сорока.

— У твоих родителей были хорошие отношения?

Она поставила ногу на его ягодицы, отчего холмик ее лобка чуть приподнялся.

— Плохие у них были отношения. Отец до самой смерти состоял с мамой в браке, но жили они хуже некуда. Мой папа руководил небольшим городком, он еще известен своими садами, парками — отец продал там много земли и разбогател. Ему нравилось ездить по аукционам, скупать антиквариат. Наверное, это еще и из-за моего прадеда, папиного деда: до Освобождения[1] он держал ломбард на Люличане[2], богатые и знатные люди приходили к нему закладывать живопись, антиквариат, со временем некоторые вещи так у него и осели. Его сын, мой дед, был "раскритикован"[3] и убит в годы культурной революции, но успел вырыть погреб и спрятать там много ценностей, оставил их моему отцу. А папа хорошо разбирался в этих вещицах, и вот свою любовь к древностям он передал мне.

— Ты же единственный ребенок в семье, кому бы он еще передал как не тебе?

— Конечно, я была у папы светом в окошке, но только... — Гуань Цзинцзин белым удавом обвила его, несчастного домашнего поросенка. — Не знаю, когда это началось — отношения у мамы с папой затрещали по швам. А еще у него была любовница. Я видела эту женщину, мама гораздо красивее, а та еще и старше, не знаю даже, чем его взяла. Отец предлагал маме развод, но она не соглашалась, и он перевез к той женщине часть живописи, антиквариата, я позже об этом узнала, сказала маме. Я, конечно же, держала мамину сторону, — она поцеловала его. — А знаешь, почему я тебя так люблю?

— Не знаю. Разве нужно много причин, чтобы любить?

Ее взгляд стал каким-то далеким:

— Потому что ты очень похож на папу.

Хан Ибо вздрогнул:

— Я похож на твоего папу? — Он не на шутку встревожился.

Гуань Цзинцзин улыбнулась:

— Да, похож, и даже очень, а иначе я бы в тебя не влюбилась. Папа умер пять лет назад. Тогда я еще глупая была, ничего не почувствовала, но потом стала все чаще его вспоминать. Встретила тебя, и ты разжег во мне настоящую любовь и тоску по отцу. Почему мне нравится антиквариат? Папино

1. То есть до 1949 года.
2. Люличан — старинная торговая улица в Пекине.
3. Под "критикой" во время Великой пролетарской культурной революции в Китае, по сути, имелись в виду репрессии.

воспитание — переняла это от него. Я встретила тебя и потеряла голову. С тобой я обрела любовь к отцу! И теперь всю любовь к папе, всю тоску по нему я отдам тебе! Потому что без тебя я бы никогда не поняла, как он меня любил. Как он на меня повлиял. Давай покажу тебе, какой он был. — Гуань Цзинцзин взяла с прикроватной тумбочки телефон, в темноте вспыхнул экран, она открыла фотографии своего умершего пять лет назад отца: — Смотри, до чего вы похожи!

С невольным отторжением он вглядывался в лицо этого немолодого мужчины. Но оказалось, что формой головы, чертами и выражением лица Хан Ибо и в самом деле походил на ее отца. Он озадаченно кивнул:

— Гм... Да, есть сходство, — сказал он, больше чтобы поддакнуть, — ему вовсе не хотелось признавать эту истину.

Гуань Цзинцзин разглядывала своего обожаемого отца:

— Очень похож! Жестами, голосом, прической. Если бы он был жив, стал бы твоим двойником. Пошлю-ка я твою фотографию двоюродной сестре, посмотрим, что она скажет.

Она отправила сестре фотографию Хана Ибо, через пять минут позвонила. Он слышал их разговор:

— Сестра, я тебе сейчас фотографию скинула, скажи-ка, на кого он похож?

Телефон стоял на громкой связи, раздался женский голос:

— Цзинцзин, на папу твоего похож, моего дядюшку! Надо же, нашла себе парня, копия папы, ну, молодец! До чего же похожи!

Хан Ибо оторопело слушал разговор, Гуань Цзинцзин обменялась с сестрой еще парой слов и отложила телефон.

— Ну, что я говорила!

Хан Ибо не знал, что сказать. Непростая это женщина. Да, у нее в семье было много странного и мрачного, и о некоторых секретах приходилось только догадываться, но мать Гуань Цзинцзин тоже умерла, ее не стало в прошлом году. Спустя четыре года после смерти отца Гуань Цзинцзин потеряла и мать. Бедная девочка, осталась совсем одна. Отец ловко взбирался по карьерной лестнице, умел зарабатывать, был ее опорой, поддержкой, но он умер, и с его смертью семейный капитал пусть не пошел прахом, но стал постепенно таять. Так Гуань Цзинцзин лишилась покровителя, жила одна, без мужа, но это только придало ей сил. Потом встретила Хана Ибо, и он оказался похож на ее папу.

— От чего умер твой отец?

— От чего... Сама не знаю, это было пять лет назад, они с мамой страшно поругались, наутро ему стало плохо, и вскоре

он умер. Мы обе очень растерялись, не знали, что делать. Мама позвонила в свою больницу, оттуда приехали люди, папу увезли. Но он был уже мертв. В больнице настаивали на вскрытии, чтобы установить причину смерти, но мама сказала, что вскрытия не нужно — его все равно не вернуть, и, скорее всего, это инфаркт. Вот так, второпях, впопыхах папу и кремировали.

— Второпях? — он нахмурил брови, чувствуя подвох. Она задумчиво помолчала.

— Да, второпях. Все равно он был уже мертв, что толку от того, что знаешь причину смерти. Может быть... — поколебавшись, она не стала продолжать.

— Возможно, к этому как-то причастна твоя мама, — предположил Хан Ибо.

Она вскинула на него удивленные глаза:

— Причастна? Ты о чем?

Он глядел на нее, мягко кружа пальцем по ее груди, хотел рассеять ее внимание, чтобы она прикрыла глаза.

— Ты сказала сейчас, что в тот день родители сильно поругались, правильно?

— Ну да, — ее взгляд забегал, очевидно, ей не хотелось признавать эту пугающую правду.

— На другой день утром отец внезапно скончался, причина смерти не установлена. По словам матери, он умер от инфаркта, наверное, это лучшее объяснение тому, что случилось. Но мы знаем, что твоя мать считалась опытным врачом, у нее точно были возможности и мотивы это сделать, да и время, к тому же никто бы ей не помешал. Она могла дать ему яд или сделать укол; как бы то ни было, ей хватало причин, чтобы отправить твоего отца на тот свет! — договорив, Хан Ибо и сам испугался — Гуань Цзинцзин вдруг резко села, длинные волосы упали ей на лицо, осталась видна только половина.

Вот еще почему ему часто становилось не по себе: от Гуань Цзинцзин все время веяло чем-то зловещим. Ее колдовское лицо, острые зубки, мягкое белое удавье тело искушали его, выматывали душу, ловили в западню.

Гуань Цзинцзин всю затрясло, она стала похожа то ли на разъяренную, то ли на убитую горем самку орангутанга. Она погрузилась в свои горькие воспоминания и не говорила больше ни слова, только всхлипывала. Хан Ибо забеспокоился, сел, ласково обнял ее, поцеловал. Ядовитые, холодные, как ледышки, слезы текли по ее прекрасным щекам, он чувствовал их соленый с горечью вкус.

— Прости, я не должен был так говорить и так думать.

Они снова упали на подушки, лицом к лицу. Она больше не плакала, открыла глаза:

— Может, так все и было. Я ведь тоже про это думала, ведь слишком внезапной, слишком странной была его смерть. А мама отца ненавидела, на нее подозрение падает в первую очередь. Она разбиралась в ядах и инъекциях и могла устроить все так, что комар носа не подточит, но...

Он смотрел на нее:

— Что бы там ни было, они оба уже мертвы. Так что это всего лишь наш с тобой разговор, не больше. Почему твоя мама умерла так рано, она ведь была еще совсем молодой?

— Она ненавидела отца: он не любил ее, да еще завел себе другую женщину. Ненависть подорвала мамино здоровье, она заболела раком печени. Такое случается при застое в печени ци[1], а застой ци — от дурного настроения. Мама так хотела, чтоб я поскорее вышла замуж, я послушалась, но брак оказался очень неудачным, несчастливым, мы развелись, а потом я встретила тебя.

— Что же случилось в том браке? — И семья Гуань Цзинцзин, и отношения между ее родителями, и ее первый брак казались Хану Ибо какой-то мудреной загадкой, чем-то таинственным. Он не мог принять женщину с такой подноготной и чувствовал, что запутался. Странное, но объяснимое чувство — точно так же ему казалось, что в халате с драконами кто-то есть.

— Бывший муж — сын чиновника, а мой папа занимал пост мэра маленького городка и понимал, как важна власть. Случай свел его с отцом моего будущего мужа, папа пустил в ход все средства и просватал меня, я тогда училась на четвертом курсе. Только после свадьбы я поняла, что мой муж из "золотой молодежи": его отец был большим человеком, и сынок с детства рос избалованным, ветреным барчуком, женился на мне, но изменял направо и налево — а я терпеть не стала. Поэтому наш брак продержался всего год, и мы развелись, детей не было.

Хан Ибо вспомнил, как около месяца назад кто-то скинул ему на телефон целый ворох эротических фотографий, и главным действующим лицом на них оказалась Гуань Цзинцзин. Она позировала то стоя, то сидя, и на снимках были видны все подробности ее обнаженного тела: грудь, лобок, бедра, даже пальцы ног. Отправитель явно ненавидел и завидовал Гуань Цзинцзин, он приправил фотографии сообщением: "Вы все

1. В традиционной китайской медицине ци — жизненная энергия, которая циркулирует по каналам организма.

думаете, что Гуань Цзинцзин нежная, скромная, порядочная женщина, образованная и воспитанная — как бы не так! Она грязная развратная шлюха, скачет из постели в постель. А это ее фотографии. Ха, никто не догадается, кто я, и не надо".

Хан Ибо тогда сразу позвонил Гуань Цзинцзин, спросил ее, что это за история, но она была на удивление спокойна:

— Эти фотографии хранились у меня в закрытом альбоме QQ[1], наверное, кто-то взломал мой аккаунт, уж не знаю как. Еще у этого человека появился доступ к части номеров из моего контакт-листа, твой номер у меня на самом верху, в избранных, поэтому ты тоже получил эти снимки. Они пришли и некоторым моим родственникам и друзьям, всего их получили с десяток человек.

Хан Ибо сказал тогда:

— Тебя кто-то ненавидит. Он или она, кто это?

Гуань Цзинцзин была невозмутима:

— Я пыталась выяснить. Не знаю, кто этот человек, может, кто-то из завистников в институте. Некоторые думают, что мне досталась эта работа благодаря связям. Я ходила в полицию, они не могут помочь. Многие сим-карты оформляются на вымышленное имя. Хорошо, что в получателях были только друзья и родственники — ущерб небольшой. Но вот настроение испортилось. К тому же мой бывший муж на короткой ноге с ректором, не хочу больше оставаться в этом вузе. Я устроилась туда с помощью свекра, благодаря его влиянию. Сейчас пришло новое руководство, и из-за борьбы с коррупцией полетела свекрова голова, его уже арестовали.

— Да уж, беда не приходит одна. — Хану Ибо показалось тогда, что жизнь очень похожа на сплетение сюрреализма и абсурда.

— Эх, поздно я поняла, как папа меня любил. Оставил на мое имя несколько квартир во всех частях Пекина, еще ему принадлежала половина акций того ресторана, а вторая половина — другим руководителям городка. После смерти отца они очень обо мне заботятся.

Сейчас этой женщине, лежащей рядом с Ханом Ибо, всего двадцать восемь, но она уже многое перевидала, да и в тайнах ее семьи черт ногу сломит — Хана Ибо это и возбуждало, и пугало. Некоторые женщины — все равно что отрава: пристрастишься к ней, а потом проваливаешься в яму.

1. QQ — наиболее распространенная в Китае программа для общения через интернет, дает возможность пользоваться играми, фотоальбомами и другими сервисами.

— После развода ты ушла из того вуза?

— Да, свекра посадили, новое руководство взялось искоренять следы его влияния в институте, мне оставаться там было нельзя. Я уволилась. С утра теперь езжу в ресторан, веду дела, а после обеда даю уроки танцев. Вижусь только с посетителями ресторана, да с ребятишками на уроках. Мне эта работа по душе, теперь преподаю не музейную экспозицию, а танцы детям. Денег хватает, сейчас я хочу заниматься тем, что нравится. Да, мамы и папы больше нет, я одна осталась, но, пройдя через несчастья в семье, смерть родителей, развод, я закалилась, повзрослела и обрела — в тебе обрела любовь к отцу.

После этих слов глаза Гуань Цзинцзин вдруг заблестели, она перевернулась, подмяв его под себя, поцеловала в ухо, куснула за мочку, выдохнула, стало щекотно. К ней пришло желание, и на этот раз она напала первая, напала так яростно, словно он стойко держал оборону, и, даже если бы он хотел сдаться, было уже поздно, она не знала пощады, она решила подчинить его себе целиком. Словно удав, переливающийся в ночи то белым, то желтым, она обвилась вокруг его тела, навалилась на него, не давая вдохнуть, зажала рот, стиснула так, что руки и ноги у него обмякли, оставалось лишь выбросить белый флаг и сдаться, бежать с поля боя, но бежать было некуда. Она заманила его, распалила, он знал, что уже обречен — даже если безоговорочно подчинится. Она жарко прижалась к нему низом живота, медленными жерновами принялась перемалывать его тело, позволяя ему лишь растерянно, бестолково сопротивляться. У него не было шанса на спасение, она лишила его всякой воли, ворвалась в него, обвила собой его руки, ноги и все остальное — тем и славен удав, — Хан Ибо был не в силах пошевелиться, лишь до последнего сопротивлялся, пока его затягивало в черную дыру сознания. А на пике предсмертного ликования она вдруг крикнула, захлебываясь: папа, папа! Глаза ее закатились, обнажив белки, она впала в забытье, телом не прекращая обвиваться вокруг него — точь-в-точь удав, оплетающий буйвола.

— Папа, папа, папа! Папа! — горестно кричала она у самого его уха, ввергая его в блаженство, в безумие, в страх и трепет. Он отчаянно соображал — что с ней: воображаемый инцест, взрыв страсти к отцу, дар почтительной дочери, или это — смерть? Он не мог выскользнуть из ее рук, пока не погиб, пока не осыпался грудой развалин. Ему показалось, что он осьминог, которому не под силу вернуться обратно в море; прошуршав по песку, его окружили крабы, и вот уже сожрали, быстро, в один присест.

Она заплакала, отчаянно шепча: “Папа, папа, папа...” Он устал, выбился из сил, он хотел спать и так и заснул вместе с ней, вместе с этим удавом.

5

Вокруг царил мрак. Старинные обитатели квартиры будто ожили, да, все вещи, все эти вещи мертвецов дружно зашептались, кто-то бормотал себе под нос, кто-то тихо о чем-то препирался.

Хан Ибо крепко заснул. Вдруг во тьме что-то сверкнуло, и он очнулся. В ужасе понял, что в шкафу, в том самом халате с драконами стоит человек, вот он медленно вышел из шкафа и идет к нему, на нем окровавленный императорский халат, в руке — фонарик. Подошел к кровати, посветил на Хана Ибо, а потом — на свое лицо. Хан Ибо не мог поверить своим глазам, кровь застыла в жилах — то был отец Гуань Цзинцзин, живой. Он произнес, чеканя слова:

— А ты. Вовсе. На меня. Не похож.

Хан Ибо в ужасе проснулся. Это был кошмарный сон. А теперь он проснулся по-настоящему. Взглянул на платяной шкаф, желтый халат с драконами висел совершенно неподвижно, и в темноте казалось, что в нем действительно стоит человек и смотрит на Хана Ибо, но теперь молчит.

Хану Ибо стало очень страшно. Что же за родители были у Гуань Цзинцзин? Правда ли, что ее мать дала яд отцу? А может, отец этот вовсе не умер? Вдруг он хорошо спрятался и наблюдает за нами, как мы живем, как разыгрываем забавную пьесу после его смерти. Из темноты следит за дочерью, за всем, что с ней связано. И рассылка тех интимных фотографий — тоже его рук дело? От таких мыслей Хана Ибо бросило в дрожь, он стал сам не свой. Взглянул на Гуань Цзинцзин — лежит, как мертвый удав, придавила его своим жемчужным телом и крепко-крепко спит.

Он больше не мог тут оставаться, в панике натянул штаны вместе с трусами, сунул ноги в ботинки и поспешил прочь.

Выскочил на улицу, уже четыре утра, скоро рассвет. Оглянулся, посмотрел на окна двадцать восьмого этажа в этом пустынном доме, нашел глазами квартиру 2828 — и явственно увидел на балконе силуэт мужчины, он смотрел сверху вниз, как Хан Ибо бежит прочь, и смеялся мрачным, неслышным смехом.

Милован Марчетич

Рассказы

Перевод с сербского Василия Соколова

Замкнутый круг

ОДИН не очень молодой человек, но которого еще нельзя назвать старым, однажды утром отправился в самый большой город на юге нашей страны, чтобы сделать одно дело. Была пятница, мужчина днем раньше купил билет на автобус, который отправляется в восемь утра и прибывает в пункт назначения где-то после одиннадцати. В автобус он сел примерно без четверти восемь. Прежде чем выйти из автовокзала к остановке автобуса, купил газету, но в пути даже не вынул ее из портфеля, так как в поездках, даже в дурную погоду, больше любил смотреть в окно, чем читать газеты. Погода же в то утро была, как говорят метеорологи, *переменно облачная.*

Мужчина был одет легко: клетчатая рубашка, весенняя куртка бежевого цвета, серые брюки и черные туфли. В руках

© Милован Марчетић
© Василий Соколов. Перевод, 2017
Редакция выражает благодарность Милована Марчетичу за любезное разрешение опубликовать эти рассказы на безвозмездной основе на страницах журнала.

он держал черный кожаный портфель, в одном из отделений которого была папка с бумагами, имеющими отношение к цели его путешествия, в другом находился складной зонтик. В билете было обозначено его место, номер 13, но он не верил в несчастливое число, как и в то, что оно может принести счастье.

За две минуты до отправления автобуса на место номер 14 уселась женщина, как он сразу отметил — несколько моложе его. Длинные черные волосы, зеленый костюм, в руках черная сумочка — все, что он в первое мгновение заметил у своей случайной попутчицы. Впрочем, он и не любил засматриваться на незнакомых людей, чтобы не смущать их своим любопытством.

Автобус отправился вовремя, мужчина равнодушно смотрел в окно и только на мосту через ручей Бубань повернул голову, взгляд его на несколько мгновений остановился на коленках женщины, сидящей рядом с ним. Это созерцание не вызвало в нем никакого эротического волнения, и, как он отметил, его спутница также не выказывала к нему никакого интереса. Тем не менее после указателя поворота на Смедерево они обменялись короткими комментариями по поводу репертуара и громкости музыки в автобусе. Миновав поворот на Крагуевац, они познакомились, в результате она узнала, что он родом из села восточнее Ниша, а он выяснил, что она родилась севернее этого же города, а последние десять лет, как и он, живет и работает в Белграде. Перед Нишем они обменялись адресами и номерами телефонов. На автовокзале оба выразили надежду на новую скорую встречу.

Встретились они уже через час в здании районной скупщины, перед дверью налогового управления, потому что обоим предстояло подписать какие-то бумаги и уплатить налоги за состоявшееся недавно вступление в наследство. Для того они и приехали в Ниш. После такой скорой новой встречи оба решили, что сама судьба вмешалась в их жизнь. Эта мысль заставила его предложить встретиться, когда они закончат формальности, и она согласилась без долгих раздумий.

И вот, спустя сорок пять минут, они сидели в снек-баре гостиницы в центре города и пили кофе, а спустя полтора часа лежали в постели номера 113 той же гостиницы.

Через полгода они оказались перед столом регистрации скупщины белградского района Раковица. При них состояли два свидетеля; сватов не было, потому что не было и свадьбы. В тот день тоже была переменная облачность, но дождя до самого вечера так и не случилось.

Спустя семь лет они в том же здании развелись. В качестве повода, помимо ревности мужа, женщина указала на монотонность их брака, приведя в пример пренебрежительного к ней отношения его весьма остроумное выступление перед родственницей и ее мужем, после чего эта пожилая пара хохотала до слез не менее часа, а в течение всех семи лет совместной жизни он совсем не стремился сделать их брак более счастливым и веселым. Он, естественно, не согласился с такими причинами расторжения брака, однако против самого развода не возражал. И даже по окончании формальностей весьма вежливо попрощался со своей недавней спутницей жизни.

Имущественных споров между ними не было, детей они не родили. Тот, кому удавалось — правда, весьма в редких случаях — заглянуть в их супружескую жизнь, сказал бы, что муж сознательно держал своих приятелей, коллег и знакомых подальше от жены, но свою ревность так ловко скрывал даже от нее, что ей потребовалось шесть лет, чтобы заметить эту ревность, и еще целый год, чтобы решиться на развод. С другой стороны, знакомые жены и ее друзья по характеру занятий были весьма далеки от профессии и увлечений ее мужа, бухгалтера в одном из издательств.

Она была медицинской сестрой. Что же касается их брака, то следовало бы добавить, что и в день его окончания была переменная облачность. Дождь пошел к вечеру.

Этот самый мужчина в год развода — уже семь лет отделяли его от той весны, когда он в поездке познакомился со своей временной спутницей жизни — вновь отправился в самый большой город на юге нашей страны. За минувшие семь лет он почти не изменился. Одет он был точно так же, только рубашка теперь была в несколько иную клетку. У него был тот же самый черный портфель, а в нем — папка, газета и тот же самый складной зонтик, потому что он не только не терял зонтик, но и относил его по мере надобности в ремонт. Он опять купил в пятницу билет на восьмичасовой автобус. В самый большой южный город он ехал по поводу, схожему с тем, семилетней давности, чтобы уплатить налог на недвижимость, которая числилась за ним в родном селе.

На этот раз ему досталось место номер 17. До самого конца поездки никто к нему не подсел. И в этот раз он так и не вынул из портфеля газету, а только смотрел в окно автобуса. Однако он не мог не вспомнить ту поездку, во время которой познакомился со своей бывшей женой. Теперь он сидел точно за тем местом, на котором тогда сидела она, сейчас оно было пустым, но ему было нетрудно восстановить в памяти

детали знакомства с женщиной, которая тогда сидела рядом с ним. Ее приход перед самым отправлением, черные волосы, колени, выглядывающие из-под сумки, знакомство и разговор с ней... Все это, ее внезапное появление в скупщине, их поход в гостиницу и занятие любовью в гостиничном номере, показалось ему прекраснейшей историей, какой ему не довелось пережить ни до, ни после, да ему никогда и не доводилось слышать о чем-то подобном. И все это утро, вспоминая обо всем, вплоть до Ниша, и в Нише, и в скупщине, да и в любом другом месте в голове у него вертелась одна и та же фраза: “Все-таки это была любовь...”

В здание скупщины он и в этот раз явился через час после прибытия, сделал все дела, ради которых приехал, зашел в тот же снек-бар и выпил кофе, нанял на несколько часов, хотя в том и не было никакой нужды, так как усталости не чувствовал, номер в той же гостинице, правда, не тот, что семь лет назад, номер 113, а какой-то другой, но на том же этаже. И, заплатив за номер, улегся на кровать, не раздеваясь, одетый и обутый, и, несмотря на отсутствие усталости, сразу заснул.

В село на этот раз он не заезжал, а в Белград отправился вечером.

И на этот раз во время поездки он так и не вынул из портфеля газету. Да и в голове у него никаких мыслей не было, просто он смотрел в окно, хотя было уже темно. И только позже, когда было пройдено полпути, в память его вернулась та поездка семилетней давности. Но вскоре и она стерлась в сознании. Словно никакой женщины, знакомства и занятий любовью с ней, венчания, совместной жизни никогда и не было.

Кто-то может сказать, что его мысли были заняты чем-то иным и что в любой момент он может вернуться к размышлениям о той поездке и о той женщине. Но с течением времени все меньше оставалось надежды на это, потому что сейчас, когда круг замкнулся, этот человек все больше стал сомневаться в том, что описанное в этом рассказе вообще когда-то было.

Пять *пальто*

1

“ДОБРЫЙ день, товарищ Виктор. Мы пришли по поводу пальто, о котором я вам говорила. А вот и Милорад”, – что-то в этом духе произнесла мама, выталки-

вая вперед ребенка, а этот Милорад впервые в жизни оказался у портного, потому что до этого мама шила сама или изредка покупала. Портной Виктор, немец, жил в городе с каких-то доисторических времен, малорослый, сгорбленный, с седыми волосами, что пучками торчат из-под круглой шапочки, из ушей и из носа, смотрит на них сквозь стекла очков, кладет Милораду ладонь на плечо, натянуто улыбается и пропускает их в комнату. А там пальто, законченные и сметанные на живую нитку, брюки, готовые и недошитые, куски раскроенных материй на столе, две машинки "зингер", разнообразные ножницы, совершенно незнакомый мальчику запах. Маме со словами "не хотите ли чаю" предложено сесть на скамейку у окна. Мальчик садится на лавку первым.

— О, нет, нет, тебе садиться рано, — говорит Виктор, подходит к одной из машинок и возвращается с сантиметром, который выглядит просто как потрепанная зеленая матерчатая лента с черточками и цифрами, свернутая в рулон, — такое мальчик видит впервые в жизни. — Да, — продолжает Виктор, — что это я так спешу? Глянем сначала, из чего и как.

Мама встает, вынимает из сумки серо-зеленое сукно распоротой отцовской шинели, опять садится и кладет материю на колени.

— Это шинель моего мужа. Я думала сшить ребенку длинное пальто, размером побольше. Я сама ее распорола, материи должно хватить. А у вас на подкладку найдется?

— Поглядим. Немецкое сукно, добротное... — говорит Виктор и тут же обрывает свой комментарий, осознав, что произнес слово, которое в этой стране ненавидят...

— Партизанская, — продолжает мама. — Мой муж эту шинель в партизанах носил. Я потом пальто в темно-синий цвет покрашу.

— Лучше бы это сделать до шитья, — произносит портной, не глядя на нее, позволив рулончику сантиметра размотаться под собственной тяжестью аж до пола.

— Я думала, краска лучше возьмется, если потом покрасить, — извиняющимся тоном говорит мама, на что портной, теперь уже заметно рассердившись на то, что кто-то подвергает сомнению его знания, отвечает словами опытного закройщика и специалиста по окраске:

— Всегда лучше красить перед тем, как шить!

Теперь к ним приближается подмастерье, худой паренек лет пятнадцати-шестнадцати, в брюках с коротковатыми штанинами, видимо, из-за слишком сильно натянутых подтяжек, со вздернутой от рождения бровью и первым юношеским пушком на верхней губе и подбородке. В руках он

держит толстую растрепанную тетрадь и химический карандаш.

— Пошире или поуже? Рукава подлиннее и пошире, или покороче и поуже? Что с пуговицами? Однобортное или двубортное? С подкладкой или без подкладки? — спрашивает Виктор, старательно демонстрируя отличное знание своего важного ремесла.

Мама, застигнутая врасплох, пожимает плечами и, наконец, произносит:

— Пусть немного побольше, чтобы хоть года на три хватило... С подкладкой, я уже говорила. Однобортное...

— Товарищ, дети в эти годы растут быстро. В первую зиму оно ему великовато будет, но к началу третьей станет тесновато. Ну да ладно, немного больше... — говорит Виктор, замеряя ширину плеч. — Тридцать восемь. Смотри, малый, не ошибись, — обращается он к подмастерью, который, послюнявив карандаш, записывает цифры в тетрадку. Затем меряет от плеча до колена. — Семьдесят два. — Подмастерье записывает. Следует измерение объема груди и талии, а также длины руки до ладони. Закончив, говорит мальчику: — Когда придешь в следующий раз и наденешь пальто, станешь солдатом, — и театрально, глубоко поклонившись, жестом приглашает присесть рядом с мамой. Потому что процесс еще не завершен. Надо оговорить сроки и стоимость. Мама еще не допила чай. "Каким еще солдатом? — мысленно спрашивает мальчик уродливого карлика. — Швабом или партизаном?"

— Сняли с какого-то немецкого солдата, — рассказывает отец вечером про свою бывшую шинель, после того как Милорад спросил его, действительно ли она была когда-то немецкой. — Я ее получил в последний год войны, когда еще лето было. Сделал из нее скатку и носил на ранце. Правда, иной раз она мне и летом, и осенью служила подстилкой. Но я ее берег, стирал два раза, гладил по-солдатски. Пойдешь служить — тоже научишься... Когда война закончилась, я мог сдать ее, но передумал. Все-таки она меня от холода защищала и от ветра. Для этого, собственно, и нужна шинель. Думаю, это она пулю чуть притормозила, которая меня в ногу ранила. Хотя никто в это не верит. Нет пальто лучше, чем перешитое из шинели. Лучше немецких только русские шинели и русские шубы. Но у них и морозы посильнее.

А прежде, лет за пять до того, как ее распороли, с шинели сняли орден, бронзовую блямбу, которую к ней привинчивали, да звездочки с плеч, означавшие звание. Орден и звездочки сложили в один из ящиков комода, и мальчик часто развинчивал и свинчивал орден. Прежде чем быть распоротой,

шинель несколько недель висела на круглой металлической вешалке в коридоре. А до этого — в шкафу с шариками нафталина в карманах. Повиснув на вешалке в коридоре, без ордена и звездочек на плечах, она стала походить на разжалованного унтер-офицера, замершего на посту.

И вот на тебе, прошло всего пять дней после похода к портному, и мальчик в синем пальто, с шапкой на голове, направляется в школу. Остатки сукна убраны в деревянный ящик; может, на что-нибудь еще сгодятся — подшить чуни или на самом пальто залатать рукава, протертые на локтях. А орден мальчик еще летом закопал за домом, наслушавшись историй о спрятанных кладах, один из которых наверняка ему рано или поздно достанется. Блестящую звезду и прочие латунные детали он выкопает, как запланировал, через несколько лет. Отец не очень-то интересовался орденом, похоже, он про него просто забыл, наверное, тот напоминал ему о каком-то нехорошем эпизоде войны. Никогда он о нем не вспоминал, ни мальчика, ни кого другого из домашних о нем не спрашивал, да и вообще про войну никогда ничего не рассказывал.

Но пальто-то — вот оно, мальчик в нем уходит в школу и возвращается в нем, играет в нем в снегу, оно теплое и, похоже, неплохо сшито. Иногда он по-своему, по-детски смотрит на него как на особенную вещь, которая служит чему-то и живет своей собственной жизнью. Точно так и шинель прожила свою собственную жизнь: сначала стол закройщика, потом вешалка на каком-нибудь военном складе в Германии, потом служила немецкому солдату, в ней тот и погиб, а потом партизану, в которой того ранили, хотя она, несмотря на немецкое происхождение, надежно сберегала его от холода и дождя. В конце войны на ее погонах появятся пятиконечные звездочки, а там, где бьется сердце — орден. После она несколько лет провисит в шкафу, потом несколько недель в коридоре на вешалке, без звездочек и ордена, — и так вплоть до своей новой жизни после перекраивания и перекраски, оказавшись в свой синий период на Милораде.

В день, когда он впервые надел пальто, девочка из его класса спросила:

— У тебя новое пальто?

А настоящее новое пальто, светло-зеленое, дорогое, носит она, хотя ее отец не участвовал в победоносной войне.

— Да, — отвечает мальчик, и ему стыдно за свою ложь.

Она тоже видит, что пальто не новое, но только добавляет:

— Великовато тебе.

Он хотел бы ей сказать, что пальто, особенно детские, быстро становятся короткими, а рукава еще скорее делаются тесными, с пальто отрываются и исчезают пуговицы, локти протираются... Сказать ей, что рукава спасти невозможно, разве только наставить их прямоугольными кусками сукна, и тогда они не выглядят как заплатки? Она ведь наверняка не знает этого. Но он промолчал.

Накануне третьей зимы, после того как ему сшили пальто, мальчик поколебался несколько недель, но потом все-таки сказал маме:

— Надоело мне это пальто.

— Ты должен относить его этой зимой, — сказала мама, хотя он догадался, что она не прочь была бы купить ему новое.

Вот прошли и зима, и весна, а пальто все еще в доме. Но она все-таки надеется, что к началу следующей зимы отдаст его какому-нибудь маленькому бедному ребенку. Впрочем, к концу осени, когда наступают холода, пальто все еще висит в шкафу. И хотя мальчик мерзнет по дороге в школу, менять куртку на пальто не хочет. Однажды утром он решается спросить маму:

— Ты купишь мне новое пальто?

Мамин взгляд призывает его к терпению, она вскоре что-нибудь придумает. И смотрит на отцовское пальто на вешалке, первое, которое он носил после войны, после шинели.

2

Несмотря на то что он учился только на “отлично”, строгий отец пожелал как можно скорее устроить его на работу, чтобы он не сидел у него на шее, и потому сначала отправил его служить срочную, а потом — к дяде в Загреб, поработать в тамошней монтажной фирме, которая несколько недель спустя послала его и еще двенадцать человек в Словакию, в Братиславу, на строительство новых цехов нефтеперерабатывающего завода. Сначала он работал со словаками, а через несколько месяцев — с французами, технология в то время была японской, так что он познакомился и с двумя японцами, в частности, с Ямамото Коджи, инженером из Токио. Зарплата у него была хорошая, в три раза больше, чем у словаков и всего в три раза меньше, чем у французов. Еще раньше в Братиславу приехал работать его родственник, так что они вместе поселились в гостинице “Татра”, в центре города. Работали днями напролет, иногда и по воскресеньям.

Через несколько месяцев во время поездки в Вену с родственником, ради которой пришлось отпроситься у шефа на

один день, он купил пальто из джинсовой ткани, длинное, ниже колена, гармонирующее с его волосами, джинсами, ботинками и, главное, совпадающее с его музыкальными предпочтениями. По телевизору он видел такое пальто на Мике Джаггере, разница была лишь в том, что у Мика Джаггера пальто было кожаное.

Купив что-нибудь новое из одежды, он долго не решался надевать обновку, полагая, что она будет слишком бросаться в глаза. Так и это пальто провисело у него в шкафу два месяца, прежде чем он впервые надел его. И в самом деле, когда он начал носить его, а носить он его мог, в основном, только в сумерках, или вечером, после работы, или если становилось прохладно, ему казалось, что все смотрят на него, в то время как он со своим родичем, а иной раз и с Ямомото Коджи, прогуливался по городу, заходили в "Вечку", где собирались студенты, или в гостиницу "Киев", куда нередко заглядывали и девушки. Он отрастил длинные волосы, что тогда было редкостью в Словакии, потому что словаки жили за железным занавесом и отставали от западной моды как минимум на десять лет. И у Ямамото Коджи были длинные волосы, с ним все объяснялись весьма успешно — с помощью мимики и жестов, при этом громко смеялись.

Теперь он задумывался над тем, почему некоторые животные, птицы или, скажем, обезьяны, при каких-то обстоятельствах стараются выглядеть иначе, не так, как обычно: надуваются, растопыривают перья, при этом волосы у них встают дыбом, а гребни наливаются кровью, некоторые части тела они выпячивают и криками, или издавая какие-то звуки, пытаются испугать противника или привлечь особу женского пола. Большинство покрытых шерстью животных линяют весной и обзаводятся новой шкурой к зиме, иные птицы меняют цвет перьев, пользуются мимикрией, чтобы укрыться от хищника или подстеречь жертву. А ему в новом пальто всегда как-то неуютно, ему кажется, что он слишком бросается в глаза и постоянно ощущает на себе взгляды незнакомых ему людей.

Однажды он одолжил это свое джинсовое пальто приятелю своей девушки, который очень хотел показаться в нем на какой-то вечеринке. Больше он своего пальто не видел, потому что тот парень, что был чуть старше его, сказал, что на той вечеринке пальто украли, а новое он купить ему не может, потому что нет денег, да и найти такое же негде. Он, конечно, нисколько не поверил в эту сказку, а распрощавшись с пальто, обогатил свой жизненный опыт еще одним происшествием, которыми так щедро одаривает нас жизнь, но с ко-

торыми мы иной раз даже не успеваем толком ознакомиться, потому что жизнь та самая не очень-то и долгая.

3

Дафлокт был куплен в Загребе в те времена, когда хиппи рассматривали такое пальто как эстетически привлекательный и весьма практичный предмет верхней одежды. Пальто было черного цвета, с деревянными палочками вместо пуговиц, также окрашенными черной краской, с кружочками черной кожи, к которым были пришиты эти палочки, с вертикальными карманами и, разумеется, с капюшоном. Оно было хорошо скроено и добротно сшито из достаточно толстого материала, из валяной шерсти, и хорошо держало форму. Человек, одетый в это пальто, был тогда уже студентом кафедры иностранной литературы на филологическом факультете в Белграде, куда он поступил поздновато, потому что сначала отслужил армию, а потом трудился в загребской фирме, работал в Лейпциге и Братиславе, и там он заметил, что это его пальто, или он в этом пальто, привлекает внимание девушек. А когда он неожиданно получил очень важную для молодых писателей премию, и по телевидению показали короткое интервью с ним, незнакомые девушки на улице Князя Михайлова, завидев его, принимались выкрикивать фамилию писателя, именем которого названа премия, полагая, что его самого зовут именно так. Тем не менее он был уверен, что запомнили они не его лицо, а его дафлокт.

Однажды, сдав его в гардероб Национального театра, он забыл в нем все свои документы и все деньги, которыми располагал на тот момент. И тогда он проерзал весь спектакль, опасаясь, что не найдет ни документов, ни последних денег. В другой раз, в клубе писателей, в полночь после затяжной пьянки с двумя поэтами, у него исчез бумажник. Случилось это после экономического кризиса, во время кратковременной стабильности и резкого роста жизненных стандартов в течение нескольких месяцев так называемых реформ Марковича, то есть во время последних попыток сохранить единое государство и в таком виде войти в Европейский союз. Наутро все в том же дафлокте он с одним из поэтов-собутыльников отправляется в этот клуб, чтобы узнать, не нашли ли официанты или кто-то из посетителей его бумажник. Бумажник исчез бесследно, и он в полной растерянности направляется в скверик рядом со школой, через который прошел минувшей ночью, надеясь найти утрату. Но и там бумажника не было.

С тех пор он чувствовал себя неуверенно в этом пальто. Ему казалось, что тот вечер стал предвестником конца эпохи оптимизма и все последовавшие в конце восьмидесятых события способствовали укреплению в нем этого чувства. Теперь дафлокт, этот свой любимый предмет верхней одежды, по которому его узнавали многие, он надевал редко, только когда отправлялся на прогулки за город, на Авалу или в Кошутняк, или по берегу Дуная. Несколько раз он хотел выбросить его или подарить кому-нибудь, однако вот оно, все еще висит в шкафу, рядом с тем синим, детским, первым зимним пальто. Примерно раз в год он все же запускает руку в его карманы со слабой надеждой обнаружить в них тот самый бумажник.

4

Теперь он раздумывал о том, какое пальто следует купить и носить, когда у него появятся деньги на дорогое, отличное пальто. Он ничуть не сомневался, что в один прекрасный день у него окажется столько денег, что их хватит не только на пальто. Подразумевался наилучший английский материал, темно-серый, с узором в едва заметную полоску, напоминающую, возможно, рыбий скелет, шелковая подкладка, отличные пуговицы соответствующего цвета. Он представлял и крой такого пальто, сшитого по мерке, с двумя хлястиками крест накрест, которые пристегиваются на два ряда пуговиц, слегка зауженное в талии, с воротником и лацканами средней ширины, пальто, которое на пол-ладони ниже колена. Он и теперь иной раз спрашивает себя, было ли вообще такое пальто когда-либо сшито или же это просто его фантазия.

Тем не менее он так и не решился заказать подобное пальто портному, даже заработав деньги, а купил кромби, которое было очень похоже на придуманное им идеальное пальто... Это было единственное кромби, которое он сумел найти в городе. Его материал был с серой и коричневой имитацией рыбьих ребрышек, пальто классического кроя со слегка подчеркнутой талией, но и оно не совсем соответствовало задуманному фасону.

Тогда ему уже исполнилось сорок, и ему казалось, что люди обращают на него внимание, а кое-кто считает его важным господином, именно из-за этого пальто, бросающегося в глаза, как некогда джинсовый балахон или дафлокт.

Однажды он оказался в маленьком городке на западе страны, на границе с Боснией. После обеда он выступил в местной гимназии, а после лекции и беседы с учениками и препо-

давателями ему захотелось побыть одному, и, попросив хозяев не провожать его, он направился в город с намерением прогуляться по улицам и вдоль реки. Во время прогулки он проголодался и заглянул в ресторан тамошнего отеля.

Он полюбил гостиницы еще с тех времен, когда жил в братиславской "Татре", и частенько ему приходило в голову, особенно когда начал писать, что мог бы все время жить в гостиницах, потому что это отличное место для писателя: оно позволяет свободно располагать временем. И Тесла, земляк его прадеда, который был не только ученым, но и в некотором роде поэтом, тоже жил в гостинице.

Кромби он оставил в гардеробе. В ресторане пробыл час, выпил там два бокала вина, поглядывая сквозь широкое окно на реку, протекавшую рядом с гостиницей, на реку, которую так прекрасно описал Андрич.

Из гостиницы он вышел за полчаса до отправления автобуса на Белград. Взял в гардеробе пальто и не спеша отправился к автовокзалу, что был в десяти минутах ходьбы от гостиницы. И только пройдя метров сто по темной набережной, он почувствовал, что правая сторона пальто как-то отяжелела, что-то оттягивало его к земле. Он опустил руку в правый карман и обнаружил в нем какой-то предмет, завернутый в бумагу. Он сразу догадался, что это был пистолет, причем не маленький. Он растерялся, не зная, что предпринять, тем не менее, старался вести себя так, чтобы никто ничего не заметил, и продолжил идти к автовокзалу. По дороге поднес к глазам рукав: да, это были рыбьи ребрышки. А когда рядом никого не оказалось, он снял пальто, чтобы лишний раз убедиться в том, что это его кромби. Все было на месте — и карманы с клапанами, и пуговицы, и запах оно издавало такой знакомый. Он мысленно прикинул несколько вариантов. Кто-то по ошибке сунул пистолет вместо своего кармана в его. Может быть, тому человеку, решившему посидеть в ресторане, этот пистолет мешал, и он отправился в гардероб, чтобы положить его в оставленное там пальто, а гардеробщик по ошибке дал ему другое, очень похожее пальто. Или это сделал кто-то, кому надо было немедленно освободиться от оружия, потому что полиция преследовала его по пятам. Возможно, кто-то, сговорившись с гардеробщиком, специально сунул пистолет ему в карман, чтобы некто в Белграде перехватил его и отнял пистолет. Не исключено, что это сделал сам гардеробщик, а может, это была какая-то полицейская подстава. Пограничный город, в котором он был, стал криминальным местечком и вотчиной контрабандистов. На другом берегу, в Боснии, все еще шла война. Перейдя на освещенную сторону набережной, по которой прогуливались лю-

ди, он подумал, что за ним, вероятно, следят, и кто-то может подойти и отнять у него свой пистолет. Наверно, лучше всего было бы выбросить пистолет в реку. Но он не стал этого делать. Кто-то мог увидеть.

Он отвез пистолет в Белград. Но и там не выбросил его, и не сдал, хотя поначалу решил, что обязательно это сделает.

Никто никогда так и не востребовал этот пистолет. Вот он и сейчас в шкафу, в правом кармане его кромби.

5

Когда-то давно он мечтал, а потом и решился сшить или купить добротное, отлично скроенное пальто из хорошей материи. Таким пальто в некотором роде стало кромби, которое висит в шкафу, но сегодня оно состарилось, превратилось в весьма потрепанное пальтецо. Моль побила его, оно уже не выглядело так, чтобы старый человек, которым он уже стал, мог чувствовать себя в нем важным господином. Да и тяжеловат кромби для его уже состарившихся плеч. Он думает: лицо, волосы, если они есть, фуражка, шляпа или шапка, галстук, платок, шарф, рубашка, брюки, ботинки... Таким видят человека, таким его воспринимают, когда он зимой выходит на улицу. Классическое длинное зимнее пальто – семьдесят процентов впечатления о человеке зимой, и этими процентами нельзя пренебрегать.

Теперь он раздумывает не о каком-то дорогом, а о самом обыкновенном, но, тем не менее, о добротном пальто, в котором ему будет тепло и которое станет достойным отражением его личности. Он хочет быть в этом пальто самим собой, хотя, как и многие другие, он не очень-то знает, а что он собственно из себя представляет.

И опять-таки нет смысла покупать новое пальто, потому что он уже которую зиму редко выбирается на улицу, так что вряд ли когда представится возможность показаться в новом пальто. Да и старая проблема, возникающая всегда, когда приходится надевать обновку, никуда не делась. Трудно приучить других людей к своему появлению в новом пальто, но еще труднее самому привыкнуть к своему новому облику!

У него есть хорошая теплая куртка с меховой подстежкой на молнии, он в ней ходит все последние зимы. Но ничто не может заменить пальто, и вот однажды ранним утром он надевает эту свою куртку, обматывает шею шарфом, водружает на голову шляпу, обувает высокие ботинки, натягивает перчатки и отправляется в город на поиски хорошего пальто. Разумеется, предупреждает он сам себя в самом начале поиска,

это не означает, что, если он и найдет такое, да еще и по приемлемой цене, вовсе не означает, что его следует немедленно купить, потому как сколько есть причин купить *еще одно* хорошее пальто, ровно столько же есть причин и не покупать его, так что, возможно, не стоит думать и о покупке. и о предстоящих поисках этого пальто.

Тем не менее он решился отправиться на поиски, и в первый же день обнаруживает очень красивые и добротные пальто, разумеется, с некоторыми недостатками, потому что нет такого пальто, у которого не было бы недостатков. И вот из-за этих мелких недостатков — к ним можно отнести нюансы дизайна, или оттенок ткани, или слишком узкую или слишком широкую талию, фасон воротника и лацканов, карманы, пуговицы — он продолжает обходить магазины, универмаги и торговые центры, чтобы отыскать пальто, которое хоть немного походило бы на то, о котором он мечтает две трети своей жизни, на его идеальное пальто.

Изо дня в день становится все холоднее, идет дождь пополам со снегом, а потом повалил и густой снег, а он все ходит по городу и ищет пальто. Обошел столько магазинов в центре, целый день посвятил бульвару Короля Александра, был в "Меркаторе", в "Устье", в "Дельта-Сити" и еще в нескольких торговых мегацентрах. Повидал множество пальто, внимательно рассмотрел их со всех сторон, некоторые примерил. Между тем на покупку все же не решился. Неделя прошла, а он все не может купить пальто и потому продолжает искать его с утра до позднего вечера, в рабочие и выходные дни.

Наверно, я сбрендил, думает он, или меня охватила какая-то пальтомания, раз я не могу ни на чем остановиться?! К чему все это приведет? Так ведь недолго и помереть от холода и усталости! В Новом Белграде в метель на меня могут напасть бродячие псы или уличные бандиты, и я так никогда и не куплю пальто!

С течением времени он становится все более разборчивым, придумывает для своего идеального пальто все новые обязательные детали, а некоторые из прежних отбрасывает навсегда. Он так далеко зашел в размышлениях об этих деталях, что пять дней спустя уже знал в них каждый шовчик и прорезь, знал, казалось ему, как будет выглядеть это пальто, когда он будет ходить в нем быстро, а когда медленно, и когда он будет сидеть в нем, и как это пальто будет выглядеть на вешалке. Но в какое-то мгновение, примерно на десятый день поисков, он понимает, что именно из-за такой озабоченности деталями теряется общий облик этого его идеального пальто. Когда он, промерзший и усталый, возвращается вечером домой, то по-

нимает, что именно из-за этого, из-за этих несчастных деталей, становится все труднее найти именно его пальто. И те пальто, что он видел первыми, и те, которые исследовал в пятый раз, все больше теряют сходство с идеалом.

Он размышлял об этом следующие несколько дней, все более беспокоясь, однако продолжал обходить магазины. И вот на пятнадцатый день поисков — уже опустилась ночь, дует сильный ветер и метет снег — он идет пешком от "Меркатора" к "Устью". В минувшие дни он уже пять раз побывал и в одном, и в другом торговом центре, пять раз пересмотрел все пальто, по меньшей мере, штук десять примерил, но вот в шестой раз побывал в "Меркаторе" и теперь в шестой раз направляется в "Устье", чтобы еще раз посмотреть тамошние пальто и тем закончить напряженный день. После "Устья" планирует сесть в 16-й на автобусной остановке у бензоколонки "Дейтон", чтобы вернуться в Старый Город, в свою квартиру. Вдруг он останавливается на бульваре Михаила Пупина, на полпути от "Меркатора" к "Устью". Стоит и смотрит на Дворец федерации, стоит и пытается связать свою внезапную остановку с тем, что видит перед собой, и с целью своих поисков. Он никак не может увязать эти три обстоятельства, может быть, какая-нибудь четвертая вещь, какая-то мелочь вроде пуговицы станет оправданием и объяснением того, что он сейчас стоит на этом самом месте как вкопанный. Снег валит, метель метет, а он стоит себе и не может найти ту самую четвертую вещь. Никак не может вспомнить, что это — пальто. Так и стоит, а снег идет.

Поль Верлен

“Все остальное в пределах текста”

Перевод с французского и вступление Михаила Яснова

”Исправление отклонений”

Существует определение, которое я позаимствовал у летчиков: “Полет самолета, — говорят они, — это исправление отклонений”. Кажется, эта формула применима и к художественному — прежде всего, поэтическому — переводу; она встает в один ряд с известными словами М. Л. Лозинского о переводе как искусстве потерь, или с теорией функциональных соответствий А. В. Федорова, или с замечанием Иосифа Бродского о поиске “эстетического баланса” при переводе.

Собственно, “исправление отклонений” — это о переперевоже.

Что подвигает современных переводчиков переводить заново то, что уже вроде стало классикой? В молодости мы не раз заводили романтический разговор о том, что, возможно, самым идеальным для культуры была бы попытка каждого поколения перевести заново всю мировую литературу. При безусловной абсурдности этого утверждения, время от времени созревают обстоятельства, все-таки заставляющие переводчиков обращаться к уже переведенным и вошедшим в родную культуру творениям

© Михаил Яснов. Перевод, вступление, 2017

прошлого и осмысливать их — если и не по-новому, то, по крайней мере, по-своему.

В каждом поколении подспудно нарастает недовольство прежними интерпретациями классики: меняется язык, проясняются исторические реалии, снимаются разного рода идеологические и этические запреты, а главное — значительные образцы литературного прошлого всегда современны. Приспособить их к злобе дня, высказать с их помощью наболевшее сегодня — святое дело.

Перевод в определенном смысле счастливей оригинальной литературы: он предполагает полиавторство, растянутое во времени. Каждое новое прочтение выделяет в переводимом тексте то существенное, на что обращаешь внимание именно сегодня. Хотя вообще-то сам факт того, что классика все чаще переводится заново, причем этот процесс достаточно лавинообразный и захватывает многие культуры, возможно, свидетельствует и о том, что мы как цивилизация движемся к новой эстетике, при которой, в частности, работа переводчика поэзии, в каждом конкретном случае новаторская, в целом становится все более консервативной. Пользуясь известным определением, я бы назвал это состояние умов: в ожидании варваров.

Предлагаемая подборка из лирики Поля Верлена — это переводы из самой что ни на есть верленовской "классики". Вышедший пару лет назад в "Литературных памятниках" двухтомник Верлена показал, насколько богата традиция интерпретаций его стихов на русском языке и насколько она открыта новым толкованиям и формальным решениям. В этом многообразии — залог непреходящего интереса отечественных читателей к французскому поэту, который, по словам Е. Г. Эткинда, "не столько личность, сколько медиум внешних сил, игралище стихий. Поэтому он с такой пристальностью и каким-то мистическим ужасом всматривается в себя, в свою душу". В таком взгляде "вовнутрь" каждый переводчик располагает своей оптикой. Ее чистота и точность определяют открытие новых глубин оригинала.

N*evermore*

Что, память, хочешь ты, что хочешь ты?.. В осеннем
Застывшем небе дрозд стремительным движеньем
Чертил свой след и свет скользил с изнеможеньем
Сквозь кроны желтые с их ветром и смятеньем.

Вдвоем, рука в руке — о, этот тайный пыл! —
Мы шли, мечтая вслух, и ветер нас томил,
И вдруг смущенный взгляд меня остановил:
"Каким он был, тот день, когда ты счастлив был?"

О голос ангельский, как нежен он, как светел!
Я на вопрос ее улыбкою ответил
И к бледным пальчикам молитвенно приник.

Как много по весне цветов благоуханных!
И сколько лепета смущенного в тот миг,
Когда впервые “да” слетает с губ желанных!

Ч*аяние*

О вожделение, о первые любови,
Цветущие тела, и этот жадный взгляд,
И плоти молодой и близкой аромат,
И ласки чистые и робкие — всё внове!

Увы, былой восторг затих на полуслове,
Не оживить любви и не вернуть назад,
И солнце не блеснет сквозь черный снегопад,
А скука, и тоска, и горечь — наготове.

Я мрачен, одинок и всеми позабыт,
Я камня холодней среди могильных плит,
Я жалкий сирота, покинутый сестрою.

А женщина, в любовь играя и шутя,
Бывает так мила и так нежна порою
И вас целует в лоб, как бедное дитя!

Т*оска*

Природа, всё в тебе мне скучно — и в полях
Обильные хлеба, и отзвук пасторалей
На сицилийский лад, экстаз рассветных далей
И скорбных сумерек торжественный размах.

Искусства, человек, поэзия, в церквях
Витые лестницы, подобие спиралей,
Что пустоту небес издревле подпирали,
Добро и зло — мне всё посмешище и прах.

В Творца не верую и вовсе не скрываю,
Что мыслить и любить от века презираю
И слышать не могу о пошлости страстей.

Устав от жизни, я, страшась, бегу от смерти;
Как жалкий парусник, под ветром, без снастей,
Душа моя вот-вот исчезнет в круговерти.

Призраки ночи

Темнеет. Льет и льет. Готические шпили
На тусклых небесах сквозь ливень проступили,
И стены с башнями, и острия зубцов.
Развилка. Виселица с кучей мертвецов.
Так жадно воронье слетается к приманке,
Что в пляске бешеной заходятся останки,
Покуда волки обгрызают им ступни.
Кругом лишь остролист да чахлый терн, одни,
И те от ужаса трясутся всей листвою,
И, словно сажею, земля покрыта мглою.
Трех жалких узников, синюшных и босых,
Ведут копейщики, и протазаны их,
Как зубья бороны, ощерены и гладки, —
И с копьями дождя сошлись в смертельной схватке.

Сентиментальная прогулка

Закат сгорал, но горизонт был светел,
Кувшинки на пруду баюкал ветер,
Тяжелые кувшинки в камышах
Мерцали на безжизненных волнах.
Я брел один, залечивая рану,
Брел вдоль пруда, под ивами, туману
Поведав тайну горестей моих;
И он, как призрак всех скорбей земных,
Мне отвечал, тоску мою усилив,
Утиным криком и биеньем крыльев
Под ивами, где я под вечер брел,
Залечивая рану; в темный дол
Спускалась ночь, но горизонт был светел,
Закат сгорал, пока баюкал ветер
Кувшинки на безжизненных волнах,
Тяжелые кувшинки в камышах.

Час свиданий

Краснеет лунный диск почти впотьмах,
Туман дымится по низинам, пряча
Во мгле округу, песня лягушачья
Слышна в зеленых зыбких тростниках.

Кувшинки на воде спешат закрыться,
А призраки высоких тополей
Уходят вдаль, чем дальше — тем черней,
И светлякам в кустах давно не спится.

Тяжелокрылый, улетая прочь,
Бесшумный филин сумрак созерцает,
И в небе все отчетливей мерцает
Всходящая Венера. Это — Ночь.

Лунный свет

Твоя душа похожа на пейзаж,
Здесь маски бергамаскам строят глазки,
Здесь и поют, и пляшут, но не дашь
И медного гроша за эти пляски.

Напев их грустен, грустен он и тих,
Поют любовь, властительницу юных,
Но так, как будто счастье не для них,
И музыка, в лучах мерцая лунных,

Таких же грустных, как напев струны,
Укачивает птиц и усыпляет,
И рвется водомет на свет луны,
И падает на мрамор, и рыдает.

Шествие

В парчовой курточке зверек,
У ног ее мартышка скачет,
Пока она искусно прячет
В перчатку кружевной платок;

От напряжения краснея,
Шуршащих юбок чуткий страж,
Переступает черный паж,
Тяжелый шлейф неся за нею;

Мартышка с ревностью глядит
На груди пышные хозяйки,
Что возбуждают без утайки
Любой досужий аппетит;

А черный плут спешит украдкой
Шлейф приподнять чуть-чуть — и там
Увидеть то, что по ночам
Его терзает лихорадкой.

Ей все одно, что плутовство,
А что — слепое обожанье:
Идет, оставив без вниманья
Восторг зверинца своего.

* * *

Вся грация и все уловки,
Всё, что пленит в шестнадцать лет,
Любовь и нежность без рисовки —
С ней всё является на свет.

Очами ангела взирая,
Не взяв ни помысла в расчет,
Она внушает мысль о рае
Тому, кто поцелуя ждет.

Рукою, маленькой такою,
Что и колибри негде сесть,
Любое сердце за собою
Уводит, а куда — Бог весть!

Чуть что — к душе ее стремится
На помощь трезвый ум; она
Провидит все, что совершится,
И непорочна, и умна.

Сочувствие ни в грош не ставит,
И веселится без забот,
И, если верной музой станет,
Глядишь, до дружбы снизойдет,

А может быть, любовью страстной
Она поэта одарит,
Что под окном ее — несчастный! —
Тропу победную торит

И вечной песней без названья,
Фальшивых избегая нот,
Свои душевные страданья,
Как на духу, передает.

* * *

Луною бледной
Наполнен бор,
Листву победный
Озвучил хор.
О, гимн незримый!

Тебе — любимой...

В пруду — движенье
И волн извив,
И в отраженьи —
Дрожанье ив.
О, ветра слезы!

А нам — всё грезы...

Волною нежной
На дол и лес
Покой безбрежный
Плывет с небес.
О, звезд сиянье!

Пора желанья...

* * *

Пьянь грязных кабаков, платанов дряхлый сброд,
И чернота листвы, и лужи нечистот,
Разбитый омнибус, дрожащий в лихорадке,
Скребется брюхом по разъезженной брусчатке,
Вращая красным и зеленым фонарем,
Пока рабочий люд в свой клуб валит валом,
Из носогреек дым пуская в нос ажанам,
С крыш льет, по стенам слизь, потоком неустанным
Сквозь дыры в мостовой стекают цвель и муть —
И это путь мой в рай, мой ежедневный путь.

* * *

Соломинкой в хлеву надежда золотится.
Пускай жужжит оса, бессильная в жару,
Да солнце светится сквозь пыльную дыру,
Облокотись на стол. Ну что, тебе не спится?

Печалится душа, но есть еще глоток
Колодезной воды. Пригубь и спи. Я рядом.
Я сон твой сторожу своим бессонным взглядом.
Что ты пробормотал? Как детский сон глубок!

Пробило полдень. Спи. Сударыня, не стоит
Входить: усталый мозг, как гулкий свод, удвоит
Беспечный звук шагов... О, этот женский шаг!

Пробило полдень. Пыль водой кроплю весь день я...
Надежда камешком, скатившимся в овраг,
Сверкнет... О, где же ты, осенних роз цветенье?

* * *

Темней темноты
В душе моей ныне.
Усните, мечты,
Прощайте, святыни!

Не вижу ни зги,
Все кануло в бездну –
Друзья и враги...
И сам я исчезну!

Как зыбку, меня
Качают с рожденья...
Ни ночи, ни дня –
Забвенье, забвенье!

* * *

Из леса рог доносится, как стон,
Так по-сиротски, кажется, вздыхает,
И ластится к холму, и затихает,
А лай собачий ветром унесен.

Рог плачет с волчьим воем в унисон,
А солнце, опускаясь, полыхает,
И кажется, оно не отдыхает,
А умирает, вместе — смерть и сон.

И словно в подтвержденье этих пеней,
Как корпия, ложится снег осенний
И кровь заката силится унять;

А воздух вздохов до того прозрачен,
Что, как во тьме окрестности ни прячь, он
Не скроет, как светлы они опять.

Поэтическое искусство

Шарлю Морису

Музыка — вот что на первом плане!
Нечетносложный держи размер,
Это подобье воздушных сфер:
Все невесомо, зыбко, в тумане.

И вот еще что не забудь: слова —
Темное к ясному подбирая.
Чем нам по нраву песня хмельная?
Тем, что таким подбором жива.

Этими взглядами под вуалью,
Этим летним зноем внахлест,
Этим сумбуром осенних звезд,
Охлажденных безмерной далью!

И вот еще что: не забудь намек,
Оттенок, который сквозит и тает,
Лишь он оправданно сочетает
Мечту с мечтой, а с флейтой рожок.

Пошлая шутка и смех порочный —
Гони взашей финальную дурь:
От них рыдает моя лазурь,
От этой кухни, насквозь чесночной!

А красноречью — под зад ногой!
Прочь, аномальное говоренье!
Рифму умерь, прояви терпенье,
А то уведет тебя за собой.

Кто же придумал эту пустышку —
Безумный дикарь? Глухое дитя?
Она позванивает шутя,
Но много опасного в ней излишку.

Музыку, музыку мне яви,
Чтобы стих твой, душой лелеем,
Уплывал за ней по аллеям
В другое небо, к другой любви.

Пусть он, стих твой, заложник бегства,
От рассветного ветра пьян,
Пахнет, как мята или тимьян...
Все остальное — в пределах текста!

Ричард Престон
Война с вирусом Эбола

Как геномические исследования помогают сдержать распространение эпидемии

Перевод с английского Александра Авербуха

Вспышка инфекционного заболевания, не менее опасного, чем появившийся в начале 1980 годов ВИЧ[1], началась, по-видимому, 6 декабря 2013 года в деревне Милиэнду (Гвинея, Западная Африка) со смерти двухлетнего мальчика, страдавшего от диареи и лихорадки. Теперь известно, что он заразился вирусом Эбола, паразитической формой живого, обитающей в каких-то до сих пор не выявленных организмах Экваториальной Африки, то есть в его естественной среде. Это может быть животное, вроде летучей мыши, но также и мелкий паразит, живущий на ее теле, например, кровососущее насекомое, в частности, клещ. До настоящего времени вирус Эбола вызвал несколько небольших, но опустошительных вспышек в Центральной и Восточной Африке. Работники здравоохранения смогли быстро прекратить распространение болезни, и в медицинских и научных кругах стало бытовать мнение, что ее возбудитель не представляет собой серьезной опасности. Передавался он только при прямом контакте через кровь и другие жидкости тела, и создавалось впечатление, что это его свойство не претерпевает во времени сколько-нибудь значительных изменений.

От зараженного мальчика болезнь передалась его матери, трехлетней сестренке и ее бабушке, которые тоже умерли. Затем вспышка вышла за пределы деревни и охватила население Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Поскольку ни вакцины, ни эффективных средств лечения лихорадки Эбола не существует, единственное, что можно сделать для того, чтобы

© Richard Preston
© Александр Авербух. Перевод, 2017

1. Вирус иммунодефицита человека. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

остановить распространение инфекции, — это заблокировать естественный способ образования "цепочек", то есть не дать возможности вирусу передаваться от человека к человеку. Работники здравоохранения должны выявлять инфицированных людей, изолировать их и наблюдать за всеми, с кем они находились в контакте. Все это нужно, чтобы вирус не мог заразить кого-то еще, дав начало новой "цепочке" заболевших. Врачи и другие работники здравоохранения в Западной Африке упустили контроль над такими "цепочками". Слишком многие заболели лихорадкой Эбола, более двухсот медиков умерло. Медицинские власти в Европе и США, по-видимому, берутся предотвратить распространение вируса Эбола на своих континентах, но тревожатся о последствиях появления вируса в таких городах, как Лагос (в Нигерии) или Калькутта (в Индии). Число заболевших вирусом Эбола в настоящее время неизвестно, одних только зарегистрированных случаев насчитывается девять тысяч, из них четыре с половиной тысячи смертных, причем число зарегистрированных удваивается каждые три недели и, судя по всему, давно преодолело верхний порог для "вспышки", и теперь характер распространения заболевания попадает под определение "эпидемия"[1].

Вирус Эбола передается от человека к человеку чрезвычайно легко. Экспериментальные данные показывают, что для наступления смертельного исхода достаточно попадания в кровяное русло единственной вирусной частицы. По-видимому, именно из-за этой легкости столько медиков, имевших дело с больными данной лихорадкой, не могут вспомнить своих ошибок, приведших к заражению ею. Одним из ворот инфекции считают слизистую оболочку века, к которой человек может бессознательно прикоснуться кончиком пальца, несущим на себе возбудителя. Считается, что можно заразиться, в частности, при прямом контакте с потом и кровью, которые содержат высокие концентрации частиц Эбола. Зараженные обильно потеют и в некоторых случаях у них возникают внутренние кровотечения, так что рвотные массы и испражнения могут содержать их кровь, а значит, и вирусные частицы.

Несмотря на высокий процент смертности среди заболевших лихорадкой Эбола, сам вирус является жизненной формой загадочной простоты. Его частица состоит всего из шес-

1. Как правило, при эпидемии заболевает не менее 5 % численности населения данного региона.

ти структурных белков[1], соединенных друг с другом так, что целое напоминает жгут из нескольких сваренных спагетти. Ширина одного вируса примерно восемьдесят нанометров, длина — тысяча нанометров. Если бы он в поперечнике был размером со спагетти, то человеческий волос имел бы диаметр примерно 12 футов (365.76 см) и толщину со ствол гигантского дерева.

Попав в кровяное русло, частица движется током крови в организме пораженного человека, прикрепляется к какой-либо клетке, проникает в нее и овладевает ее генетическим механизмом, заставляя его копировать гены вируса. Например, многие риновирусы[2] размножаются таким образом в слизистых оболочках околоносовых пазух и горла. Вирус лихорадки Эбола поражает многие ткани организма сразу. Он не затрагивает скелетные мышцы и кости, но тяготеет к клеткам, выстилающим изнутри кровеносные сосуды, особенно в печени. Примерно через восемнадцать часов зараженная клетка становится похожей на клубок спутанной пряжи, из нее высвобождаются в виде нитей тысячи новых частиц Эбола. Отдельные частицы отделяются от нитей, током крови разносятся по сосудам и прикрепляются к новым клеткам, которые могут быть расположены в любой части тела. Зараженные клетки начинают выбрасывать все новые множества частиц Эбола, которые заражают все новые и новые клетки. Наступает момент максимального нарастания численности вирусных частиц. Зараженные клетки погибают, что приводит к разрушению тканей по всему организму. Этим может объясняться сильнейшая боль, которую испытывают страдающие лихорадкой Эбола. Работа пораженных органов нарушается, состояние пациента резко ухудшается, и наступает смерть. В летальных случаях капля крови размером с букву "о" в этом тексте вполне может содержать сто миллионов частиц вируса Эбола.

В каждой такой частице имеется трубка, состоящая из перекрученных молекул белков, которая вытянута по ее длине, как полый рукав. В электронный микроскоп видно, что внутренняя поверхность такого рукава не гладкая, а несет бороздки и выступы. Как и все остальное в вирусе, этот рукав сформирован естественным отбором в процессе эволюции. Эбола относится к филовирусам, некоторые формы которых сущест-

1. Автор забывает здесь упомянуть о молекуле РНК, которую защищают эти молекулы белка.
2. Наиболее распространенные возбудители инфекционных заболеваний человека, обычная причина, например, простуды.

вуют уже на протяжении миллионов лет. Внутри этого рукава невидимая даже в мощный микроскоп находится цепочка РНК, то есть молекула, содержащая генетический код вируса, или иначе геном. Эта молекула содержит нуклеотидные основания — "буквы алфавита", которым записан текст РНК. Эти буквы, расположенные в определенной последовательности, в совокупности представляют собой набор инструкций, позволяющих вирусу, в конце концов, копировать самого себя, используя генетический аппарат пораженной клетки. Геном вируса Эбола, свирепствующий сейчас в Западной Африке, состоит, по недавним подсчетам, из 18959 букв, что немного, если сравнивать с другими ныне живущими организмами. У вирусов вроде Эбола, генетический код которых содержит РНК [а не ДНК. — *А. А.*], в процессе размножения [копирования наследственной информации. — *А. А.*] случаются ошибки, которые называются мутациями. В настоящий момент генетический код вируса претерпевает изменения. По мере того как вирус Эбола вступает во все более тесные отношения с нашим видом, вопрос о том, как именно мутирует вирус, для всякого человека, живущего на Земле, приобретает особое значение.

Правительственная больница Кенема в Сьерра-Леоне представляет собой множество приземистых, раскрашенных желтым и красным зданий из шлакоблоков с ржавыми металлическими крышами, растянувшихся по склону холма неподалеку от центра города Кенема. Как говорят медицинские работники, здесь всегда много больных и их близких. Сам город расположен в плодородной холмистой местности, по которой там и сям разбросаны мелкие деревни. В девяноста милях к северо-востоку от Кенема под углом примерно сто двадцать градусов сходятся границы Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии. Прилегающая к этой точке территория и стала местом вспышки лихорадки Эбола. Больница Кенема десятилетиями существовала в виде специализированного блока на двенадцать коек, который назывался "Палата для больных лихорадкой Ласса, учрежденная в рамках исследовательской программы". Лихорадку Ласса вызывает вирус с таким же названием, который, по классификации вирусологов, является патогеном четвертого уровня — смертельно-опасным инфекционным заболеванием, для которого не существует ни вакцины, ни надежного лечения. В мае этого года главный врач программы Ласса, шейх Хумар Хан особое внимание уделял лихорадке Эбола, возбудитель которой, подобно Ласса, также является патогеном четвертого уровня и распространялся в Гвинее и Либерии, но сообщений о случаях в Сьерра-Леоне тогда еще не поступало.

23 мая в больницу поступила женщина с преждевременными родами. Анализы не выявили у нее вирус Ласса, но Хан заподозрил лихорадку Эбола. Как выяснилось, женщина побывала на похоронах знахаря, недавно вернувшегося из Гвинеи и умершего после попытки исцелить нескольких человек от лихорадки Эбола. Хан — специалист по вирусным геморрагическим заболеваниям, один из крупнейших в мире экспертов по лихорадке Ласса — распорядился взять у женщины анализы и поместил ее в палату с другими больными лихорадкой Ласса. О нем говорили как о человеке энергичном, охотно делившемся знаниями. Вирусологи-эксперты из нескольких американских исследовательских институтов поддерживали тесные дружеские отношения и с ним, и с его сотрудниками. Значительную часть своего времени Хан посвящал заботе о пациентах в больнице, людях, как правило, бедных. Очень немногие из них могли заплатить за лекарства, поэтому Хан покупал им медикаменты на свои деньги и кормил их, если в этом возникала необходимость.

— Надо есть, иначе не поправитесь, — говорил он.

Работая в палате с больными лихорадкой Ласса, Хан обычно надевал специальный защитный костюм, который в Кенема состоял из комбинезона, закрывающего голову капюшона из ткани тайвек, респиратора, пластикового лицевого щитка и очков, двух пар хирургических перчаток, одной пары толстых резиновых перчаток, резиновых сапогов и пластикового фартука. У больных лихорадкой Ласса случаются приступы и кровотечения, они, бывает, впадают в кому. Несмотря на превосходный уход, многие из них умерли. По вечерам Хан любил смотреть с друзьями по телевизору футбол, а устав от обхода больных, присаживался ненадолго в пластиковое кресло выпить банку спрайта и поговорить с окружающими.

В тот день, когда женщину после выкидыша положили в отделение Ласса, лаборант надел защитный костюм и отнес взятые у нее пробы крови в лабораторию. Анализы показали присутствие в них вируса Эбола. Желая убедиться, что он не ошибся, лаборант отправил результаты по электронной почте в лабораторию Гарвардского университета адъюнкт-профессору Пардис Сабети, у которой за несколько лет установились деловые и дружеские связи с участниками программы Ласса, в частности с Ханом.

Сабети — стройная, доброжелательная женщина лет сорока, она возглавляет лабораторию в Гарварде и геномные исследования вирусов в Институте Броуда Массачусетского

технологического института и Гарварда. Специализируется на прочтении и анализе геномов организмов, в частности, занимается эволюцией вирусов — их изменением во времени и адаптацией к окружающим условиям. В свободное время Сабети сочиняет песни и поет соло в инди[1]-группе, носящей название "Тысяча дней", четвертый альбом которой вышел с запозданием, поскольку солистка была загружена основной работой в связи со вспышкой лихорадки Эбола.

Узнав, что это заболевание распространяется в Сьерра-Леоне, Сабети созвала коллег на собрание в так называемый штаб по борьбе с Эбола. Это светлое помещение с большим столом находится в Институте Броуда при Массачусетском технологическом институте. С распространением вспышки на все новые территории Сабети фактически возглавила группу ученых, встречавшихся регулярно в этом штабе для планирования мер, которые могли бы защитить население от вируса. Группа направляла своих представителей и передовое диагностическое оборудование в Кенема и Нигерию, чтобы местные медики могли быстро и надежно диагностировать лихорадку Эбола.

— Чем раньше распознаем Эбола, тем быстрее ее остановим, — сказала недавно Сабети. — Но важнейший вопрос заключается сейчас в том, *как* остановить эту беду.

В группе Сабети в ближайшее время планировали приступить к прочтению генома вируса Эбола. Все возможные лекарства, вакцины и диагностические процедуры существенно зависят от его генетического кода. Исследователи и прежде знали, что этот код меняется. Но может ли вирус Эбола эволюционировать быстрее, чем разработанные против него препараты? Откуда он вообще взялся? Возник ли он в одном человеке или в разных людях в разное время и в разных местах? Может ли он передаваться от человека к человеку еще легче, чем сейчас, и распространяться еще быстрее?

Сабети, посовещавшись с сотрудниками, составила план получения проб крови от людей, заболевших лихорадкой Эбола. Предполагалось прочитать геномы всех вирусов Эбола, обнаруженных в крови пациентов.

Средневековые монахи, вручную копируя тексты, совершали ошибки. Поскольку при копировании генома Эбола тоже происходят ошибки, каждый геном в этом отношении подобен скопированному вручную тексту. Имея несколько

1. Направление в альтернативной рок-музыке (сложилось в девяностые годы).

таких геномов, можно установить различия между ними. Таким образом, вирус существует как многообразие разных, одновременно существующих форм. Геном вируса Эбола не есть что-то единое, но совокупность несколько различающихся геномов. Вирус представлен многочисленной популяцией частиц, различающихся между собой, и каждая из них конкурирует с другими за возможность попасть в клетку и размножиться. Геном всей популяции вируса изменяется в ответ на изменения в окружающей среде. Изучая геномы нескольких вирусов одного вида одновременно, ученые надеются представить себе генофонд всей его популяции, как жизненной формы, существующей в четырех измерениях, — большие "тексты" кода постепенно сменяются в пространстве и времени. Для изучения геномов ученым нужна кровь, зараженная вирусом.

Группы работников здравоохранения, двигаясь из Кенема в разных направлениях, обнаружили еще двенадцать женщин, больных лихорадкой Эбола, причем выяснилось, что все они побывали на похоронах вышеупомянутого знахаря. Женщин госпитализировали в Кенема, поместив в палату для больных лихорадкой Ласса. Высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения были очень заинтересованы в расшифровке генома Эбола, поэтому Хан и Сабети, работая в тесном контакте с ними, применили необычный метод отбора проб — сыворотку получали не от больных, а использовали остатки клинических анализов. Такие "отходы" представляют собой небезопасный материал, обычно их сжигают в специальном приспособлении при больнице.

— Мы делали все возможное, чтобы, собирая пробы, не оставлять следов, — сказала Сабети. Кроме того, пробы крови отбирались у тридцати пяти людей, которые, как подозревали, имели контакт с больными лихорадкой Эбола.

В результате набралось большое количество проб сыворотки крови от сорока девяти людей, каждая в отдельной микропробирке размером с заточенный грифель карандаша. В каждой — капелька сыворотки золотистого цвета объемом не больше лимонного зернышка. Эти капельки перемешали с большим объемом стерилизующей жидкости, убивающей вирус Эбола. Августин Гоба, начальник больничной лаборатории, упаковал пробирки с сывороткой в пенопластовую коробку со льдом и отправил срочной почтой в Гарвард.

Через четыре дня, 4 июня, посылку доставили в лабораторию Сабети. Здесь исследователь, по имени Стивен Гаер, об-

лачился в защитный костюм и отнес коробку в крошечное герметически-изолированное помещение, чтобы ее там открыть. Обработанные вышеуказанным образом пробы, как считается, не представляют опасности, но Гаер, высокий, молчаливый человек, любящий во всем точность, не хотел рисковать понапрасну. У него поварской талант, в 2008 году ему даже предлагали принять участие в телевизионном конкурсе "Лучший шеф-повар", но он отказался и вместо этого поехал в Демократическую республику Конго обустраивать лабораторию и изучать распространяемое грызунами заболевание африканских приматов, близкое к оспе, которое сопровождается сыпью. На левом предплечье Гаер носит татуировку, сделанную по собственному эскизу. На ней в стилизованной форме изображено строение вируса этого заболевания. Изображение напоминает гнездо, сплетенное из полумесяцев. Итак, оказавшись в герметически-замкнутой лаборатории Гарвардского университета, Гаер вдруг спохватился, что забыл взять с собой нож. Он выудил из кармана ключи от машины, вскрыл одним из них коробку и достал из нее микропробирки, которые были все еще холодные, хотя лед растаял. На вид все они казались невредимыми. Цвет содержимого указывал, что сыворотка крови была простерилизована. В каждой пробирке находился приблизительно миллиард мертвых вирусов Эбола.

Первая задача Гаера состояла в том, чтобы выделить из сыворотки генетический материал вируса. Для этого сначала все пробы проверили на наличие вирусов Эбола. Из сорока девяти людей, у которых брали анализы крови, четырнадцать были больны лихорадкой Эбола. Можно было определить на глаз: в тех пробах, где вирус повредил форменные элементы крови, сыворотка темнее, в ней взвешены мертвые красные кровяные тельца. Гаер работал допоздна, отцентрифугировал пробирки и добавил в них реактивы. В результате получилось четырнадцать прозрачных капелек водного раствора, каждая в своей пробирке. В каждой капле находилось огромное количество разделенных на части прядей РНК — отдельных фрагментов генетического кода вирусов Эбола, которые прежде переносились кровью четырнадцати людей, живших в городе Кенема или где-то неподалеку. В пробирках находилось много *разных* геномов, поскольку вирусы в процессе размножения мутировали.

На следующее утро Гаер поехал на машине в Массачусетский технологический институт, взяв с собой пробирки с РНК вируса Эбола. Там в лаборатории Института Броуда, вместе с коллегой по имени Сеара Винники и еще двумя дру-

гими исследовательскими группами, он подготовил РНК к расшифровке. Работа заняла четверо суток, на протяжении которых Гаер и Сеара почти не спали. В результате все четырнадцать образцов были собраны в одну кристально-прозрачную каплю водного раствора, содержавшую примерно шесть квинтильонов[1] обрывков ДНК, каждый из которых был зеркальным отражением "своего" фрагмента РНК из проб сыворотки. Большая часть таких обрывков представляла собой фрагменты человеческого генетического кода, но среди них присутствовало примерно двести миллиардов обрывков кода вируса Эбола. Кроме того, в капле в количестве многих миллиардов присутствовали также фрагменты геномов бактерий и других вирусов, то есть всего того, что могло оказаться в крови людей, у которых брали пробы. Такая капля получила название библиотеки.

Каждый фрагмент ДНК в капле водного раствора был помечен уникальным кодом — короткой последовательностью из восьми букв ДНК. Такая метка позволяла определить, от кого именно из четырнадцати человек, кровь которых анализировалась, он получен.

— Каждый из фрагментов, помеченных таким кодом, можно рассматривать как своего рода книгу, — сказал Гаер. — Книгу с обложкой и стандартным международным номером[2]. Она коротка, так что читатель легко усвоит ее содержание. Конкретную книгу можно найти по ее стандартному международному номеру, вот почему эта капелька называется библиотекой. Книги в ДНК-библиотеке переплетены так, что всю ее можно загрузить в прибор-секвенсор — аппарат, позволяющий определить последовательность аминокислот и других мономеров в биополимере (ДНК или РНК). Прибор прочтет все эти книги.

Капля водного раствора содержит гораздо больше книг, написанных на языке ДНК, чем имеется в Библиотеке конгресса США. В капле все книги свалены в одну кучу, а содержание каждой к тому времени еще было неизвестно.

В пятницу, 13 июня, Гаер принес единственную микропробирку с библиотекой-каплей жидкости на регистрационную станцию Генетической платформы Института Броуда. Платформа представляет собой анфиладу помещений с секвенсорами, машинами, предназначенными для секвенирования [то есть установления последовательности нуклеотидов — *А. А.*].

1. 10 в 18-й степени.
2. 10-значный номер, присваиваемый книге перед публикацией, обозначает страну, место издания, издателя и т. п.

ДНК. Каждая машина представляет собой белый ящик-параллелепипед размером с холодильник, но не стоячий, а лежачий, и стоит миллион долларов. На Платформе машин более пятидесяти, и они расположены рядами. Шесть техников круглосуточно обслуживают эти приборы, которые заняты чтением букв ДНК, содержавшейся в пробах сыворотки крови. Недавно эти же машины прочли геномы кролика, целоканта[1], возбудителя малярии и комара, переносящего это заболевание; паразитического дрожжеподобного грибка из рода Candida; вируса Эпштейна–Барр и еще несколько человеческих генов, среди которых есть и имеющие отношение к развитию рака, аутизма и шизофрении.

Используя пипетку, техник отобрал примерно десятую часть капли, привезенной Гаером – столько содержится в капельке тумана в пасмурный день, – и поместил в проточную ячейку – плоскую прозрачную стеклянную камеру со щелевидным пространством между верхними и нижними стеклами. Капелька такой жидкости с полной библиотекой кодов, полученных из сыворотки четырнадцати человек, болевших лихорадкой Эбола, растеклась по каналам проточной ячейки, расположенной на входе в машину "Illumina HiSeq 2500", одного из наиболее быстродействующих секвенсоров в мире.

Следующие сутки секвенсор работал в автоматическом режиме, прокачивая через проточную ячейку различные жидкости, в то время как на нее были направлены лучи лазеров. На ее поверхности сотни миллионов фрагментов ДНК собрались в сотни миллионов микроскопических окрашенных точек. В процессе обработки цвет каждой точки менялся, камера делала снимки меняющегося поля точек, и эти данные сохранялись. Через сутки машина закончила чтение библиотеки, принесенной Гаером, то есть всех помеченных фрагментов ДНК. Собранные данные отправили в вычислительный центр Института Броуда, где компьютеры собрали все эти фрагменты в законченный генетический код, упорядочив книги библиотеки, прежде сваленные в одну кучу, и расставив буквы всех ее книг в должном порядке. В воскресенье 15 июня Гаер и Сабети узнали о завершении компьютерного этапа работы. Его результатом стали двенадцать полных геномов вирусов Эбола – тех самых, которые были получены из крови четыр-

1. Сохранившаяся до нашего времени кистепёрая рыба. Единственный современный род – латимерия, в котором известно два вида. До недавнего времени считалось, что кистепёрые рыбы вымерли около 70 млн лет назад. По-видимому, близкие к ним формы стали предками земноводных.

надцати человек (от двух из этих четырнадцати собрать геномы компьютеры оказались не в состоянии). После этого группа Сабети занялась анализом полученных данных с целью выяснить, как геном вируса Эбола изменяется во времени.

В начале июля Стивен Гаер с другим участником группы Сабети полетел в Сьерра-Леоне. Они доставили в больницу Кенема лабораторное оборудование, необходимое для работы в условиях вспышки лихорадки Эбола. Увиденное огорчило Гаера. Среди местного населения царила паника. Больных и умирающих везли из окрестных деревень в Кенема. Палата Ласса, превращенная в палату для больных лихорадкой Эбола, была переполнена. К тому времени открыли другую палату, большое белое здание с пластиковыми стенами и крышей. Она также была полна больными лихорадкой Эбола. Ее оборудовали прозрачным пластиковым окном, которое позволяло больным видеть близких, пришедших их навестить и у которого постоянно толпились посетители. Гаер вспоминает крики радости и удивления, когда больной подходил к окну и его близкие видели, что он жив и может ходить, а также горестные восклицания, когда пришедшие узнавали о смерти близкого. Некоторые в толпе молчали, подавленные видом белого здания и персонала в костюмах, похожих на космические скафандры. В этой части света не всякий верит в истинность инфекционной теории, в существование микроскопических возбудителей заболеваний. С какой это стати врачи не позволяют людям прикасаться к умершим близким во время похорон? Здесь многие не доверяют правительству, зато верят в духовные причины возникновения заболеваний.

Хумар Хан работал в отделении, куда помещали заболевших лихорадкой Эбола. Выходя оттуда, он снимал защитный костюм, и Гаеру казалось, что врач измотан и напряжен. Хан регулярно встречался с работниками, прибывшими в рамках программы международной помощи, без конца звонил по сотовому телефону представителям Всемирной организации здравоохранения и чиновникам Сьерра-Леоне, умолял помочь, выделить ресурсы. Звонил он и членам своей семьи — у него было девять братьев и сестер, некоторые из них находились в США. Тогда его родители жили в городе Лунги, неподалеку от столицы, Фритауна. Хан говорил с Пардис Сабети, планировал через несколько месяцев присоединиться к ее группе. Он был очарован геномикой и интересовался ходом секвенирования генома вируса Эбола. Как говорила мне Сабети, бюрократические проволочки во время вспышки вызывали у Хана негодование, он возвращался в палату к боль-

ным лихорадкой Эбола, как будто там искал спасения от огорчительных новостей. В защитном костюме он, казалось, успокаивался.

Хан почти десять лет возглавлял программу по лихорадке Ласса. В 2004 году его предшественник на этом посту Аниру Контех случайно укололся иглой, загрязненной кровью беременной женщины, больной лихорадкой Ласса. Контех умер через двенадцать дней в окружении своих сотрудниц-медсестер. Несколько месяцев правительство не могло найти ни одного врача, который пожелал бы возглавить эту программу. Хан, только что закончивший тогда интернатуру в Медицинском колледже Сьерра-Леоне, согласился занять эту должность.

Этот скромный, красивый, улыбчивый человек тридцати лет, любивший пошутить, приехал к месту работы на старой помятой машине и взялся за дело. К пациентам он относился с исключительным вниманием.

Однажды один молодой американский врач, по имени Джозеф Феа, тяжело заболел кровавым поносом. Хан навестил Феа в его комнате рядом с католической миссией. Тогда-то Феа заметил, что Хан неподражаем у постели больного. Прописав антибиотики, Хан весело сказал:

— Ну, теперь выздоровеете. — Но, уходя из комнаты, забыл закрыть дверь. Через несколько секунд Феа услышал, как Хан говорит кому-то:

— Парень умирает! Не могу позволить, чтобы у меня тут иностранец умер!

Феа выздоровел, и они с Ханом подружились. Через несколько лет пили пиво в Новом Орлеане, и Феа рассказал, что после первой же их встречи слышал, как Хан сказал, что он умирает.

— Ну, так вы и умирали, — ответил Хан.

— Но мне вы не сказали, — сказал Феа.

Хан рассмеялся.

— А надо было сказать? Вы же были моим пациентом. Можете себе представить?

Хан долгие часы проводил в палате с больными лихорадкой Эбола, стараясь их подбодрить. Одна из сестер, никогда не работавшая в этой палате, заболела и умерла от этого заболевания. Частицы вируса невидимы, и в палатах они находятся в астрономических количествах повсюду, на полу и на других больных. Есть два разных пути, которыми вирус может распространяться в воздухе. Если с каплями слюны или мокроты, например, при кашле, — то такой способ называют капельным. Капли пролетают всего несколь-

ко футов и падают. Другой путь называется воздушным — небольшая капля испаряется, остается крошечный комочек твердого вещества, который может потоком воздуха переноситься на большое расстояние и при попадании в легкие другого человека сохраняет способность заразить его в течение нескольких часов или даже дней. Таким образом распространяются, например, возбудители кори, которых, как показано, воздушный поток может перенести на расстояние, равное половине длины крытого футбольного стадиона. Вирус Эбола может заражать людей капельным путем, это было известно и прежде. Что касается способности инфицировать, попадая в легкие с частицами пыли или в виде высохших капель, то ничего определенного пока сказать нельзя — недостаточно данных. В 1989 году филовирус, близкий к Эбола и носящий сейчас название Рестон, дал вспышку в виварии для обезьян в городе Рестон (штат Виргиния), распространяясь от клетки к клетке. Один из путей передачи, впрочем недоказанный, заключался в том, что вирус переносился потоком водяной взвеси, которую под давлением подавали из шланга при уборке клеток. По-видимому, такой "туман" циркулировал в системе вентиляции здания. Среди экспертов бытует мнение, что, даже находясь под защитой специального костюма, не следует приближаться к больному лихорадкой Эбола менее, чем на шесть футов. Такая предосторожность позволяет уберечься от летящих капель.

Некоторые больные, страдающие лихорадкой Эбола, не понимают, где находятся, у них начинаются судороги, они машут руками, падают с кровати, могут разбить себе в кровь нос и от этого чихают. Иногда их сильно рвет, причем рвота сопровождается кашлем. У некоторых развивается недержание, и все жидкости, исходящие из их тел, содержат нарастающее во времени количество частиц Эбола. Новая палата с пластиковыми стенами в Кенема оборудована обычными для африканских больниц так называемыми холерными койками. Больной холерой страдает от неудержимого водянистого поноса. Холерная койка представляет собой матрас в пластиковой оболочке с отверстием в центре на решетчатой раме. Под это отверстие на пол ставят ведро, в которое собираются испражнения. В палате для больных лихорадкой Эбола санитарки выносили такие ведра и старались поддерживать чистоту, но это было возможно только до определенной степени. Кроме того, некоторые санитарки от работы уклонялись. В условиях тропической жары в таких палатах стояла невыносимая вонь.

Примерно 12 июля Джозеф Феа, работавший в составе группы Всемирной организации здравоохранения во Фритауне, то есть за двести миль от Кенема, добрался сюда за несколько часов и стал искать своего друга доктора Хана. Найдя его, Феа, как он потом рассказал мне, не мог поговорить с ним. Хан находился в палате с пластиковыми стенами, где царил чудовищный беспорядок. Тридцать или более больных лихорадкой Эбола лежали на холерных койках, пол был залит всевозможными жидкостями, которые порождает человеческое тело. Хан совершал обход в сопровождении одной сестры, оба они были в защитных костюмах.

По сообщению Даниэля Боша, американского врача, специалиста по лихорадке Эбола, помогавшего тогда в Кенема, Хан однажды заметил:

— Должен признаться, боюсь за свою жизнь. Работники здравоохранения особенно подвержены этой болезни, поскольку, когда кто-то заболевает, именно к нам обращаются в первую очередь.

Сотрудники Боша также цитировали медсестру, по имени Айзетта, работавшую с Ханом:

— Я ему говорила не ходить туда, но он сказал: "Если я откажусь лечить их, кто же будет лечить меня?" — вероятно, Хан думал тогда о своем предшественнике, докторе Контехе, умершем в той же палате, где лежали его больные.

Алекс Моигбои, известный человек, много лет проработавший в больнице Кенема, слег с лихорадкой Эбола. Затем заболела старшая медсестра, Мбалу Фонни, вдова, которую иногда называли по фамилии Санкох, проработавшая в больнице с самого ее открытия в 1990-е годы. Заболевание началось со слабости и озноба, потом поднялась температура. Сначала Фонни не обращала внимание на эти симптомы, продолжала работать каждый день по четырнадцать-шестнадцать часов, надеялась, что это малярия, вводила себе внутривенно с помощью капельницы антималярийный препарат, но он не помогал. Анализы выявили наличие у нее в крови вируса Эбола. В тот же день у двух других медсестер, Фатимы Камара и Вероники Такер, также обнаружили этот вирус. Моигбои умер 19 июля, а Фонни через два дня после него.

Часть персонала больницы Кенема, боясь выходить на работу, сидела по домам. Доходило до того, что Хан в одиночку работал в палате с больными лихорадкой Эбола. Система здравоохранения Сьерра-Леоне, плохо снабжаемая и отсталая, разваливалась под натиском вируса, а ряды помощников из иностранных групп во время вспышки редели. Организа-

ция “Врачи без границ” справлялась с наплывом заболевших лихорадкой Эбола в лечебном центре Кайлахуна, города в восточной части Сьерра-Леоне в пятидесяти милях от Кенема. В Либерии врачи и сестры христианской организации “Самаритянский фонд”, работавшие в больнице ELWA под Монровией, не справлялись с наплывом больных, не хватало врачей и расходных материалов.

— Помощь была на подходе, — говорила мне потом Сабети, — но не хватало людей и всего остального.

Сабети предупреждала Хана об опасности стресса и переутомления.

— Самое главное — ваше здоровье. Пожалуйста, берегите себя.

— Я должен делать все, что в моих силах, чтобы помочь людям, — отвечал Хан, надевал защитный костюм и возвращался в палату к больным. Он вел себя как генерал во время битвы, когда его войска бегут или уже уничтожены.

19 июля во время собрания персонала больницы сотрудники заметили, что Хан неважно выглядит. На следующий день он не вышел на работу — изолировал себя дома. Затем наутро потребовал, чтобы у него взяли анализ. Один из лаборантов отправился к нему на дом и сделал все необходимое. Анализ показал наличие вируса Эбола. Хан, предвидя, что, увидев его больным, медперсонал падет духом, не хотел, чтобы сотрудники Кенема видели развитие у него характерных симптомов, и потому отказался лечиться в больнице. На следующий день он кое-как забрался в машину “скорой помощи”, которая доставила его по ухабистым проселочным дорогам в палату для больных лихорадкой Эбола в Кайлахуне.

Здесь в лечебном центре был работавший от генератора морозильник, а в нем хранились три пластиковых бутылочки с замерзшим водным раствором, содержавшим антитела, молекулы в форме буквы “Y”, выработанные иммунной системой млекопитающих для защиты от вторгшихся в их организм микробов. Это экспериментальное средство для лечения лихорадки Эбола, называлось ZMapp и на людях к тому времени еще не испытывалось. Трех бутылочек должно было хватить на курс для одного человека. Препарат был разработан в предшествующее десятилетие работавшей почти без финансирования и фактически без поддержки сообщества экспертов по вирусу Эбола группой ученых, которая состояла из десятков людей, но главными исследователями в ней были Ларри Зейтлин, президент “Мэп Байофармасьютикал”, биотехнологической компании из Сан-Диего; Джин

Гаррард Олингер, подрядчик Национального института аллергии и Отделения инфекционных заболеваний Национальных институтов здравоохранения; Ксианггуо Киу и Гэри Кобингер – исследователи из Агентства здравоохранения канадского исследовательского института в Виннипеге. ZMapp – коктейль из трех антител, которые, как считали, особенно эффективно убивают вирус Эбола. "Мэп Байофармасьютикал" и производитель, предприятие "Байопроцессинг" из Кентукки, разработали методику выращивания этих антител в растениях табака.

В апреле 2014 года, за три месяца до того, как заболел Хан, группа Кобингера, работавшая в Канаде, впервые испытала ZMapp на обезьянах, каждая из которых получила по тысяче летальных доз вируса Эбола. К удивлению исследователей, лекарство всех их спасло и помогало выжить даже тем животным, которые находились на пороге гибели. Группа Кобингера установила, что больным надо давать по одной дозе ZMapp с интервалом в несколько дней. Кобингер сравнивал это с тремя ударами профессионального боксера: первые два удара посылают вирус Эбола в нокдаун, третий заканчивает бой нокаутом.

В конце июня, когда эпидемия Эбола охватила Западную Африку, Кобингер отправился из своей виннипегской лаборатории в Кайлахун, везя с собой оборудование для работавших там врачей, а также три пластиковых бутылочки ZMapp, которые и оставил в морозильнике. Он хотел выяснить, как препарат действует в тропическом климате, где жара и ненадежная система электроснабжения могут свести на нет его лечебные свойства. Кобингер не подозревал, что препарат может быть использован.

Правительство Сьерра-Леоне восприняло болезнь Хумар Хана как национальную трагедию. Как только о ней стало известно, правительственный чиновник разослал электронные сообщения специалистам всего мира по вирусу Эбола, прося сообщить о любой вакцине или лекарстве, которые могли бы помочь Хану. Последовала целая серия телефонных звонков чиновникам Всемирной организации здравоохранения, в Центры профилактики инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля США, в правительство Сьерра-Леоне, в канадское Агентство здравоохранения, военным эпидемиологам США и в организацию "Врачи без границ", под эгидой которой действовал центр в Кайлахуне. Обсуждались возможные варианты лечения Хана. Многие из тех, кому звонили из Сьерра-Леоне, знали его лично. Вопрос шел о его жизни и смерти.

Обсуждение вскоре сосредоточилось на ZMapp, на него надеялись больше, чем на прочие лекарства. Почему именно Хан, а не другие больные должны получить неопробованное средство? Что, если он умрет? ZMapp за несколько месяцев до тех пор проверяли на обезьянах, но насколько безопасен этот препарат для человека? Лекарство содержит мышиные и человеческие антитела, выращенные в растениях табака. Попав в кровяное русло, они могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Если бы возникли серьезные побочные явления, рассчитывать в Кайлахуне на отделение интенсивной терапии не приходилось. Если западные государства этим своим экспериментальным лекарством убьют Хана, африканского ученого и национального героя, в Сьерра-Леоне начнутся беспорядки. Но если не дать Хану ZMapp и он умрет, то люди скажут, что Запад утаил от врача чудодейственный препарат.

– Я старался говорить спокойно, – вспоминал потом Кобингер. – Обсуждение и телефонные звонки продолжались три дня.

Между тем в больнице ELWA, в двухстах милях к югу, заболела лихорадкой пятидесятидевятилетняя работница здравоохранения Нэнси Райтбол. У нее в крови обнаружили возбудителя малярии и прописали ей постельный режим дома, на территории больницы, где она жила со своим мужем, Дэвидом Райтболом. Вскоре Кент Брэнтли, тридцатитрехлетний врач-американец, работавший в ELWA в составе группы "Самаритянского фонда", позвонил директору по медицинским вопросам этого фонда, Лансу Плайлеру.

– Ты не волнуйся, Ланс, но, кажется, я подцепил вирус, – сказал Брэнтли. Он изолировал себя в доме на территории больницы, и его товарищи по "Самаритянскому фонду" отправили взятую у него пробу крови в Национальную лабораторию Либерии. Плайлер, как он рассказывал мне, не желая распространения слухов о том, что один из его врачей заразился лихорадкой Эбола, пометил пробирку с пробой крови Брэнтли вымышленным именем Тамба Снел.

Национальная лаборатория Либерии представляет собой бывший центр по исследованию шимпанзе и находится в самом конце проселочной дороги в лесу возле международного аэропорта Монровии. Лаборатория хорошо оборудована и не испытывает недостатка в специалистах. Американский вирусолог Лиза Хензли работала там с либерийскими и американскими коллегами, анализируя клинические пробы различных жидкостей тела, полученных от людей, у которых подозревали лихорадку Эбола. Хензли

сотрудничает с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, более пятнадцати лет занималась исследовательской деятельностью в противоэпидемических лабораториях правительства США. Помогая либерийским врачам выявлять заболевших лихорадкой Эбола, она облачалась в защитный костюм, в котором поддерживается повышенное давление, и работала с прибором, действовавшим на основе ПЦР[1].

Лаборанты проанализировали кровь Тамба Снел и не обнаружили в пробе вируса Эбола. Хензли отправила результат электронной почтой одному из врачей "Самаритянского фонда". Между тем Кенту Брэнтли, у которого была взята проба крови, помеченная "Тамба Снел", становилось все хуже.

25 июля, наконец, было принято решение о том, что делать с Хумаром Ханом. ZMapp сочли препаратом слишком рискованным и решили ему его не давать. Хану об этом сообщили. Непонятно, принимал ли он сам участие в процессе принятия такого решения. С того же дня его брат Саид, находившийся в Филадельфии, в течение нескольких дней звонил Хумару на сотовый телефон, но не мог дозвониться. Потом ему удалось найти по телефону кого-то в Кайлахуне, и он сказал, что хочет говорить с братом.

— С Хумаром невозможно поговорить, — ответили ему.

— Тогда пришлите мне его фотографию, иначе не поверю, что он жив, — прокричал в трубку Саид. Вскоре после этого ему переслали фотографию брата. На ней Хумар с трудом сидит в пластиковом кресле, веки у него отекшие, вид изможденный, он погружен в себя, несмотря на слабую улыбку. Саид счел, что этой улыбкой Хан надеялся успокоить их мать.

В Монровии Лиза Хензли получила другую пробу крови, взятую у Тамба Снела. Вскоре в ее лабораторию пришло электронное сообщение от чиновника из Центра противоэпидемического контроля, в котором говорилось, что данная проба крови взята "у одного из наших". Хензли поняла, что у сотрудника этого учреждения, возможно, лихорадка Эбола. Потом поступила еще одна проба, на которой значилось имя Нэнси Джонсон. Хензли знала, что имена вымышленные. В тот день, 26 июля, в лаборатории почти никого не было, отмечался национальный праздник, День независимости Либерии. Тем не менее Хензли и ее коллега Рэндал Шоуп надели защитные костюмы и принялись за работу. Начали с пробы

1. Полимеразная цепная реакция — метод, позволяющий провести многократное увеличение количества определенных молекул ДНК в анализируемом образце.

крови Тамба Снела. Приборы работали быстро, и скоро стало ясно, что он болен лихорадкой Эбола. Хензли отправила электронное сообщение Лансу Плайлеру: “С тяжелым сердцем сообщаю вам, что анализ Тамба Снела дал положительный результат”. В тот же день он получил и другое сообщение: “У Нэнси Джонсон также обнаружен вирус Эбола”.

Получив эти сообщения в ELWA, Плайлер отправился в дом, где лежал изолированный Кент Брэнтли, и, увидев его, ужаснулся.

— Не хотелось бы сообщать тебе такую новость, но у тебя Эбола, — сказал Плайлер.

Брэнтли помолчал.

— Вот уж действительно не хотелось мне услышать такое, — сказал он.

Плайлер сразу решил, что сделает все возможное для лечения Брэнтли. Он знал о существовании неопробованных лекарств от лихорадки Эбола. Врачи из “Самаритянского фонда” отправили электронное сообщение в Центр по борьбе с эпидемическими заболеваниями, находившийся в Монровии, с просьбой помочь Плайлеру связаться с исследователями, принимавшими участие в разработке ZMapp, или с кем-либо, кто знаком со способом его применения.

Таким исследователем оказалась Лиза Хензли, находившаяся в Монровии, которая только что анализировала пробы крови, взятые у Брэнтли и Райтбол. Она направила необходимые сведения в “Самаритянский фонд” и выразила готовность как можно скорее посетить ELWA, но не могла выехать раньше следующего вечера, хотя дороги в тех местах после наступления темноты не вполне безопасны. Больницы Монровии были переполнены больными лихорадкой Эбола, система здравоохранения трещала по швам, на медицинские бригады, выезжавшие за пределы городов, нападали толпы местных жителей. Хензли позвонила в американское посольство в Монровии и договорилась, что водитель на посольской машине довезет ее до ELWA, куда она и приехала в десять часов вечера. Плайлер уже ждал ее в своей машине. Они проехали по территории больницы и остановились у белого домика с чуть приоткрытым светящимся окошком, за которым с ноутбуком на коленях, описывая собственные симптомы, сидел на кровати Кент Брэнтли. Хензли он сказал, что знает об антителах к вирусу Эбола.

Хензли и раньше проводила лабораторные исследования экспериментальных лекарств и вакцин против вируса Эбола. Разговаривая с Брэнтли через окно, она перечислила девятнадцать возможных вариантов их применения, ни один из

которых фактически не был испытан на человеке. В январе компания "Текмира Фармасьютикалз" только начала проверять на людях безопасность применения препарата ТКМ-Эбола. На обезьянах его испытания дали вполне приемлемые результаты, но использование лекарства находилось под частичным запретом, пока компания собирала сведения для Администрации по контролю пищевых и лекарственных веществ. В Японии прошел испытания на людях препарат Т705 против вируса гриппа, он же мог оказывать какое-то воздействие на вирус Эбола. Хензли рассказала Брэнтли, что принимала участие в изучении лекарственного препарата, носящего название rNAPc2, антикоагулянта, разработанного компанией "Нувело", который при испытаниях на обезьянах спасал из них каждую третью. Брэнтли сосредоточился на ZMapp, спасавшем обезьян даже на поздних стадиях течения лихорадки Эбола, так как у него самого была как раз поздняя стадия. И все же он не мог решиться. Хензли закончила перечисление вариантов и замолчала. Тогда из-за окна послышался голос Брэнтли:

— Как бы вы поступили на моем месте, Лиза?

Она ничего не могла посоветовать.

— Это решение должны принять вы сами. — И рассказала, что шестнадцать лет назад пережила угрозу заражения вирусом Эбола. Тогда, в свои двадцать шесть лет, она работала в "скафандре" с жидкостями, кишевшими вирусами Эбола, и порезалась ножницами, несмотря на два слоя перчаток. Единственным экспериментальным лечением, которое могло оказаться смертельным, в то время была лошадиная сыворотка, полученная русскими. Хензли решила подождать с ее применением, пока окончательно не убедится, что заразилась. В тот же вечер, после собрания, на котором анализировали случившееся, ее отправили домой. Хензли позвонила родителям и сказала, что может заболеть лихорадкой Эбола, что им, возможно, придется забрать из квартиры ее вещи и кошку.

Выслушав Хензли, Брэнтли сказал, что, учитывая все услышанное, все-таки предпочел бы ZMapp, хоть препарат и не испытывался на людях. Потом Плайлер довез Хензли по больничной территории до дома Райтболов. Нэнси в это время уже спала неподалеку от окна. Ее муж и сестра надели защитные костюмы и разбудили ее. Между тем Хензли, говорившая с больной из-под окна, обратила внимание, что оно широко открыто, а Райтбол начала покашливать. Потолочный вентилятор гнал воздух из комнаты на стоявших под окном. Хензли снаружи чувствовала запах, стоявший в

комнате. Она сделала шаг назад, но ничего не сказала. В тот же вечер, уже находясь у себя в гостиничном номере, Хензли отправила по телефону короткое текстовое сообщение Лансу Плайлеру: "Вы, ребята, заставляете меня немного поволноваться," — и посоветовала тем, кто, стоя под окнами, разговаривает с этими двумя больными, надевать респираторы.

28 июля Гэри Кобингер из канадского Агентства здравоохранения получил электронное сообщение от Ланса Плайлера, который просил как можно скорее прислать ZMapp в ELWA. В ответе указывалось, что ближайшее место, где находится препарат на один курс лечения — морозильник в Кайлахуне (Сьерра-Леоне), то есть через границу. К тому времени Хумар Хан был при смерти. Хензли не принимала участия в обсуждении вопроса, давать ему ZMapp или не давать, но о принятом решении знала.

Лекарство требовалось доставить самолетом из Кайлахуна, но там не было летного поля. Ближайшее же находилось в городке Фойа. Там несколькими днями ранее группа сотрудников Министерства здравоохранения Сьерра-Леоне подверглась нападению, и служебную машину, на которой они ехали, сожгли. Местные жители, охваченные паникой, бежали из окрестностей. Посольство США в Монровии обратилось к Лизе Хензли с просьбой забрать лекарство, пообещав организовать для нее вертолет.

Вертолет, старый серый русский Ми-8, пилотировали украинские летчики. Хензли сопровождал полковник морской пехоты США, как он выразился, "для душевного покоя". Шел сильный дождь, Хензли с полковником четыре часа просидели в стоявшем на асфальте вертолете. За это время в Кайлахуне умер Хумар Хан. Наконец, небо немного прояснилось, вертолет взлетел и взял курс на север. Пассажиры, пристегнутые ремнями к скамьям, сидели в звукопоглощающих наушниках лицом друг к другу. Иллюминатор заливало дождем, время от времени в нем показывались плывущие внизу покрытые джунглями холмы.

— Временами летим при нулевой видимости, — заметил полковник. Хензли забеспокоилась.

Во время той вспышки лихорадки Эбола все летели в условиях нулевой видимости. Под вертолетом невидимый за пеленой дождя тайно маневрировал противник. К тому времени ни испытанных вакцин, ни лекарств, которые бы излечивали людей от этого заболевания, не знали. Хензли летела за экспериментальным препаратом. Значительно позже она говорила:

— Если идешь берегом озера и кто-то тонет, нельзя не попытаться его спасти. В этой вспышке Эбола гибли люди. — Хензли, мать-одиночка, оставила в Мериленде на попечении родителей девятилетнего сына.

— Если откажемся помогать, что мы скажем потом своим детям? — однажды сказала мне Хензли. — Беды, связанные с лихорадкой Эбола, останутся им в наследство. А люди умирают. Родитель обязан вырастить ребенка ответственным. Мы должны показывать пример своим подчиненным, близким и пациентам, местным жителям.

Хензли задремала. Ко времени приземления в Фойа, оказалось, что самолет "Самаритянского фонда" с лекарством на борту уже вылетел. Вертолет повернул обратно в Либерию.

Ланс Плайлер, получив препарат в больнице ELWA, лихорадочно пытался решить, дать его Райтбол или Брэнтли. В Книге Эсфири он нашел слова: "Кто знает, пришел ли ты в царство для такого времени, как это?" Райтбол была к этому времени уже очень плоха, но Плайлер застал своего коллегу Брэнтли в удивительно хорошем состоянии: тот, сидя в постели, работал на ноутбуке и больше беспокоился о Райтбол, чем о себе самом.

— Дайте препарат Нэнси — я и так отсюда улечу через день-другой, — сказал он Плайлеру. Еще раньше был заказан эвакуационный реактивный самолет, по-видимому, Брэнтли имел в виду именно его. Тем не менее Плайлер решил подождать с принятием решения. Прошла еще одна ночь.

Наутро, 31 июля, Плайлер снова проведал Нэнси Райтбол и решил дать препарат ей. По-видимому, она была близка к финальной стадии развития болезни: кожа на верхней половине туловища покрылась красными узелками — признаками подкожных кровоизлияний. Начались и внутренние кровотечения. Смерть могла наступить в любой момент: падение кровяного давления, шок и конец. Одну из бутылочек с препаратом достали из термоса со льдом, и поместили подмышкой у больной, чтобы жидкость растаяла.

В тот же день около семи часов вечера Плайлер, желая узнать, как дела, подошел к дому Брэнтли. Заглянув в окошко, он похолодел. Состояние Брэнтли резко ухудшилось, налицо были все признаки приближения смерти. Глаза ввалились, лицо превратилось в серую маску, тяжелое дыхание перемежалось длительными паузами.

— Клиницисту такая картина знакома, — говорил мне потом Плайлер. — Брэнтли умирал.

Брэнтли, сам клиницист, понимал, что у него вот-вот произойдет остановка дыхания. Поскольку аппарата принуди-

тельной вентиляции легких в больнице не было, дожить до утра он мог только чудом.

— Кент, я дам тебе антитела. — Плайлер принял решение: одну бутылочку примет Брэнтли, другую Райтбол, а третью тот из них, кто не будет эвакуирован.

Медсестра вынула бутылочку из подмышки Райтбол, которая была рада, что препарат достанется и Брэнтли тоже. В присутствии Плайлера врач, по имени Линда Мабула, надела защитный костюм и вошла в дом Брэнтли, где приготовила капельницу. Предполагалось первую дозу вводить по каплям медленно, чтобы антитела не вызвали у больного шок. Плайлер оставался под окном и молился вместе с Брэнтли. Менее чем через час больного охватила сильная дрожь. Такое при бактериальной инфекции случается незадолго до смерти. Плайлер расценил это иначе.

— Антитела дают прикурить вирусу, — сказал он Брэнтли, стоя под окном.

Через три часа Лиза Хензли получила короткое текстовое сообщение от Ланса Плайлера: “Кенту почти введена половина первой дозы. Честно говоря, он уже выглядит явно лучше. Может такое быть?”. В ответ Хензли написала, что обезьяны, находившиеся при смерти, обнаруживали заметное улучшение через несколько часов с момента введения препарата.

Через два дня, получив одну дозу курса, состоявшего из трех доз, а также переливание крови от четырнадцатилетнего мальчика, выздоровевшего после лихорадки Эбола, Кент Брэнтли поднялся по трапу в эвакуационный самолет. В университетской клинике Эмори города Атланта (США) он получил еще две дозы ZMapp, присланные с табачного предприятия в Кентукки, и еще через две недели выписался из больницы. Вируса Эбола у него в крови не обнаружилось.

Иначе складывалась судьба Нэнси Райтбол. После первой дозы ZMapp ее состояние заметно не улучшилось, но появился сильный зуд кожи рук, по-видимому, аллергическая реакция на препарат. Внутренние кровотечения не прекращались, и ей сделали переливание крови, чтобы компенсировать кровопотерю. Тем не менее она выжила. Через два дня ее эвакуировали в университетскую клинику Эмори, где она получила две дозы ZMapp и ей сделали еще одно переливание крови.

Во время, когда пишутся эти строки, запас ZMapp в мире подошел к концу. Препарат получали еще пять больных лихорадкой Эбола, в том числе испанский священник, умерший вскоре после приема первой же дозы. Новые порции

лекарства получают из растений табака, произрастающего в специальном здании в Кентукки. Эти растения содержат в себе такое количество действующего начала, которого хватит на от двадцати до восьмидесяти лечебных курсов ZMapp в ближайшие два месяца, если с выращиванием табака все будет идти по плану. Правительство США и "Мэп Байофармасьютикал" прилагают максимум усилий, чтобы увеличить количество растений и выработку препарата, но это не так просто. Лекарство остается неиспытанным на людях в том смысле, что еще не существует достаточной статистики его применения, и пока никто не знает, станет ли оно когда-нибудь оружием в войне с вирусом Эбола.

В два часа дня 31 июля в городе Кенема состоялись похороны Хумара Хана. Проводить его в последний путь собралось пятьсот человек, в том числе жители города, ученые, работники здравоохранения, чиновники правительства Сьерра-Леоне. Многие не могли сдержать слез. Рабочие, копавшие могилу, наткнулись на твердую породу, из-за этого похороны затянулись на несколько часов. В десять вечера, как раз в те минуты, когда Кента Брэнтли сотрясала дрожь, а ZMapp разносился током крови по тканям его организма, похороны Хана в больнице Кенема завершились.

Для Хана, лежавшего на смертном одре, и других работников больницы Кенема Пардис Сабети сочинила песню, которая называется "Одна истина". В ней есть такие слова: "В этой битве я всегда буду с тобой". Она надеялась когда-нибудь спеть ее Хану, который к тому времени находился в изоляторе. Узнав о его смерти, Сабети была, по ее словам, "совершенно опустошена".

— Словами не передать, какую потерю представляет его смерть для всего мира, — сказала она.

Не меньшими потерями для человечества стала смерть сотрудников больницы Кенема, остававшихся на своих постах в это тяжелое время.

На протяжении всего лета группа Сабети занималась прочтением генома вируса Эбола. Результаты по мере получения публиковались на вебсайте Национального центра биотехнологической информации, и ученые всего мира могли видеть их сразу же. В конце августа в "Сайнс" появилась статья с подробным отчетом о проделанной работе. Группе Сабети удалось секвенировать код РНК вирусов Эбола, обнаруженных в крови семидесяти восьми человек из города Кенема и его окрестностей в мае и июне, как раз в период начала распространения вируса в Сьерра-Леоне. Группа пропустила боль-

шие объемы кода через секвенсоры, получила примерно двести тысяч кодов отдельных вирусов и некоторое время наблюдала за изменениями генома вируса Эбола. Ученые видели, от кого и кому он передавался, как именно мутировал за время жизни в конкретном человеке. Эти генетические данные в совокупности представляли собой как бы короткий видеофильм о возбудителях лихорадки, которых можно было представить себе стайкой рыбок, одна рыбка — одна частица Эбола. Эти рыбки плавали, размножались, изменялись и, в конце концов, стайка, численность которой экспоненциально росла, состояла уже из разнородных рыбок. Некоторые, как оказалось, плавают лучше других.

Группа Гаера и Сабети обнаружила также, что вспышку дал вирус, начавший распространяться всего лишь от одного человека, возможно, от маленького мальчика из Милиэнду, но точно это установить уже не представлялось возможным. Затем количество мутаций в популяции вируса неуклонно возрастало, его геном по мере взаимодействия с человеком постепенно видоизменялся. В половине случаев от человека к человеку передавался мутировавший вирус — один из его белков слегка изменился. Ко времени распространения инфекции в Сьерра-Леоне популяция вируса уже четко разделялась на две штамма, причем оба туда занесли женщины, побывавшие на похоронах уже упоминавшегося знахаря. К этому времени накопившиеся мутации уже затрудняли обнаружение вируса с помощью стандартных анализов.

— Отсюда следует, что за изменениями вируса Эбола можно следить в режиме реального времени, — сказала Сабети. — Вирус — не единая сущность. Сейчас у нас есть возможность разобраться с тем, как именно он действует, с чем именно мы имеем дело в данную минуту.

Газета “Сайнс” перечислила имена пяти своих авторов, умерших от лихорадки Эбола, в том числе Хумара Хана, старшую медсестру Мбалу Фонни и Алекса Моигбои. Тысячи пробирок с кровью людей, заболевших лихорадкой Эбола, стоят в морозильниках Кенема, ожидая окончания бюрократических проволочек, которые пока не позволяют переправить их самолетом в Гарвард и секвенировать РНК, чтобы ученые могли узнать, что в последнее время происходит с возбудителем этой инфекции.

Часто спрашивают: мог ли вирус лихорадки Эбола в процессе эволюции приобрести способность распространяться по воздуху в виде сухих частиц и попадать в тело человека через легкие? Эрик Ландер, глава Института Броуда, высокий,

широколицый и усатый, говорит быстро и убежденно. Он считает, что такая постановка вопроса неверна.

— Это то же самое, что спрашивать, могут ли зебры летать, — говорит он. — Чтобы обрести способность передаваться воздушным путем, частицы вируса должны выживать в безводной среде в составе крошечных пылинок, которые оставались бы взвешенными в воздухе, а затем проникать в клетки, выстилающие внутреннюю поверхность легких. — По мнению Ландера, очень маловероятно, что вирус Эбола приобрел такие способности. — Это все равно что утверждать, будто вирус, приспособившийся в ходе эволюции к определенному образу жизни, в частности, к передаче при прямом контакте, может вдруг, одномоментно, перейти к совершенно другому образу жизни и начать распространяться в сухом виде по воздуху. Более уместно было бы спросить: могут ли зебры бегать быстрее?

По мнению Ландера, вирус Эбола мог бы захватить новый ареал многими другими способами. Например, он мог бы вызывать у людей не столь тяжелое заболевание, а такое, которое давало бы смертельный исход, скажем, в двадцати процентах случаев, а не в пятидесяти. Заразившиеся оставались бы в живых, но болели бы дольше. Такой вариант давал бы вирусу преимущество по сравнению с нынешним его состоянием: носитель инфекции жил бы дольше и смог передавать возбудителя большему количеству окружающих.

Сотрудники группы Лизы Хензли, работавшей в либерийской лаборатории, обратили внимание на жутковатую особенность некоторых анализируемых проб крови. Численность частиц Эбола в них оказывалась значительно выше, чем бывало при предыдущих вспышках. Некоторые пробы были перенасыщены возбудителем лихорадки. Эта особенность также увеличивает вероятность заражения вирусом следующей жертвы.

— Неужели его репликация совершенствуется по мере передачи от одного человека к другому? — задается вопросом Хензли. Она вовсе не уверена в том, что ответ на этот вопрос утвердительный. Возможно, при предыдущих вспышках некоторые больные уже имели такие колоссальные концентрации вируса в крови. — Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо вернуться в лабораторию, — говорит Лиза.

Сунь-Дзы, великий китайский военачальник, писал, что одно из необходимых условий победы — знание врага. Группа Сабети сейчас получила возможность наблюдать за изменением возбудителя лихорадки Эбола — за неприятелем ведется пристальное наблюдение. Это означает, что

методики определения вируса могут быстро обновляться по мере его эволюции. Кроме того, ученые имеют возможность наблюдать, не приобретает ли возбудитель какие-либо новые опасные свойства. Одновременно разрабатывается новое оружие для борьбы с ним, которое начинают испытывать. Исследователи, разработавшие ZMapp, а также компания "Байопроцессинг", находящаяся в Кентукки, прилагают все усилия к тому, чтобы увеличить производство этого препарата и испытать его на больных, зараженных вирусом Эбола. Есть надежда провести клинические испытания и получить поддержку Регулятивного агентства. Даже при ускорении производства ZMapp, запасы препарата для лечения населения далеко недостаточны, но все же он может спасти жизнь некоторым из заболевших. Существование лекарства, которое могло бы спасти хоть кого-то от лихорадки Эбола, побудило бы работников здравоохранения работать в палатах с заболевшими — сами медики могли бы надеяться на то, что в случае заражения им будет, чем лечиться.

Помимо лекарств, которые могут оказаться эффективными против лихорадки Эбола, разрабатываются также средства профилактики — вакцины. В начале сентября Национальный институт здоровья начал на двадцати добровольцах проверку вакцины, созданной отделением "GlaxoSmithKline" на основе аденовируса. Другая вакцина, называемая VSV-EBOV, разработана канадским Агентством здравоохранения и получила лицензию "Ньюлинк Джинетикс". Испытания ее на людях начались на прошлой неделе. Возможно, через год еще одна вакцина станет доступной для людей, побывавших в контакте с зараженными лихорадкой Эбола, однако о широком ее применении речь пока не идет. Если какое-либо средство профилактики окажется безопасным в борьбе с вирусом, если оно сохранит свою эффективность и пригодность в тропическом климате, когда-нибудь начнется так называемая кольцевая вакцинация населения в наиболее вероятных местах возникновения новых вспышек лихорадки Эбола. То есть работники здравоохранения будут прививать всех в радиусе нескольких миль вокруг потенциального очага вспышки. Такая мера действует, как брадмауэр, — не дает огню распространяться. Кольцевая вакцинация сыграла важнейшую роль в ликвидации вируса оспы, о которой сообщалось в 1979 году. Но будет ли такая тактика эффективна против вируса Эбола, никто пока не знает. Как бы то ни было, эпидемиологи не откажутся от попыток выяснять, кто от кого зара-

зился — пока только таким образом можно понять, как прервать "цепочки" распространения инфекции.

В больницах США и Европы, впервые столкнувшихся с лихорадкой Эбола, грубо нарушались правила обращения с заболевшими — таких ошибок в Африке опытный работник здравоохранения не совершил бы. Но медперсонал обучится. В настоящее время борцы против вируса Эбола сознают, что враг силен и война с ним предстоит долгая. Не всякое оружие окажется в ней надежным, но какое-то принесет пользу. Человек как вид обладает в этой войне определенными преимуществами и может использовать средства, вирусу недоступные. Среди них осведомленность, способность к коллективным действиям, готовность к самопожертвованию — все это свойства, позволившие нам освоить планету. Если вирус Эбола способен меняться, то способны меняться и мы, и даже, может быть, еще быстрее.

Янош Хаи
Indian Time and My F*ather*

Очерк

Перевод с венгерского Юрия Гусева

Если тебя коробит, когда к тебе подходят очень близко, проламывая барьер, который, как ты привык, должен быть между тобой и другими, — ты проиграл. Если тебя коробит, когда к тебе прикасаются, и берут за локоть, и кладут руку тебе на плечо, а, когда удаляются, меж вами ничего, кроме дыма и шума, не остается, — ты проиграл. Проигравший, стоишь ты в старом Дели, на базаре Чандни Чоук, голоса, крики, гомон заполняют твою голову до отказа, ты уже забыл, куда ты, собственно, шел, а тут еще протяжные вопли муэдзина. Они несутся из репродуктора. Смотри-ка, религия — древняя, а техникой не пренебрегает. Ты видишь линию, разделяющую Дели индуистский и Дели мусульманский; звуки то тут то там нарушают ее. Иногда, конечно, нарушить эту границу норовят и террористы; солдаты с автоматами, сидя в укрытиях из мешков с песком, возведенных перед общественными зданиями, обеспечивают (как показывает теракт в Мумбае, *якобы* обеспечивают) безопасность города. Тебе становится жутковато: ведь тут в любой момент может произойти что угодно; но, если ты так и будешь носить в себе этот страх, — ты проиграл. Потом, ну да, ты вспоминаешь: ты — на самом большом в мире рынке пряностей, все кругом кашляют и плюются, везде груды тюков с чем-то неведомым, смесь острых ароматов настолько густа, что не плеваться невозможно, ты тоже плюешься, твои плевки падают на булыжную мостовую поверх прочих плевков. Здесь никто и не думает прятать скопившуюся в носоглотке мокроту в носовой платок. Тяни ее из носа в рот — и выплевывай! Ты отмахиваешься от рикш, от назойливых доброхотов-гидов. Они всё покажут тебе чуть

© Háy János
© Юрий Гусев. Перевод, 2017
Перевод выполнен при содействии Венгерского института PIM Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Iroda.

ли не даром. В тесных улочках прячутся дворцы с резьбой по мрамору, средневековые стены тут и там прошиты какими-то трубами, коммуникациями, над головой путаница электрических кабелей, того и гляди на тебя свалится провод на двести двадцать, в темных закутках гнут спину ремесленники, станки, на которых они работают, заставляют вспоминать эпоху первой промышленной революции, музейная индустрия, дальше плавят золото — в маленьких тиглях, в тысячелетних каменных плавильнях, случайный гид, от которого ты так и не сумел отвязаться, заводит тебя в лавки, чтобы ты хоть какую-нибудь мелочь купил, ему за это идет процент, но ты решительно говоришь: нет. Если ты не способен сказать "нет" — или смириться с последствиями "да", — ты попадаешь в не поддающуюся пониманию и контролю систему, где тебя передают из рук в руки, вынуждая расставаться с какой-никакой, пускай совсем небольшой, суммой, — значит, ты проиграл. Если ты намерен никогда не оставаться в накладе, если не сознаешь, что раз ты в Индии, то ты уже не в накладе — ты опять же проиграл. Если в детстве родители тряслись над тобой, если в тебе дефицит полезных бактерий, если дома дезинфицировали уборную и мыли тебя бактерицидным мылом — ты проиграл. При первом же случае, когда ты зайдешь в харчевню — кухня на улице, глиняные печурки, столы внутри, местные жители сидят за столами и едят исключительно правой рукой, левую они используют для другого, для чего — смотри в путеводителе, еду подают на металлических тарелках, лепешки, зелень в каком-то острейшем соусе — когда ты это съедаешь, в животе происходит катаклизм, ты мчишься в уборную, из тебя так и хлещет, или наоборот, две недели ты живешь в ожидании, а в кишечнике у тебя растет какой-то червь, и на то, чтобы избавиться от него, нужны месяцы. Если ты рос в стерильных условиях — ты проиграл. Индийцы смеются над тобой, они смотрят тебе в глаза, потому что смеют смотреть в глаза, если же ты не смеешь отвечать им тем же, ты проиграл. Они презирают тех, кто пытается соблюдать дистанцию, ты для них никто, иностранец, просто предмет, у которого есть лишние деньги. Если ты не способен смотреть им в глаза, если не можешь заставить себя относиться к ним как к равным, если, при всем убожестве их жизни, не увидишь в ней реального содержания — ты проиграл. Ты — турист, а Индия — туристический объект. Ты остаешься чужим в чужом месте.

Тебя везде норовят обокрасть, облапошить, с утра до вечера ты торгуешься, пытаясь выгадать, найти что-нибудь подешевле, хотя тут все и так дешево. Ты становишься частью то-

го мира, который подмял под себя чуть ли не две трети планеты. Потому что ты приехал из краев, где живут люди богатые, пускай они и думать не думают о неоколонизации, которую раздувшаяся от самомнения половина мира продолжает по сей день. Левые идеи давно устарели в твоих глазах, ты уверен, что с освобождением колоний белая тирания на Земле завершилась. Ты не замечаешь, что там, на той половине Земли, на месте разрушенного хозяйственного и социального уклада не выстроилось ничего нового, там остался лишь статус прислуги, осталась нищета. Ты — часть того мира, который паразитирует на отощавшем Востоке. Товар, сделанный там, ты и дома покупаешь по бросовой цене, ведь он произведен тамошними рабочими, нередко детьми, за нищенскую плату, в условиях, которые в Европе немыслимы. А кто им мешает научиться тому, что умеем мы, думаешь ты, пускай будут такими же восприимчивыми к прогрессу, как европейская культура. Мы ведь не виноваты, что мы лучше, их никто ведь не принуждал тысячелетия назад закоснеть в своем архаичном укладе. Азиатский способ производства уже тогда потерпел крах, только они этого не заметили, потому что тогда у них перед глазами еще не было Европы. Они тоже обязаны были прийти к пониманию, что единственная реально достижимая цель человека — материальное развитие, ведь в других сферах, например, в деле совершенствования души, все равно результатов никаких не получишь.

Новое метро, новые технопарки, новые деловые центры; если ты не видишь, что Индия подняла голову и стремительно учится, — ты проиграл. Она прет вперед, как танк. В дарвиновском понимании они уже победили, если, конечно, считать исконной целью продолжение рода. Плодитесь и размножайтесь, говорит Библия, и они — да, размножаются. Каждый шестой человек в мире — индиец; в то время как венгр — всего лишь каждый шестисотый. У нас потомства не хватает даже для того, чтобы обеспечить нам пенсию. Правда, у них-то про пенсию большинство знает только по слухам. Медленно, но верно идет новое переселение народов, рабочие руки из перенаселенных стран постепенно перетекают к нам. Незаметно происходит замена европейского населения. Мы раздражаемся, мы недовольны: тащат сюда свои хиджабы, свою дешевую рабочую силу, свои дикие моральные нормы, чихать они хотели на ассимиляцию, им бы только на шее у нас сидеть, — злобно ворчим мы, хотя дело обстоит как раз наоборот: не они, а мы не можем без них. Европа уже не та, что тридцать лет назад: на улице немецкого городка турки говорят на турецко-немецком, это — их лингва франка, в Лон-

доне мелкая торговля полностью в руках индийцев и пакистанцев. Пока мы боремся за сокращение рабочего дня и за достойную человека жизнь, за увеличение летнего отпуска, но так, чтобы все-таки оставалась возможность покататься на лыжах зимой, — они работают. Но и Индия уже не та, что была тридцать лет назад. На бескровной революции, к которой привел своих соотечественников Ганди, сейчас выстраивается интенсивная экономика. Наступает время Индии — провозглашают плакаты. Здесь в игре три страны: Китай, Россия, Индия, остальные вылетели еще на отборочных этапах. В Дели считают: выиграет Индия; в Пекине, надо полагать, голосуют за Китай. Европа и Америка принимаются в расчет лишь как огромный потребительский рынок — ну и как и тот враждебный, ненавистный мир, откуда приходит унижение. Но он, этот мир, устал, обессилел, в дальнейшем о нем можно будет не думать. Хотя пока не ясно, что станет с восточными экономиками без нашего люксового потребления.

Надоевшие левые идеи снова лезут из земли, лезут бурно, как сорняки. Религия — опиум для народа, говорит за стаканом виски ректор Хайдарабадского университета; он как раз вернулся из поездки в Китай. У нас в Будапеште пришло бы кому-нибудь в голову, что он еще раз в жизни услышит эту сентенцию? Но если ты, услышав ее здесь, засмеешься — ты проиграл, ибо в этих краях к религии, при всех восторгах, питаемых людьми Запада перед Индией, нельзя относиться лишь как к форме духовности. Религия здесь — это общественный институт, который посредством духовного прессинга сохраняет кастовую систему, безграмотность и держит людей в нищете. Не существует никакой свободной демократии, демократические принципы состоят на службе у капитала, говорит один мой собеседник из Кералы, венгры всего лишь сменили стул, на котором сидят, а не систему, — и страстно агитирует меня за социализм. Он приводит в пример свой штат, то есть Кералу, где у власти находятся коммунисты: там действительно ликвидировали безграмотность, посредством позитивной дискриминации добились, чтобы представители низших каст были пропорционально представлены в элите, сломали всяческого рода авторитаризм. Индия — это союз штатов, у каждого из которых свое правительство. Политическая палитра пестра, от консерваторов из партии Национальный конгресс до чистейшей воды коммуняк. Ведь и люди разнятся цветом кожи, женщины — цветом сари; кстати, даже интеллигенция здесь не чурается носить традиционный индийский ширвани, и никто не смотрит на них так, как я посмотрю на венгра, если он вдруг вырядится в камзол à la Боч-

каи или вышитую жилетку. А цвет кожи у индийцев — от совсем светлого до почти черного. Говорят, Индия — рай для расистов и для антропологов, так как тысячелетиями сохраняет традиционную структуру общества, включая не только культурное расслоение, но и даже группы крови.

Мой собеседник-кералиец говорит (говорит на английском, но приспособленном к акустике местного наречия, малаялам) о солидарности, о том, что элита обязана заботиться о людях, у которых нет возможности влиять на принятие важных решений и которые нуждаются в том, чтобы им кто-то помогал жить. Мои дети уже только из книг знают, что такая интеллигенция была и в Европе, я же еще встречал живыми таких носителей левых убеждений, которые верили в реальность усовершенствования общества, а через общество — человека, я еще видел своими глазами последних хранителей пламени просвещения, которых затем реализация этой идеи в моем отечестве унесла ко всем чертям. В Европе и идея эта, и те, кто в нее верил, теперь находят себе место разве что только в музеях. В нынешнем сознании господствует принцип: "сотвори себя сам и сам управляй своей жизнью", — а если сотворение самого себя выйдет боком, пенять не на кого, никто сейчас не думает о том, в какой мере ответственность и компетентность ложатся на индивида и в какой — на общество. Требуется кризис, требуется неуверенность среднего класса в завтрашнем дне, когда кто угодно может лишиться чего угодно, виноват он в этом или не виноват, чтобы появилась, хотя бы в виде смутного ощущения, мысль, что ничто никому не положено автоматически. Правда, если говорить честно, средний класс все еще обеспокоен скорее своим летним отпуском и катанием на лыжах, английской школой для детей, своими банковскими вкладами, а не тем, есть ли у него сегодня что-то на ужин. Индийская же интеллигенция, находясь в море нищеты, чувствует себя довольно дерьмово. Дерьмово, потому что точно знает: в бескрайней этой нищете лидеры Индии тоже повинны. В Джайпуре, во дворце махараджи, я разглядываю фотографии одного из последних властителей. Любимым его развлечением было конное поло, в Англии он считался одним из первых в этом виде спорта. Более всего он был счастлив, когда его навестил вице-король. О, как горделиво он пыжится на фото рядом с ним! Его одежда, дворец сияют богатством и роскошью, и плевать ему на то, сколько народа подыхает от голода за стенами его дворца. Ему хотелось стать англичанином, но он мог быть только индийцем. Европейская элита в своем довольстве и провинциальном самомнении пыжится точь-в-точь как

тот джайпурский махараджа, и чем незначительнее страна, в которую мы попадаем (например, наша родина, которая при этом для нас, конечно, милее всего), тем больше самомнение и тем безнадежнее провинциализм. Мы не сводим глаз с Нью-Йорка, Вашингтона, мы аплодируем, когда требуется, иракской войне, а когда аплодировать не требуется, кроем ее почем зря; мы забываем даже взгляд бросить в сторону третьего мира, посмотреть, что творится там, на городских окраинах, в деревнях обнищавших регионов, нас не интересует, что произошло за минувшие двадцать лет с цыганами, мы не желаем знать, что значительная доля средств из цыганских фондов даже границу города не пересекала, и удивляемся, когда те, кому эти средства положены, приходят и спрашивают, мол, а где деньги? Мы безмятежно живем себе, когда половина населения нашей собственной страны прозябает на грани нищеты; не по себе нам становится лишь в тех случаях, когда кто-то покушается на наш скопленный капиталец. Пока трущобы и гетто удерживают низкий люд за оградами, мы не чувствуем ответственности, ничто не нарушает наш душевный комфорт. Они сами виноваты, что там оказались. Никому дела нет до того, чтобы в стране была какая-никакая динамика, в то время как потребность пробиться, подняться, если она налицо, способна невероятные силы пробуждать на любом уровне бытия, а ведь подпитывание элиты новой, свежей энергией — необходимость столь же насущная, как и необходимость в хлебе насущном. Нас не смущает тот факт, что у нас сейчас выстраивается новая кастовая структура — стены в ней возводились сначала из денег, но к нынешнему моменту в строительный раствор добавляется еще и уровень образованности. Удивляемся мы, лишь когда в головах у тех, перед кем не открываются большие возможности, вдруг гейзером вскипает, выплескивается наружу ад, и, движимые эмоциями, не делая даже попыток думать, они грудятся вокруг глашатаев самых омерзительных идей.

Я приглашен в гости в дом среднего достатка. Хозяева немного удивлены, когда выясняется, что я проявляю интерес к местной кухне: они охотнее попотчевали бы меня ужином, скажем, французским. Вокруг — целая армия прислуги. Индия полна прислугой. В одряхлевшей Англии популярна была фраза: здесь стоит пожить хотя бы потому, что индийцы — лучшие слуги. Слуги есть у поэтов и у профессоров. Человеческая рабочая сила настолько дешева, что любой может нанять себе помощника по домашнему хозяйству. Средний класс одинаков везде. Если у тебя достаточно денег, ты можешь купить себе точно такие же услуги, как в любом другом

месте нашего мира. Семья, куда я приглашен на ужин, выглядит точно так же, как какая-нибудь будапештская семья со Швабской горы: то же умиротворяющее чувство благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Это милые, порядочные люди, но такие же, каких я знаю множество по всему миру. Самое интересное — всюду бедняки, которые вынуждены жить в соответствии с местными данностями. Состоятельность же делает людей стандартными. Скроенными по одному лекалу. Они — иные лишь относительно бедняков, а в масштабе мира они одинаковы. В то же время есть все-таки некоторое отличие: люди здесь, хоть и богатые, но открытые и прямые. Индийской культуре не свойственна рефлективность, как нашей. Юмор, остроумие налицо, но ирония, цинизм этому обществу чужды. Названия вещей действительно обозначают эти самые вещи. В общении господствует прямое, непосредственное восприятие мира. На лицемерие, на околичности нет времени. Радость — это радость, боль — это боль, десять рупий — это десять рупий. Жизнь познается в своем прямом выражении. Проклятие европейской культуры в том, что она сделала невозможным непосредственное переживание жизни. Мы оторвались от исконной стороны бытия, у нас любой предмет — абстракция. Мы не знаем, откуда он произошел и как. Ради собственного удобства мы отказались от изначальной ступени понимания мира. А ведь основа, на которой стоит мир, это нечто простое, как рычаг. Некая прозрачная система причин и следствий — неважно, идет речь о физике или о биологии. В Индии ты помрешь с голоду, если не постиг простую структуру повседневной жизни. Помрешь — и будешь покойником, покойник же в нерефлектирующей культуре — не более чем безжизненный труп, который уже ни на что не пригоден.

Я еду в Бенарес (Варанаси), один из главных центров индуизма. В купе вместе со мной — бельгийский француз, религиовед, и две девушки-американки. Религиовед рассказывает, что исследует феномен реинкарнации Шивы. Здесь он находится в годичной научной командировке, хочет что-то выяснить, что именно, я так и не понял; он говорит про старинные индуистские книги, где идет речь об этом необычном боге, которого почитают лишь в некоторых провинциях, например, в Бенаресе. Девушкам-американкам весело, они заказывают себе чай, заказывают ужин, они несказанно счастливы, потому что, по их деньгам, жизнь здесь невероятно дешева; как здорово, что они решились на это далекое путешествие. Иногда, правда, индийцы распускают руки, трогают, например, их волосы — обе они блондинки, — иногда

тянутся к интимным местам, но дальше не идут, так что изнасилования можно не опасаться, да в Индии сексуальная революция еще впереди. Девушки отхлебывают чай, местный, индийский, заваренный на буйволовом молоке с добавлением сахара и пряностей; и после стольких лет британского господства, чай здесь все же называют не “ти”, а “чай”. Девушки прикидывают, не съездить ли им еще и в Непал, там жизнь еще дешевле, а люди до того бедно живут, что они даже порядочнее, чем индийцы. Интересно, через сто лет кто будет на месте этих веселых девушек, и кто — на месте религиоведа-бельгийца, и из кого будет состоять счастливая половина человечества? Путешествия за экзотикой будут предприниматься с Запада на Восток или с Востока на Запад? Никто не знает, как будет выглядеть тогда карта мира с обозначенными на ней бедными и господствующими странами.

Я схожу с поезда. Узкие улочки, коровы, собаки, монахи, испражнения, древность. Лишь в гостинице я обнаруживаю, что меня обокрали: вот оно, первое материальное столкновение с центром духовности. На каждом шагу предлагают купить гашиш, дешевый и, разумеется, самого высокого качества. Белые в их восприятии — идиоты, они приезжают сюда, чтобы восторгаться религией, о которой понятия не имеют, из едва ли не трех тысяч богов слышали кое-что про двух-трех, да и тех путают. Приезжают, чтобы, надев индийский балахон, помедитировать на берегу Ганга и побалдеть за гроши. Среди бормочущих молитвы монахов — пара стареющих европейских лиц, эти прибыли сюда еще с первой волной, в конце шестидесятых, дома они были хиппи или просто надоело благополучие среднего класса, захотелось душевного освобождения, так их занесло в Индию, а потом они тут застряли то ли потому, что остаток отцовых денег мог обеспечить только здешнюю жизнь, то ли потому, что нашлось что-то, в самом деле глубоко замутившее им мозги: Вишну, князь Кришна, Ганеша со слоновьей головой или кокаин.

Всюду мусор. Это страна, отношение которой к мусору идет еще из Средневековья, когда мусора не было, когда все, что окружало человека, было органическим и сливалось со средой. Ресторан быстрого обслуживания в Тамил-Наду: еду здесь все еще подают на банановых листьях, чай наливают в полуобожженные глиняные чашки, ты бросаешь чашку, она разбивается, и осколки смешиваются с землей. Но и эту страну заполонила синтетика, срок разложения которой переживет цивилизацию. Индийцы не знают, что с ней делать, ведь тысячелетиями они не собирали, не прятали мусор. В самых дивных местах, у гималайских водопадов, требуется поисти-

не ловкость фокусника, чтобы сделать фото, куда не попали бы полиэтиленовые пакеты, болтающиеся на ветках, и набившиеся в каждую ямку пластиковые бутылки.

Я сижу на террасе гостиницы; солнце уходит за горизонт. Сам не верю, что дождался финала этого дня, когда даже заходящее солнце добавляет впечатлений от пережитого. Кто знает, на какой автобус тебе нужно будет сесть завтра, дойдет ли он туда, куда ты хочешь попасть, или высадит тебя на какой-нибудь остановке, откуда тебе придется ехать дальше на трехколесном велосипеде с мотором. Или этот автобус вообще никуда не доедет, ведь он в таком состоянии, что можно считать чудом, если он вообще сдвинется с места. Но все же, видимо, Индия функционирует, и, если немного сосредоточиться, это функционирование можно ощутить. Здесь самая высокая точка, на которую я могу подняться в Индии, — почти три тысячи метров. Я хотел тишины, города меня утомили, Бенарес, Ришикеш... Что с того, что на каждом углу тут храм, что с того, что всюду священнослужители, орды йогов и монахов, — они не могут обеспечить мне тишину, которая, как-никак, единственный способ, чтобы погрузиться в себя.

Сижу на террасе; я даже виски добыл, чтобы легче было в себя погрузиться. Какое великое дело, думаю я, когда ты веришь в какую-то идею! Мне вспоминается отец, у которого было позитивное представление о мире: он был уверен, что человеческая история движется к чему-то и это что-то — добро. И что общество наказывает тех, кто вредит людям, и что руководящая элита, к которой, на уровне деревни, он и сам принадлежал — ведь он был руководителем большого кооператива, — словом, эта элита только и делает, что ломает голову, как сделать лучше жизнь тех, кто способен разве что, без всякого толку, ломать голову над всякими такими вещами, но самостоятельно предпринимать какие-либо шаги они не способны. В голове у отца причудливо перемешались Маркс и Тойнби, хотя ни того ни другого он не читал. Читал он только книги по садоводству, но ему, видимо, и брошюры "Современные методы разведения смородины" было достаточно, чтобы правильно судить о человечестве. Мне стыдно, что мы так далеко ушли от подобного уровня ответственности, мне стыдно, что мы так мало знаем о мире, о своем месте в нем и о своей незначительности. Что мы настолько не имеем понятия о кардинальных вопросах бытия. Что — пускай мир открылся для нас — мы тут же закрылись и за плотно закрытой дверью созерцаем собственный цивилизованный пупок, причем чаще всего созерцаем с чувством самодовольства, в восторге от своего благополучия. И даже не замечаем, что мы — проиграли.

Убежище, или Остров скуки: Швейцария

Очерк

Перевод с венгерского Юрия Гусева

Это страна, где ничего не происходит. Даже глубокие старики не могут вспомнить ничего удивительного, из ряда вон выходящего. Самым громким, леденящим кровь происшествием был случай в 1940 году, когда несколько немецких солдат подошли к границе и какое-то время постояли там, глядя на эту сторону. Разумеется, событие было запечатлено на фотопленке и попало в учебники, потому как его можно было видеть своими глазами. И, напротив, все, что происходило между двумя странами: между Sonderfall Schweiz (Швейцария как особый случай) и Германией, страной, которая в общем-то тоже, можно сказать, представляла собой случай особый, — под покровом тайны. Это, к сожалению, и по сей день неизвестно. Правда, ходят всякие разговоры о том, какие банковские операции совершались приватно и на государственном уровне между двумя странами, о том, что, получая сырье, швейцарские фирмы поставляли Третьему рейху оружие, о том, что были беженцы, которых пропускали через границу, других же отправляли обратно, ставя их, таким образом, на тот путь, который всем нам известен и который был точно известен и швейцарским властям. Но они и не думали из-за этого краснеть, да и до сих пор не краснеют.

В жизни швейцарского гражданина, кроме зимнего катания на лыжах, самым важным событием является, пожалуй, свадьба: ведь благодаря свадьбе реализуется то общее владение имуществом, которое и делает возможным сохранение и приумножение состояния. Швейцарцы гордятся своей страной, на протяжении столетий успешно воздерживавшейся от участия в европейских и всемирных конфликтах, страной, независимость которой обеспечивалась, во-первых, особенностями рельефа, то есть тем обстоятельством, что, благодаря Альпам, защищающим ее со всех сторон, она почти неприступна для вторжения, а во-вторых, и это главное, тем, что здесь возникло хранилище международного капитала, поэтому ни одна страна не заинтересована в том, чтобы Швейцария ввязалась в какую-нибудь зава-

© Юрий Гусев. Перевод, 2017

рушку. Швейцарцы, бывшие пастухи, которые подняли разведение коров и овец на невероятно высокий уровень (прежде всего по отношению к уровню моря) и на протяжении многих веков беспечально жили на супе, сыре и макаронах, горды своей демократией и государственным федеративным устройством, включающим 26 кантонов, демократией, где каждый кантон обладает собственными законами, собственными налогами, а система так называемой прямой демократии действует более четко и эффективно, чем в любой другой европейской стране. Здесь любой житель может инициировать народное голосование за или против чего угодно, пускай даже с условием изменения конституции на федеральном или кантональном уровне; здесь любой вопрос можно решить с помощью референдума. В Швейцарии, наряду с йодлингом, который как средство коммуникации в горной местности поражает воображение, но как музыка — нечто ужасающее, словом, наряду с этой своеобразной манерой издавать дикие вопли самой распространенной народной традицией является проведение референдумов, хотя, как любая народная традиция, и эта привлекает к себе все меньше внимания. Не могу не добавить, что швейцарская демократия не всегда была так уж идеальна: в стране, приверженной консервативному образу жизни и традиционным, часто средневековым, моделям, есть кантон, который лишь в 1991 году дал право голоса женщинам. Как утверждают, не потому, что они глупы, но по той простой причине, что на площади, где происходило (поднятием руки) голосование, женщинам просто не хватило бы места.

У каждого из нас есть расхожее представление о Швейцарии, и каждый, конечно, думает, что вряд ли стоит утруждать себя углубленным знакомством с этой страной, никаких особых сенсаций тут ждать не приходится. Страна независимая, безопасная, горы, озера, невозмутимые коровы с колокольцами на шее, маниакальная склонность к чистоте, время от времени тут даже скалы чистят, чтобы птичье дерьмо не портило впечатление от красивых круч. Веселые туристы и лыжники. В горах каждый встречный дружелюбно приветствует тебя: Grüezi! В основном все худощавы, жилисты; как ни странно, рядом с пожилой тетушкой чаще всего пожилой дядюшка, из чего следует не только то, что средний возраст мужчин очень близок к среднему возрасту женщин (приблизительно 80 и 84, а пока я пишу эти слова, он вырастет еще на полгода), но и то, что швейцарские супружеские пары не меняют, как это принято, партнеров, а стало быть, программа старения у них общая. Поженимся, будут дети, мы вырастим их, вырастим точно такими, каковы и мы сами, постепенно состаримся, потом, в один прекрасный момент, произойдет то, чего никто не хочет, но избе-

жать чего невозможно. В Люцерне, в пролетах знаменитого крытого деревянного моста, картины: маленький злобный скелет под оглушительную какофонию утаскивает людишек в преисподнюю. Нельзя ли хоть немного попозже, просят священник, солдат, мамаша, чье дитя в тех же лапах... Нет. Я спускаюсь с моста смерти; девушка японка объясняет парню, с виду европейцу: если швейцарский флаг, который, кстати сказать, красуется там всюду, в садах частных домов и на горных вершинах, а в качестве бонуса, там же еще и флаг Красного Креста, который есть не что иное, как негатив швейцарского флага, напоминая о том, что после битвы при Сольферино (1859), считающейся самой кровавой битвой эпохи, женевский бизнесмен Анри Дюнан как раз и создал предшественницу этой международной организации (если бы у нас на родине мельтешило столько венгерских флагов, половина страны завопила бы от негодования и тут же бросилась бы паковать вещи, чтобы перебраться, скажем, в Швейцарию), словом, говорит девушка японка, если этот флаг висит криво, то крест на нем похож на икс. Ага, говорит парень, и правда. Я на минуту замираю, остолбенев. Любовь, как видно, может начаться с чего угодно.

Швейцарцы используют природу на всю катушку, зимой ли, летом ли туристские маршруты забиты до отказа, и обо всех о них, без исключения, в совокупности можно сказать, что это не просто Wanderweg'и, но Panoramaweg'и или Wunderweg'и, потому что расширение горных пастбищ почти свело на нет леса, и с любого горного склона открывается бескрайний вид на долины, озера, городки. И всюду, на соответствующем расстоянии друг от друга, прекрасно оборудованные места отдыха: не только место для очага да пара трухлявых бревен, но и решетка гриля, сухие дрова, иногда даже шезлонги и, конечно, почти везде топор и пила. Венгерскому путнику, сгорающему от стыда, приходит в голову мысль, как бы пригодился такой топорик дома, чтобы не пришлось двадцать четвертого декабря обтесывать чем попало ствол елки, вставляя его в крестовину; но Швейцария — это страна, где даже венгр не посмеет стащить что-нибудь или намусорить. Природа в этой стране — самая большая ценность, и бродить по лесу здесь приятно, как дома, именно из-за таких мест для отдыха на склонах гор. Романтично, но не пугающе. Есть население, но как раз столько, сколько нужно. Хутора, хотя вроде и расположены в глуши, оснащены самыми современными сельскохозяйственными машинами, в гараже стоят, по крайней мере, два первоклассных автомобиля — правда, если жена не уехала на одном из них за детишками в школу. Деревенские жители выглядят точно так же, как городские. Они не кажутся

слишком старыми, не одеты во что попало, на лицах у них не написано, сколько сотен километров отделяют их от соседнего городка или пускай от Цюриха.

Хотел бы я быть на их месте, говорит мой спутник; все мы хотели бы, соглашаюсь я, чтобы наша страна приближалась к этой ну хоть на самой нижней отметке. Мы садимся на поезд; такой железнодорожной и автобусной сети нигде в мире больше, наверное, не найдешь. Поезд, или автобус, отправляется точно тогда, когда указано в расписании, и прибывает на место точно тогда, когда обещано; система пересадок продумана, логична и надежна, расписание маршрутов согласовано не только в междугороднем, но и во внутригородском масштабах. То есть не так, как в других, не столь пунктуальных странах, где автобусные компании живут сами по себе, железнодорожные сами по себе, а расписание до того запутано, да к тому же изменяется несколько раз в году, что трудно вообразить себе такую долгую жизнь, в течение которой можно было бы все это выучить.

Поезд летит мимо могучих скалистых гор и альпийских лугов. Какой-нибудь путешественник XIX века до самой смерти рассказывал бы, что он видел: какие кручи, утесы, взлетающие над долинами виадуки, бревенчатые хижины на горных склонах, средневековые развалины в городках. В Швейцарии есть только городки и хутора, деревень к западу от Эльбы практически не встретишь. Рассказывал бы он и про тщательно обработанные поля, про огородики на клочке земли, поражался бы, как все ухожено, как здесь украшают к Рождеству окна, деревья в садах. Рассказы продолжались бы всю жизнь, так как в памяти рассказчика возникали бы все новые и новые детали. А сегодняшний путешественник проносится по местности так быстро, что не успевает зафиксировать в сознании то, что мелькает за окном: вместо того чтобы осмыслить увиденное, он окунается во все новые впечатления. Водопад справа. Водопад улетел. Виадук слева. Виадук улетел. Горная речушка. И горная речушка улетела. Сегодняшний путешественник покидает местность скорее, чем вода в водопаде достигнет подножья скалы, где разлетится брызгами, — этого наш путешественник уже не увидит, это увидит следующий путешественник, который зато не застанет момента, когда струя срывается с вершины утеса.

Three in one. Три родины в одной стране. Здесь каждый без проблем бережет свою культуру, свой язык, свои обычаи. Никто не опасается другого и не рычит на него. Не возмущается, когда на табло в вагоне надпись “Nächster Halt” почти незаметно сменяется на “Prochain arrêt”. Взаимопроникновения

языков почти нет, если не считать нескольких слов: например, в немецкой части — мерси, то есть спасибо, вместо dank, dank, напоминающего немного эпоху переселения народов, языковую стихию полудиких германских племен. Французы, среди прочего, дали общей родине, наряду с Жаном Кальвином и сыром грюйер, это "мерси"; ну и, конечно, Жан-Жака Руссо. Именно ради него, Руссо, я еду в Женеву; едва я выхожу из вагона, еще даже не успеваю приподнять шляпу, а меня уже приветствует маленький Париж, французские таблички "Sortie" (выход), чугунные перила и, конечно же, французы, которые везде и во всем французы, которые так умеют одеваться, пускай лишь шарфик накинуть на плечи, что другой смертный никогда этому не научится. Но что мне делать в этом кальвинистском гнезде, где унылые дома кажутся мне гнетуще чуждыми? Я иду на православное богослужение, перед церковью, на паперти, — русские нищие, как перед любой церковью в России. Вхожу, церковь полна. Здесь столько русских, что они заполняют ее целиком. Я не выделяюсь среди них, у меня белокурые волосы и голубые глаза, и креститься я умею, как они, справа налево; когда звучит слово "бог", я осеняю себя крестом, будто самый настоящий православный. Выхожу; вокруг — протянутые руки, жалостливые "подайте Христа ради"; я направляюсь к дому, где родился Руссо, я тут сам по себе, у меня свои дела. Руссо глубоко презирал церковь как общественный институт и верил только в природу. Человек, полагал он, есть существо естественное, а потому одинок и свободен. Нет, думаю я. Естественный человек — существо общественное, и свободен он лишь настолько, насколько это совместимо с его включенностью в общество.

Каждый здесь чувствует себя хорошо, и каждый хорошо выполняет свое дело. Они не работают (arbeiten), а творят (schaffen). Они делают то и столько, что и сколько нужно, не ходят вокруг да около, но выполняют то, что требуется, и не строят при этом трагическое лицо, как венгр. Конечно, получай венгерский рабочий швейцарскую зарплату, он тоже сиял бы от радости. Зарплата здесь от 3—4 тысяч франков (в форинтах примерно миллион), это у подсобного рабочего, — и далее до бесконечности. Правда, и расходы на жизнь здесь невероятно высоки, дешевле, чем за 250 тысяч форинтов в месяц, ты даже комнату не снимешь. Простых работников, мигрантов, каковых почти два миллиона на восемь-девять миллионов коренного населения, влекут сюда эти доходы, а совсем не красота альпийских ландшафтов. На примитивном английском языке они растолкуют коллегам, прибывшим из какой-нибудь другой страны, каковы те простые цели, за ко-

торые они борются, ради которых оставили дом, родню, друзей и, конечно — если они дети третьего мира, — нищету и кровопролитные распри властителей. Самое главное, думай о том, говорит отец молодому парню перед отправлением поезда из Будапешта, чтобы купить хорошую машину, например "BMW". С нами в купе — венгерская проститутка, едем мы ночью, ее это тоже устраивает, с утра она уже выйдет работать. Она прощается со своей дочкой: да-да, я скоро вернусь, только денег скоплю немного. Раньше никак не могу, мама, говорит она бабушке, на которую оставляет дочку. Пока не наберется достаточно, не приеду, вон и Эржи надо еще помочь, у нее беда, ей надо срочно убраться из Брюсселя, а деньги у нее все отобрали. Я слышу, как девочка плачет. В Швейцарии проституция разрешена.

На улице, рядом с зажиточными и прилежными потомками прежнего пастушьего народа, нежданно-негаданно оказавшимися в центре всемирного денежного рынка, ходят банкиры-космополиты и интернациональные мошенники — никто не смог бы определить, где граница между этими двумя категориями. Швейцария — это швейцарские часы, швейцарские перочинные ножи, швейцарский шоколад, швейцарский сыр, из которого венгерский потребитель знает только фальсифицированный эмменталь ("Паннония"); и еще, для венгров, это страна недоброй памяти швейцарского франка. Но не страна швейцарского берета; во всяком случае, странно было бы представить швейцарца, хорошо одетого и не терпящего никакой безалаберности, в этом, заимствованном у вечно недовольных басков, но характерном для венгров головном уборе.

Расхожая фраза из лингва франка, на котором говорит среднестатистический путешественник: "Very expensive!"[1] "Здесь живут богатые?" — спросил у меня на улице иракский турист (есть и такие). "Everywhere in Switzerland"[2], — сказал я. Здесь в самом деле все безумно дорого; правда, и люди безумно богаты. Благосостояние таково, что глаз, привыкший к убогим орманшагским и ниршегским[3] деревенькам, просто не способен увидеть границу, за которой здесь начинается бедность. Кто в Швейцарии беден, тот у нас еще богат. Состояние здесь собирают столетиями, и размеры его сокращаются разве что в том случае, если среди потомства появится вдруг какой-нибудь алкоголик или наркоман. Но вероятность подобной аномалии

1. Очень дорого! (*англ.*) (*Здесь и далее – прим перев.*)
2. Везде в Швейцарии (*англ.*).
3. Орманшаг, Ниршег — окраинные районы Венгрии.

крайне невелика: строгие и целеустремленные протестанты — а этим качествам у них учатся и католики (почти половина населения) — быстро выпалывают дурные всходы, и если уж ничего другого не остается, то добиваются, по крайней мере, того, чтобы состояние предков попало не к заблудшей овце, а к наследникам, способным сохранить и приумножить его. Столетиями тут не было войн, даже пожары случались редко. Быть солдатом здесь — патриотический долг, но на самом деле — развлечение. Вокруг ты видишь дома, построенные основателями семей, память о которых давно растворилась в дымке времени. Протестантские города, такие как Берн, Базель или Цюрих, лишены средневековой красочной пестроты: пуританское мышление яркие цвета воспринимало как дьявольское наваждение, и фрески, произведения живописи, украшавшие древние католические церкви, были уничтожены не только в храмах, но и в жилых домах. В католических кантонах — Цуге, Люцерне — пиршество красок сохранилось. Конечно, каждая постройка реставрирована с помощью самой современной строительной техники; швейцарцы не отапливают зимой улицы, как венгры. Турист, если он находится тут продолжительное время, получает почти иммунитет к множеству средневековых построек, которым где-нибудь в другом месте, наткнувшись хотя бы на одну, дивится, раскрыв рот. Зато он будет искренне поражен, попав случайно в такое поселение, где история домов уходит в прошлое не далее, чем история какой-нибудь крестьянской семьи, то есть, скажем, до прадеда, и где альтштадтом (старым городом) называют квартал или кварталы, которые в других городах вообще не обозначают на карте, чтобы туда не забрел ненароком какой-нибудь турист. Таков, скажем, город Винтертур, о котором неискушенный путешественник долго думает, что это — название турфирмы, и не может понять, почему туда идут поезда: неужто в Швейцарии зимний туризм считается настолько важным, что к туристическому офису направляются целые железнодорожные составы? Правда, в городке этом, когда-то известном своей промышленностью, не счесть великолепных, один другого лучше, музеев. Здесь, например, находится лучшая в стране, а может, и в мире, тщательно подобранная частная коллекция, которую подарил городу промышленный магнат Оскар Рейнхарт, поступив так же, как в свое время, в начале XX века, поступали Генри Клэй Фрик, Джон Пирпонт Морган или Эндрю Карнеги в Нью-Йорке, — может быть, для того, чтобы усмирить угрызения совести, ведь кто знает, как было собрано их богатство; или тайно надеясь, что благодаря этим коллекциям они будут жить и после смерти; хотя, конечно же, все это пус-

тая иллюзия: жить будет только коллекция. Есть, конечно, такое понятие — "посмертная жизнь", но с точки зрения жизни — это совсем не жизнь.

У нас в Венгрии импортированный из Неаполя король Роберт Карой как раз пытался укрепить центральную власть, когда на швейцарских землях Вильгельм Телль между делом отстоял для своей родины независимость (1307) и благодаря этому стал символом мировой свободы, попав даже на венгерские игральные карты. С тех пор страна, не считая редких пожаров, лишь богатела; швейцарцы сохранили для потомства не только золотые монеты, но даже старинные рождественские елочные украшения. Культ Вильгельма Телля тут существует и цветет. Его имя носит множество учреждений, ресторанов, гостиниц, особенно в Центральной Швейцарии, где легендарный герой во время бури освободился от стражников. Да оно и понятно: на Фирвальдштетском озере, близ Люцерна, буря не станет помогать никому, только настоящему герою. TELL, TELL, TELL, Tell — куда ни глянь. Если ты понятия не имеешь о легендарном герое, который попал стрелой в яблоко на голове собственного сына, то, не задумываясь, зайдешь куда-нибудь, где над дверью висит вывеска "TELL", в надежде починить забарахливший мобильник, а потом изумленно вытаращишь глаза, когда, вместо починки телефона, тебе попытаются навязать номер в каком-нибудь отеле за двести франков в сутки.

Здесь три основных государственных языка. Чаще всего и охотнее всего говорят по-немецки, и не только немцы; но из немцев мало кто знает итальянский или французский, а тем более ретороманский, этот архаичный, происходящий от латыни язык, который сохранили жители изолированных долин, составляющие едва ли один процент населения. Я выступаю в Будапеште вместе с ретороманским писателем (Арно Каменишем), он пишет и по-немецки, и на родном языке. Он настолько занят, что с выступления едет прямо в аэропорт. Странно: иногда какая-нибудь субкультура, кажущаяся незначительной, позволяет взлететь в самый центр мирового культурного рынка. Правда, для него, Камениша, трамплином послужил немецкий; так уж устроен англосаксонский мир: сначала перешагни немецкую границу, а там посмотрим, что ты собой представляешь. Ему удалось ее перешагнуть, так что теперь видеть, что он собой представляет, может любой. Правда, часто на встречах с венгерскими читателями в начале звучит реплика: а мы и не знали, что в Швейцарии румыны живут, и, когда наконец удается объяснить, что к чему, и уже минут сорок речь идет о литературе,

вдруг вылезает какой-нибудь дядюшка: а что, ретороманский — это диалект румынского? Или следом за ним какой-нибудь другой дядюшка: а что, ретороманы тоже верят в дако-румынскую теорию? Дядюшки эти так и не поняли того, что их тетушки поняли уже в самом начале. Может, потому, что на ухо туговаты, а слуховой аппарат не носят из тщеславия, или потому, что и на пенсии хотят выглядеть глубокомысленными, по крайней мере, перед женами своими, и поскольку не слышат, что происходит вокруг, все внимание сосредоточив на формулировке вопроса, то и не замечают, как краснеет рядом жена.

Я смеялся, глядя в кантоне Швиц на итальянца-велосипедиста, который пытался объяснить лифтеру, что он хочет взять с собой на гору велосипед; лифтер не знал итальянского даже на уровне "моя-твоя-не-понимай", а итальянец не знал ни немецкого, ни английского, так что в этой многоязычной, мультикультурной стране два собеседника вынуждены были прибегнуть к языку жестов; причем успешно. Три страны в одной, говорит мой спутник и изумленно качает головой, когда после педантичной немецкой Швейцарии мы прибываем в Тичино. Это — Италия, говорит он и блаженствует, встречая теплые взгляды, обходя на улице каких-то чокнутых типов. Он счастлив: здесь есть люди, которые способны чувствовать, здесь видно, где жизнь продиктована задачей, долгом, а где — сердцем.

Я дома, говорю я себе в Лугано, потому что действительно ощущаю здесь дом, особенно после долгих немецко-швейцарских месяцев, когда мое "я", проглотив аршин, настолько окостенело, что аршин уже практически проткнул мне глотку и сердце; чувство долга оставило мне один путь, как-то связанный с эмоциями, — самоедство, ибо это единственное чувство, которое совмещается с сознанием долга. Я чувствовал себя ни на что не годным человечишкой, дрянью, дерьмом, так как жаждал чувствовать себя хоть чем-то, а немецкое швейцарство допускало только такую эмоцию.

Я — дома, сказал мой спутник; но, наверное, он лишь потому чувствовал себя дома, что вокруг был сияющий солнечный день, а кто не почувствует себя дома в такую погоду, хотя он, может быть, понятия не имеет, каково здесь, когда на улице хлещет дождь, или минус двадцать и снег по пояс, или в лавке на него орут, как на собаку, или он заведомо идет туда в дерьмовом настроении, или здесь просто дерьмовое место, потому что это не Париж и не Лондон, а уж тем более не Нью-Йорк, потому что уже одно упоминание этих городов вызывает зависть у тех, кому он это говорит. Нет, просто

здесь такое место, о котором никто и не знает, что оно есть, о котором, прежде чем делиться своими впечатлениями, нужно подробно рассказать, что это в Швейцарии, на берегу озера Лугано и т. д.; правда, тут собеседник делает большие глаза: господи, да при чем тут это, место на карте — это место на карте, ты объясни, что там особенного; и, когда наконец кажется, что готово, ты нашел тон и краски, тебя вдруг спрашивают: а где это?

Путешественник может рассказать только о тех впечатлениях, которые получил сам, только о том дне, который он сам там провел, и очень удивляется, когда встретит кого-то, кто тоже там был, — удивляется, что два впечатления совсем не похожи друг на друга. Каждое путешествие создает некий фиктивный мир, думает он и умножает мир на число людей, а потом у него возникает мысль, что не каждый же человек путешествует, и потом еще одна мысль: кто не путешествует, тот тоже создает свой мир; а потом еще: один ли мир создает человек? И вот уже все выглядит так, что ты чертовски запутался, потому что в этой чертовой жизни не существует путеводителя. Как, бишь, там было? Кронос победил Хаоса, Зевс победил Кроноса, затем ты вспоминаешь, что родителями Кроноса были Уран и Гея и что там имела место какая-то фрейдистская проблема, вроде как Кронос оскопил Урана... Господи Боже, думаешь ты, даже греческая мифология усугубляет хаос в голове, а ведь все это было черт-те когда — как же тогда разобраться в дне сегодняшнем?..

Швейцария — центр международного финансового мира; в Цюрихе — на Парадеплац и на соседних улицах — парадом стоят все сколько-либо значительные банки. Здесь хранятся богатства величайших злодеев мира, здесь прячут свое состояние диктаторы, здесь находятся деньги нацистов, арабских кровососов, русских бандитов. И тщетно пытаются тертые нью-йоркские юристы отсудить хотя бы то, что в свое время было отобрано у евреев, они добиваются разве что половинчатого успеха, причем значительная часть этого половинчатого успеха возвращается не к тем, кто пережил Холокост, и не к тем, кто является их законными наследниками, — она остается у служащих тех самых манхэттенских адвокатских контор. А что касается украденного у народов Африки или Малой Азии, то оно, считай, утрачено навсегда. Страна или народ третьего мира никогда не получат даже того, что сумели выцарапать хитроумные манхэттенские адвокаты. Бдительные стражи банков и банковских тайн никому не позволят даже краешком глаза заглянуть в секретные сейфы, проверить, что хранят там стражи банков и банковских тайн.

Ты, может быть, уловишь, как подмигивают друг другу, переглянувшись, мошенники мирового масштаба, но, пока ты соберешься снять это на мобильник, лица у них разгладятся и они будут смотреть на тебя с невозмутимыми, подобно монетам и ценным бумагам, лицами.

Но в Швейцарии не только прятали деньги: в годы Первой мировой войны здесь спешили спрятаться художники-авангардисты, здесь нашел себе надежный приют Владимир Ильич в компании с другими революционерами; может быть, он даже играл в шахматы с Тристаном Тцара, основателем дадаизма: ведь они бывали в одном кафе. Вполне возможно, этот опасный мечтатель вознамерился реализовать в сфере реальной политики мысли дадаиста, решившего разложить искусство на первичные элементы, или идеи Андре Бретона, пропагандировавшего сюрреалистическое видение мира: так встретились на анатомическом столе советской действительности революция и миллионы трупов. В скучном, думающем лишь о деньгах городе Цюрихе дадаисты создают кабаре "Вольтер". Здесь родился "Улисс", в этой стране обосновались Томас Манн и Герман Гессе. На берегах озер, главным образом самых модных, Женевского, Цюрихского, а также, конечно, в окрестностях Люцерна, приобретали виллы голливудские кинозвезды и скопившие состояние футболисты. Сюда, в свой родной город Берн, бежал после прихода к власти нацистов Пауль Клее. Не захотел он, профессор Баухауса, быть повешенным рядом со своими полотнами. Можно сказать, он был самым знаменитым швейцарцем, и Берн отдал ему должное, построив огромный музей. В принципе — прекрасное здание, практически же здание, которое выполняет свои функции. Не здесь родился Александр Колдер, создатель мобильной скульптуры, который после одного визита к Мондриану отказался от всех прежних представлений о живописи; но здесь родился и здесь же умер его последователь Жан Тэнгли, для которого построил музей другой город, Базель. В галереях висит множество картин знаменитых художников, но едва ли можно найти самые известные их работы, скорее — второстепенные. Пожалуй, здесь больше всего уличных скульптур, но среди них нелегко увидеть действительно выдающиеся. Финансистам не нравится, что мир считает их этакими бесчувственными автоматами, и поэтому они охотно дают деньги на искусство. Они, дескать, тоже художники, и тоже, конечно, заслуживают уважения; но в действительности они — хитрые дельцы, они дают то, в чем могут уверить мучающихся сомнениями покупателей, что это хорошо, и навязывают им то, что не столь хорошо: дескать, это тоже хоро-

шо. Иной вариант я даже представить себе не смею: даже художники не знают, что из их продукции относится ко второй категории... В то же время на венгерский вкус — утешение, что страна не сплошь утыкана памятниками. Ну ладно, Цвингли в Цюрихе — понятно, в Женеве без монумента Реформации не обойтись; но приятно, что вокруг не мельтешат неведомые герои швейцарской истории. Швейцарцы словно пропустили одну ступень превращения в нацию: создание символического пространства. И все ж таки приятней смотреть в Цуге на разбитое железное сердце, чем, сидя в тени гигантской конной статуи, латать свое действительно разбитое сердце, напевая с надрывом: "Пожалей мое бедное сердце, нечем больше утешиться мне".

А вообще-то швейцарский франк — это своеобразная встреча финансов и культуры. Решение о том, что на купюры должны попасть выдающиеся представители швейцарской культуры, было принято путем референдума. Если денег у тебя мало, ты можешь познакомиться с портретом Ле Корбюзье: его на тысячной шкале оценили в десять франков. Композитор Артур Хоннегер на этой шкале поднялся немного выше, на двадцатку. Полусотенную купюру отдали женщине — отдали, конечно же, из гендерной политкорректности, уверены мужчины, которых просто корежит от всей этой свистопляски вокруг женского равноправия: хоть одна собака знает, кто такая была эта Софи Тойбер-Арп, кроме того, что она была женой Жана (по мнению других, Ганса) Арпа? Джакометти — на сотенной купюре; конечно, Альберто. Его отец, Джованни, и сам был первоклассным живописцем, но ведь рядом с прожектором свет карманного фонарика вообще не виден, сказали бы мы, пользуясь исключительно недоброжелательным сравнением. Литература получила место на двухсотенной купюре, и представлена она личностью Шарля Фердинанда Рамю, прекрасного романиста, о котором, увы, ничего не знают даже те, кто что-то слышал про другого швейцарца, Дюрренматта. Самым ценным, тысячным по тысячной шкале, стал Якоб Буркхардт, хотя о нем даже историки гадают, кто он такой: то ли знаменитый банкир, то ли философ, то ли раввин-чудотворец; впрочем, поскольку он — на тысячной купюре, то его черты в памяти туристов вряд ли будут запечатлены.

Уехать в Швейцарию — хорошо. Если вокруг война, если мир штормит, Швейцария — последнее безопасное место. Атомный бункер величиной с целую страну. И люди едут сюда, несмотря на все возрастающую строгость законов. На Базельском фармацевтическом заводе как раз закончилась сме-

на, рабочие, что проходят мимо меня, говорят по-польски, потом я слышу венгерскую речь вперемешку с примитивным английским, потому как polak-wienger... и так далее. У вокзала собравшиеся кучкой молодые негры разговаривают на каком-то неведомом африканском языке, на котором, наверное, в Африке говорят 50 миллионов, только мы, европейцы, не слыхали о нем — Африка нас не интересует. Пускай на здоровье варятся в собственном соку, дохнут от голода, умирают в войнах, но по возможности остаются там, где родились, а мы, так и быть, примем, пожалуй, пару дюжин, чтобы более пестрой стала улица. Азия тоже Европу не интересует; разве что нескольких одержимых, которые вне себя от восточной философии и усердно намешивают себе винегрет из какой-нибудь восточной религии, живут в Альпах, устраивают возле дома сад, японский сад, с Буддой, Шивой, князем Кришной и Ганешей, символическими фигурами самых разных восточных религий. Они думают, что очень близко подошли к сути азиатской философии и религии, хотя находятся от них до того далеко, что смешивают соперничающие религии. Но даже этим людям, как и ни одному из европейских потребителей, в голову не придет прикинуть, сколько заработал рабочий из Бангладеш, когда сшил штаны, которые наш покупатель, счастливый, покупает за гроши, и в каких условиях трудится тот рабочий: случись пожар — и пять сотен сгорят на фабрике, потому что безопасность там не обеспечивается даже на самом минимальном уровне. Подумаешь, какое дело. Они же не европейцы, а потому их жизнь ничего не стоит. Демагогия? Пускай так, но ведь это же правда. Мы — либералы, мы — демократы, но на самом деле мы желаем демократии только для себя, желаем демократии, благополучие которой строится на угнетении третьего мира. Демагогия? Если это правда, пускай демагогия. До каких пор мы будем воспринимать восемьдесят процентов населения Земли как людей второго сорта? Не дай бог, они тоже понакупают себе машин, не дай бог, у них соберется на это достаточно денег — что тогда станет с природой, со средой? Демагогия? Да. Потому что правда?

В Давосе — а где же еще! — на одном из самых дорогих курортов, каждый год собираются экономические авторитеты всего мира, ну и, конечно, финансовые воротилы, которые держат весь мир в своих руках, и несколько знаменитостей, определяющих общественное мнение, — собираются, чтобы придумать, как спасти мир. Они там решают, что понимать под словами “стабильное развитие” и чего заслуживает тот преступник, который родился в неудачной части мира. Тем

временем в больших городах Швейцарии проходят антиглобалистские и антикапиталистические демонстрации. Молодые леваки, которых это общество воспитывало преданными сторонниками капитализма, маршируют под лозунгами "Swipe out WEF!", "Smash capitalism!"[1] и другими в таком же роде. Кто знает, чье мнение — с точки зрения судьбы мира — отражает здравую точку зрения? Никто. Невозможно также сказать с уверенностью, имеет ли право сытая половина мира искать способ, как спасти этот мир, а если имеет, то способна ли она принять правильное решение касательно того мира, за счет которого живет. Я присоединяюсь к одной из демонстраций. Город Цуг. Полиция — во всеоружии. Активистов умело, профессионально отделяют от толпы симпатизирующих. Несколько сотен людей в форме окружают пару десятков совершенно безобидных, мирных, но сплоченных активистов. Кордон из вооруженных до зубов полицейских замыкает их со всех сторон; тут и там автозаки под защитой проволочных барьеров, позади их — водометы. Круг сужается. Все происходит быстро и четко, все отработано до секунды. Я оказываюсь внутри круга. Невозможно понять, чего добивается это войско от кучки молодых людей. Я спрашиваю девушку с телекамерой, которая стоит рядом: что тут будет и зачем они это делают? Точно не знаю, говорит она, скорее всего, запишут данные и отпустят. Мне как-то не по себе. Проходит полчаса, ничего не меняется; потом нас забирают поодиночке. Я примерно десятый. Двое полицейских держат меня за руки. Don't touch me![2], говорю я, но они и не думают меня отпускать, заставляют выложить все из карманов, обыскивают, записывают данные, фотографируют; я знаю, официальное название этого — задержание. На 24 часа мне запрещают находиться в центре города. Все это происходит во имя демократии и в ее защиту. Власть настолько боится всего, что на любое, самое незначительное, сопротивление реагирует с полной боевой готовностью. Ужасает эта, все более распространяющаяся, общегосударственная паранойя.

Я карабкаюсь на огромную гору, оказавшись почему-то в компании туристов с Востока, арабов. Великое изобретение туристической индустрии — сознание необходимости расшевелить зажиточные слои Востока. Убедить их: если они увидят эти здания, эти музеи, побывают в этих концертных за-

1. "К черту ВЭФ!" (Всемирный экономический форум), "Долой капитализм!" (*англ.*)
2. "Не трогайте меня!" (*англ.*)

лах, приобщатся к культурным ценностям, к которым вообще-то никакого отношения не имеют, — словом, внушить им: если они все это увидят, то станут иными. И через посредство туризма вытянуть деньги, которые эти зажиточные люди отобрали у своих соотечественников. Потому что они — организаторы, восточные агенты европейских предприятий. И они с удовольствием разбрасывают деньги, ведь денег у них столько, что им нелегко их истратить. Они — как дети, им все время чего-нибудь хочется.

Приезжают туристы; приезжают тайными путями иммигранты, как приехали когда-то сюда вон те тетушка с дядюшкой. В последнюю минуту, с какими-то невероятными ухищрениями пересекли венгерско-австрийскую границу (январь 57-го года). Перебрались они сюда по отдельности: тетушка, которая тогда была еще совсем молодой женщиной, с дочкой, дядюшка — на несколько месяцев позже. Где-нибудь он их догонит, так они договорились, и в самом деле, он их нашел в каком-то австрийском городе, а оттуда они уже вместе, спустя короткое время, перебрались в Цюрих. Они жизнь положили на то, чтобы войти в тамошний средний слой, тот слой, к которому принадлежали на родине. И им это удалось: немецким оба владели хорошо, хотя швицердюч, этот странный, только в устной форме существующий немецкий язык, не понимали; но серьезным препятствием это не стало, все вокруг разговаривают и на хохдойче, и ради них, как люди вежливые, сразу переходят на хохдойч.

Родня осталась дома, им они посылали фотографии с подробным описанием, где они, на каком курорте, в каком лыжном раю находятся; а о том, как они счастливы, и писать не надо было, это и так было видно по улыбке до ушей. Потом, когда уже можно было ездить на родину, все это они изложили и в устных рассказах. Нет, они вовсе не хотели бахвалиться, но венгерская родня, которая жила в убожестве, как все тогда жили в этой стране, — словом, венгерская родня едва выносила эти хвалебные гимны, словно любая рассказанная история была приговором их собственной пропащей жизни. Эти, некогда ближайшие, родственники, скажем, братья и сестры, которые росли вместе с ними, теперь совершенно не понимали их. А ведь уехавшие за границу соотечественники всего лишь хотели показать: они потому рассказывают о покупке новой машины или о каком-нибудь фантастическом круизе, чтобы самих себя уверить: как хорошо, что они уехали; хотя это совсем не было хорошо. Швейцарская квартира их уставлена реликвиями, которые они сумели вывезти с родины, домашняя библиотека состоит из старательно подоб-

ранных венгерских книг, на стенах — картины известных венгерских художников, и, хотя они поддерживают добрые отношения с соседями, с товарищами по работе, тем не менее по-настоящему хорошо, раскованно чувствуют себя, лишь встречаясь с другими сбежавшими на Запад венграми. Правда, они достигли того, чего хотели, дочь их говорит на местном языке лучше, чем на том, которому училась у матери. Ничего удивительного, говорят на это, со слегка самодовольной улыбкой, знакомые в Будапеште, ничего удивительного, что она смогла выйти замуж и оказаться в настоящей швейцарской семье. Это такая швейцарская семья, говорит тетушка, вообще-то всегда чувствовавшая некоторое пренебрежительное отношение со стороны семьи сватов, — это такая семья, которая живет в достатке уже столетия, и сын их тоже будет богатым, у него профессия, в которой просто невозможно не стать богатым, он даже еще и приумножит семейное состояние. И повезет новую семью на греческие острова, потом на тихоокеанские, во всякие экзотические места, например, на сафари в Африку, где африканских негров можно видеть именно такими, какими их следует видеть: с огромными тюками на спине, сгорбившимися под багажом белых туристов.

Да-а, вытащила девка счастливый билет, говорили будапештские родственники, а вот кто возьмет их дочерей? Швейцарец — точно нет; разве что какой-нибудь восточный немец или чехословак, если уж говорить об иностранцах. А вообще-то на иностранцев надеяться не приходится, наверняка свой, венгр, безрадостно говорит мать, и судьба у них будет такой же безнадежной, как у каждого венгра.

У всех этих страданий есть причина, говорил дядюшка в Цюрихе, в столовой своей элегантной квартиры, когда к ним приезжали будапештские родственники. Нет, не старики, ровесники дядюшки, а их дети; старики, те умерли, потому как венгерская медицина... ну, сами знаете, — ее пережить трудно. А дядюшка вот еще жив, благодаря невероятно дорогостоящему социальному обеспечению. Какое-то время, он, правда, был слаб, но чувствовал себя терпимо, во всяком случае, лучше, чем если бы помер, но даже в Швейцарии гарантия здоровья когда-нибудь да заканчивается, и теперь его ужасно мучают боли. Таблетки он не принимал, прятал их под скатерть, но об этом никто не знал. Тетушка тоже была больна, но она этого старалась не показывать, потому как дядюшка был болен серьезнее. Все сложилось так, как написано в книге судеб: сначала дядюшка, потом тетушка распрощались с этим миром, с горами, озерами, коровами с колокольчиком на шее, ну

и с воспоминаниями, которые связывали их с другим миром. Тетушка еще спросила у внуков, что они хотели бы получить в наследство. Спросила по-немецки: внуки ее были уже точь-в-точь такими, как любые другие швейцарские внуки. Ничего не надо, ответили они, и дочь ответила то же, потому что она уже не умела читать по-венгерски, а художников, чьи картины висели на стенах, не знала. У тетушки любимой была одна картина Кароя Лотца, которую она получила от своего отца, от того самого отца, который сказал ей: если вам когда-нибудь приспичит уехать, уезжайте в Швейцарию... Словом, все барахло, которое для дядюшки и тетушки представляло главную ценность, которое для них в этом благополучном мире означало дом и уют, попало к старьевщику, а тот почти все посчитал ни на что не годным. Может, за исключением нескольких предметов мебели да ковров, которые что-то значат и для швейцарца; остальное пошло на свалку.

Дядюшка попросил, пока еще мог просить: когда наступит конец, под которым он понимал конец жизни, а вместе с тем и конец боли, мучениям, — пускай его прах высыпят в озеро Зильсер, у которого они так часто бывали вместе с женой. Сколько они гуляли по тем дорожкам, сказал он со слегка влажными глазами, по которым ходил оставшийся в одиночестве Ницше, с каждым днем приближаясь к границе безумия; и дядюшка процитировал стихотворение, сочиненное великим философом в этих самых местах и высеченное там же на камне: “Я ждал, я ждал — неведомо чего, / мне чуждо было и добро, и зло. / Лишь воздух, и озерная вода, / и время, что бесцельно, как всегда... / Один — я стал Двумя на краткий миг, / и — Заратустра предо мной возник”.

Сделать это надо тайно, потому что сыпать прах в озеро строго запрещено. Швейцария — страна законопослушная, дисциплинированная. Что запрещено, то запрещено. Но вы все-таки высыпьте, сказал он. Река Инн понесет прах в Дунай, Дунай — дальше, в самое море. А я еще раз пересеку те страны, — сказал он (какое-то время он был еще и гражданином Румынии), в которых я жил.

Спустя год пришла очередь тетушки. Ее прах, как и прах дядюшки, семья тайком высыпала в Зильсерзее. И с тех пор этот прах медленно влечется по течению, через страны и города, чтобы когда-нибудь, в море, тетушка догнала-таки дядюшку.

Ролан Топор

Рассказы из сборника “Кафе Паника”

Перевод с французского Софии Спиридоновой

История То Ли Еще Будет

В первый раз в кафе “Паника” меня привел человек по имени До Дна, ему не терпелось представить мне своего знакомца; этого малого звали За Стаканом, и, как сказал До Дна, мы с ним были просто созданы друг для друга. Тогда я счел это кафе превосходным. Все вина, что мы заказали в тот день, были весьма хороши; Две Минутки, девушка, служившая за стойкой, премило улыбалась, и дверь находилась так близко, что нам казалось, будто мы сидим прямо на тротуаре улицы Риволи. Такие мелочи и делают простую забегаловку привлекательной. Кроме того, и это немаловажно, здесь было прекрасное освещение. Отчасти благодаря патине, покрывавшей стены и потолок, но также, быть может, потому, что круглые лампы из матового стекла были не совсем чистыми, в воздухе как будто витала золотая пыль и обволакивала собой все вокруг. Вот только телефон висел в подвале рядом с мерзким туалетом, но в Париже надо быть готовым к любым сюрпризам.

Я легко нашел общий язык с тем малым, которого звали За Стаканом, да и с остальной компанией тоже. Мы провели большую часть дня, разговаривая обо всем на свете, как вдруг Катящийся Вниз ни с того ни с сего спросил меня, чем я занимаюсь по жизни.

— Да всякими трюками, — отмахнулся я.

— Как, ты не знаешь, кто это? — воскликнул До Дна, набивая мне цену. — Он — юморист. Рисует всякие ужасы: людей, разрезанных на кусочки, младенцев, прибитых гвоздями к дверям, сцены, где актеров заваливает дерьмом...

© Rolan Topor
© София Спиридонова. Перевод, 2017

Катящийся Вниз как будто вспомнил, что и впрямь где-то слышал обо мне.

— Ты что, комедиант?

— Вовсе нет, в конце концов, если угодно...

— А то эти комики только вгоняют меня в тоску. Вот уж и правда не люблю смеяться по команде.

Он хотел было отчего-то расплакаться, но я как мог убедил его, что я не комедиант, хотя по большому счету мне было плевать.

— А то, видишь ли, — объяснил Катящийся Вниз, — знавал я одного комедианта. Этот тип, а звали его То Ли Еще Будет, лет десять халтурил во всех кафе-театрах на левом берегу[1] до тех пор, пока известный импресарио Фифти-Фифти не взял его под свою опеку: он занял место знаменитого актера Ах-Ах, который умер, после того как на спор проглотил двенадцать дюжин улиток за двадцать минут. Этот импресарио сразу смекнул, на что способен То Ли Еще Будет; надо было только сделать из него популярного актера, четче обрисовать характер его персонажа и найти хороших темачей. Что до самого То Ли Еще Будет, то он больше всего на свете хотел преуспеть. Он был работягой, отличался умом и сумел по достоинству оценить небескорыстные советы Фифти-Фифти. Их союз очень скоро принес неожиданные плоды. То Ли Еще Будет невероятно быстро сорвал кассу. За какие-то два-три месяца он получил широкую известность и даже затмил славой Ах-Ах. Цифры, в которых измерялись его гонорары, содержали столько нулей, сколько пузырей поднимается в стакане воды от таблетки алька-зельтцера. Его слава распространилась по ту сторону Атлантики. Он стал любимчиком американцев. Но не мог оставаться за границей больше месяца, поскольку, говорил он с серьезным выражением, "именно французская публика дарует мне право быть комедиантом". Фифти-Фифти заботился о своей курочке, несущей золотые яйца, еще нежнее, чем мать оберегает свое дитя.

Он испытывал невыразимую тревогу при мысли о том, что То Ли Еще Будет может бросить его, заболеть или стать жертвой какого-нибудь несчастного случая. Он заставлял своего подопечного регулярно наблюдаться у лучших врачей и сидеть на очень строгой диете, так, чтобы пища, которую он употреблял, не содержала красителей. Более того, Фифти-Фифти отклонял большую часть предложений, чтобы избежать перегрузок. Поэтому, когда на голову бедного комика

1. Имеются в виду парижские кварталы на левом берегу Сены, которые считались и до сих пор считаются средоточием интеллектуальной жизни. (*Прим. перев.*)

посыпались несчастья, никто не мог обвинить Фифти-Фифти в том, что он был не вполне предусмотрителен.

Первым делом То Ли Еще Будет потерял жену. Он был вместе с ней на гастролях в одной южной стране, там она подхватила какой-то вирус и умерла через два дня. Он чувствовал себя виноватым и оттого горевал еще больше. Газеты и телевидение заваливали публику откровениями о случившейся драме, всячески обыгрывая образ грустного клоуна, который вынужден шутить, как прежде. "Жестокий закон спектакля" — вот под каким видом подавалось произошедшее в прессе. Фифти-Фифти, проявляя участие, расторг все контракты своего знаменитого протеже и посоветовал ему взять отпуск, чтобы прийти в себя. Но как раз во время этих каникул глупейшим образом погибла единственная дочь То Ли Еще Будет, которую он обожал, тем более что была она копией своей матери: малышка утонула в свой пятый день рождения, потеряв сознание в холодной воде в двух метрах от берега. Обезумев от горя, То Ли Еще Будет выбросился из окна своего номера, находившегося на пятом этаже. Он не разбился насмерть, но так изувечил себе позвоночник, что отныне не мог передвигаться иначе, как на маленькой каталке и затянутым в металлический корсет, который причинял ему страшные муки. Газеты и телевидение старательно отслеживали эту череду трагических событий, добавляя к ним массу излишних подробностей. Широкая общественность была глубоко тронута. Люди принимались рыдать, стоило им услышать одно только имя То Ли Еще Будет. Он получал тысячи сочувственных посланий, письма, мокрые от слез, которые должны были приободрить его. На улице неизвестные пожимали ему руку, произнося при этом глубоко прочувствованные фразы вроде:

— Держитесь, трудности надо преодолевать. Мы все болеем за вас.

Фифти-Фифти отсрочил все намеченные спектакли.

— Видишь ли, я прекрасно понимаю, что ты больше не хочешь выступать. Не думай обо мне, я найду другого. Мы можем прямо заявить, что ты уходишь со сцены.

— Об этом не может быть и речи, — ответил То Ли Еще Будет. — Зрители — это моя семья. Теперь, когда я потерял все остальное, я еще больше нуждаюсь в них. Мой жребий — смешить публику. Я обязан ей всем.

Фифти-Фифти украдкой проглотил слезу и с силой сжал плечо своего мужественного друга. Но в жизни этого человека черная полоса еще не закончилась. За несколько дней до его торжественного возвращения на парижскую сцену Фифти-Фифти попал под колеса городской поливочной машины. Группе

телевизионщиков, которые пришли взять у комика интервью, после того как погребли его друга, он сказал только одно:

— Сегодня я оплакиваю друга, но спектакль состоится в намеченные сроки.

Стоик, он не бросил репетировать. Зрители плакали, слушая его поистине уморительные монологи и наблюдая за его неподражаемой мимикой. Конечно, кресло-каталка стесняла То Ли Еще Будет, но его дар был такого рода, что он сумел извлечь выгоду из этого неудобства. Режиссер с покрасневшими и высохшими от слез глазами публично поклялся, что на своем веку не встречал подобного комедианта. Журналисты лихорадочно писали слезливые статьи. Земля была сплошь усыпана бумажными платками, влажными от слез. Все было исполнено благоговения и достоинства, как редко бывает даже во время визита Папы в Париж. Но когда То Ли Еще Будет появился на сцене (а он начал одноактную пьесу с небольшим опозданием), его встретили такой же бурной овацией, как генерала де Голля после освобождения Парижа. Потрясенный таким знаком расположения со стороны публики, комедиант был не в силах начать свой первый скетч: ком стоял у него в горле. Вначале публика была удивлена молчанием своего любимца, но вскоре зрители поняли, что произошло. Раздались крики “браво, браво!”. Зрители стоя приветствовали комедианта, которому приходилось оставаться в кресле. Незабываемый вечер. Вновь обретя дар речи, артист, шмыгая носом, смог наконец приступить к рассказу о слепом хирурге. Зрители испускали отчаянные стоны, помня о тех трагических событиях, что просвечивали за шутовским фасадом. Но всеобщее отчаяние достигло предела, когда он исполнил свой самый блестящий пассаж: изобразил, как виртуоз защищает свое пианино, которое пираты взяли на абордаж, и при этом продолжает играть похоронный марш Шопена. Многие зрители падали в обморок, а кто-то даже видел, как уважаемые бизнесмены рыдали навзрыд, вытирая глаза носовым платком. Женщины заламывали руки, испускали душераздирающие крики, и рабочие сцены, не в силах продолжать спектакль, опустили занавес, не дождавшись его окончания. Лишь одно событие омрачило эту картину триумфа: толпа чуть было не учинила расправу над молодым провокатором, которому хватало наглости веселиться посреди всеобщей печали.

После спектакля То Ли Еще Будет поехал в модную пивную в компании нескольких верных друзей, чтобы съесть на ужин лукового супа с тертым сыром.

— А теперь что ты собираешься делать?

— Смешить других, как и прежде. Ведь это лучшая в мире профессия.

История Болгарского Нрава

— БЫВАЮТ же, однако, толстокожие, — воскликнул Болгарский Нрав. — Вот послушайте, как-то на Пасху поехал я в Нормандию, где у меня есть небольшой домишко...

Мы прервали его, чтобы заказать выпивку и "гильотину" — бутерброды с сырой ветчиной, нарезанные кубиками.

— Так вот, приезжаю я в пятницу вечером, к семи часам, и уже с порога чувствую: что-то неладно. Как будто запах сигары.

И вообразите, натыкаюсь на грабителя, который как раз преспокойно набивает себе карманы, да еще имеет наглость курить сигару. Представляете? И более того, у него скверный вид, у этого малого. Заметив меня, он тут же бросает прямо на ковер зажженную сигару и достает нож со штопором длиной с кисть руки. Я действую решительно: растоптав сигару, хватаю кочергу, валявшуюся в камине, и со всей дури бью его по морде!

— И что же, тот угомонился?

— Как бы не так! Он заляпал кровью мой ковер, но все еще угрожал мне ножом, при этом издавая отвратительное урчание, которое поднималось у него откуда-то из глотки... А я-то думал, что укокошил его... Но вот он подходит все ближе, ближе; тогда, хоть я всегда был против насилия, я еще раз как врежу ему кочергой прямо по макушке. Он испускает ужасающий крик...

— И откидывает копыта?

— Как же. Шатается, истекает кровью, но не падает. Напротив, нетвердой походкой опять приближается ко мне и все так же урчит... Кошмар!

— И что же ты сделал?

— Не долго думая, пустился наутек. Вот я бросаюсь в машину, жму на газ, разворачиваюсь, сминая свой цветник, и, как вы думаете, кого я вижу при свете фар? Своего знакомца: он был жестоко искалечен, но, даю вам голову на отсечение, урчал все громче и громче, закатив глаза и угрожая мне ножом. Что ж, я настолько потерял голову, что даже не объехал его. И вот я переезжаю его и мчусь, не останавливаясь, до самой трассы. Сворачиваю и торможу перед каким-то кафе, проехав всего километров двадцать. Мне надо было выпить чего-нибудь для смелости. И что ж я вижу? Мой грабитель прицепился к буферу: ножа он не бросил, все так же урчит и плюется зубами — прямо сказать, выглядел он не лучшим образом. Ему удалось отцепиться от буфера, оставив на нем немалую часть ляжки, и вот он снова идет на меня с угрожающим видом, готовый вонзить в меня нож... Я улепетываю со всех ног, бегу

вдоль трассы... Меня подбирают шпики. Должно быть, вид у меня был совершенно растерянный... Они решили, что я попал в аварию и повезли меня в госпиталь, в приемный покой. Я не помнил себя минут десять и, как цуцик, дрожал от страха, чего прежде никогда со мной не было, как вдруг дежурная полицейская машина привозит еще одного раненого... Угадайте, кто это был. Увидев меня, он тотчас принимается страшно урчать и бросается на меня с ножом в руке... И говорить не приходится, что от страха у меня мурашки пошли по коже. Шпики уже исчезли, я орал во всю глотку, но никто не пришел. Тогда, сделав обманное движение, я ловко ускользаю от него через окно. То был первый этаж. Не успел я встать на ноги, как вижу, мой живчик летит следом — но повезло ему меньше, чем мне: он напоролся на колья ограды. Ножа он само собой не выронил. Я рассудил, что лучше к нему не подходить, и отправился пешком до вокзала, за десять километров от больницы. Прихожу на вокзал, а там вроде бы какой-то малый бросился под поезд. Пассажиры прождали с полчаса, затем поезда стали ходить снова. Я уверен, что это был он. Хотелось бы мне знать, выкрутился ли он на этот раз.

Едва Болгарский Нрав произнес эти последние слова, как с улицы Риволи донесся звук сильного удара. Кричали люди, машины сигналили...

— Что происходит? — спросил Болгарский Нрав у хозяйки кафе.

Он был мертвенно-бледен.

Она пожала своими жирными плечами.

— Что вы хотите, едут не глядя, на зеленый свет! Какого-то малого только что сбила машина... Кажется, его дело плохо.

Болгарский Нрав жалобно простонал:

— Это он. Я уверен, что это он!

— Брось, это все нервы... Ты разволновался и воображаешь невесть что...

— Говорю вам, это он... Через пять минут он переступит этот порог и, урча, направится к столу с ножом в руке... Он подходит все ближе, ближе...

Но несчастный просто бредил. Пять минут спустя к нам вышла Две Минутки. Ножа у нее не было, она не только не урчала, а несла нам добавку. Но, честное слово, это было некстати.

Потому что, заметив ее, Болгарский Нрав лишился чувств.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой
Совместно с радио “Свобода”

Megan Marshall *Margaret Fuller: New American Life.* — Houghton Mifflin Harcourt, 2013

Думаю, что имя писательницы и журналистки Маргарет Фуллер ничего не говорит широкому российскому читателю. Она писала и была знаменита не больше двух десятилетий в середине XIX века и не оставила произведений, которые бы сохранили свою ценность до нашего времени. Да и в Америке ее слава держится в довольно узком кругу литераторов и интеллектуалов. Но в этом кругу она — легендарна. Это видно из названий книг о ней: “Женщина и миф”, “Жизнь романтической американки”, “Разные жизни Маргарет Фуллер”. Новейшую биографию (2013) ее автор — Меган Маршалл — назвала “Маргарет Фуллер: Новая жизнь в Америке”, имея, очевидно, в виду новую вспышку интереса к писательнице.

Маргарет Фуллер можно сравнить с Галатеей. Но создал и оживил ее не влюбленный художник, а любящий отец. Юрист и выпускник Гарварда, Тимоти Фуллер был знаменит своей эрудицией и домашним деспотизмом. Томас Хиггинсон — известный общественный деятель и литератор того времени — писал о нем: “Тимоти Фуллер и его братья были людьми энергичными, напористыми, успешными и не имеющими никакого представления о такте”.

Отец заметил способности Маргарет, когда ей было три года. В это время умерла при рождении его вторая дочь, и Тимоти возложил все свои отцовские надежды и амбиции на маленькую Маргарет. В четыре года она читала, в шесть — прекрасно писала и начала учить латынь. И далее расписание занятий становилось все напряженней, а требования все выше. В девять лет Маргарет мучили ночные кошмары, в юности — мигрени, в зрелом возрасте — приступы депрессии. Многие знакомые обвиняли Тимоти в жестокости. Сама Маргарет писала об отце:

> Он надеялся сделать меня наследницей всего, что знал. Я — как Минерва, богиня мудрости, появившаяся на свет из головы отца... Отец был человеком, не питавшим к женщинам сентиментальных чувств, но он искренне верил в равные умственные возможности обоих полов.

Маргарет Фуллер стала женщиной блистательно умной, разносторонне образованной и восхитительно остроум-

ной, но на редкость уродливой. Она была полной, с нездоровой кожей и гнусавым голосом. Постоянное чтение развило у нее близорукость, и она пыталась ее компенсировать, сутулясь при ходьбе и вытягивая вперед шею, как цапля. В романе "Женщина в XIX веке" Фуллер дала своей героине (своей альтер эго) шекспировское имя Миранда. Но Миранда Шекспира покорила принца с первого взгляда, а про свою героиню Фуллер писала:

К счастью, Миранда была начисто лишена чар, которые привлекают льстецов. Она была сильной, зажигательной натурой, отпугивавшей тех, кто не чувствовал ее обаяния, и привлекавшей тех, кто его понимал.

Это правдивое и умное объяснение не исцеляло сердечной боли. В дневнике она писала: "Я всегда буду царствовать в мире интеллекта. Но жизнь!.. Жизнь!.. О Боже, неужели она никогда мне не улыбнется?"

Но она царствовала. Ей было тридцать пять лет, когда она познакомилась с Уолдо Эмерсоном — уже тогда легендарным философом-трансцеденталистом, поэтом, эссеистом, оценившим статьи и эссе Фуллер. По его приглашению Маргарет приехала в Конкорд и на две недели поселилась в доме Эмерсонов.

Поначалу Эмерсону гостья показалась самонадеянной и назойливой. Не было двух более непохожих людей: Эмерсон — сдержанный, рассудительный и ироничный; и Маргарет — шумная, артистичная и искренняя. Но уже через несколько дней Эмерсона абсолютно покорил едкий юмор Маргарет, который смешил его до слез, и ее рассказы и рассуждения, которые он определил как "самые увлекательные из всех, какие можно услышать в Америке". "В общении с Маргарет, — писал он, — чувствуешь себя так, словно тебя пересадили из конуры в большую комнату, где ты расправляешь плечи, растягиваешь суставы и вырастаешь до самого своего предела.

Педагог Олкотт, в чьей школе Маргарет преподавала, и Эмерсон навели ее на мысль сделать серию платных бесед для женской аудитории. Темы варьировались от греческой мифологии до немецкого романтизма, но ее главной темой стала проблема женской судьбы в человеческой истории. "Беседы" стали невероятно популярны, продолжались с 1839-го по 1844 год и завершились книгой "Женщина в XIX веке" — фундаментальной работой в истории феминизма.

В 1846 году Маргарет решила открыть Старый Свет. Она приняла предложение издателя газеты "Нью-Йорк трибюн" стать ее иностранным корреспондентом.

Репутация Фуллер опередила саму путешественницу. В Лондоне она познакомилась со знаменитой Джордж Элиот, написавшей рецензию на ее книгу; в Париже встретилась с Беранже, и однажды, без приглашения, постучалась в дверь дома Жорж Санд. Та приняла ее в обычном женском платье, и они провели вместе весь оставшийся день — в нескончаемых спорах. Маргарет восхищалась

смелой француженкой, она писала: "Санд не нуждается в защите, потому что бесстрашно следует своей природе". Любопытно, что самой Маргарет – для того чтобы последовать сексуальной смелости Жорж Санд – было необходимо благословение мужчины.

И такого мужчину она встретила перед самым отъездом из Парижа в Рим – Адама Мицкевича, польского поэта-изгнанника, который переживал кризис в отношениях с женой, жил с гувернанткой своих детей и собирал в Париже силы для устройства революции в Польше. Краткий (и платонический) роман Маргарет с Мицкевичем был ее первым опытом взаимности. Правда, поэт признался ей, что "не готов дать ей то, чего она заслужила, – то есть всего себя", но он понял и сформулировал главную недостачу в жизни Маргарет: "тебе не хватает и самого секса, но, главное, – честности признаться себе в страстном желании его иметь".

Любви Маргарет страстно желала и панически боялась. Эмерсон говорил: с точки зрения мужчин, "у Маргарет слишком много пушек". Эдгар По писал: "Есть три категории людей: 'мужчины, женщины и Маргарет Фуллер'". И все же она нашла своего мужчину – за два года до смерти, точней, до гибели.

В бунтовавшей Италии 1848–1849 годов известный журналист Джузеппе Мазини (член триумвирата мертворожденной Республики) ввел Маргарет в круг революционеров. Она посылала свои репортажи из осажденного французами Рима и ухаживала в госпитале за ранеными. С Джованни Оссоли она познакомилась на площади Св. Петра.

Одна из специфически римских историй – история любви ученой старой девы с Севера, нашедшей свою весну в Италии с таким человеком, как Джованни Оссоли, то есть абсолютно для нее не подходящим. Он был аристократом с прекрасными манерами, без копейки денег, без профессии, не знавшим английского языка и почти не читавшим книг. Она забеременела сразу, и, когда они в 1850 году собрались ехать в Америку, их сыну было уже полтора года. Свидетельства об их браке нет, но известно, что они купили билеты на американское торговое судно на имя маркиза и маркизы Оссоли.

Судно попало в шторм и налетело на мель на подходе к Нью-Йорку, у самого Лонг-Айленда. До берега было рукой подать, и почти все матросы спаслись, включая капитана. Но пассажиры погибли.

Литературные друзья Маргарет после ее гибели занялись цензурой ее дневников, писем и, главное, биографии, исключив из нее сомнительный брак. Удручающее большинство их считало, что гибель была для нее лучше неминуемого позора, который ждал ее в Америке. Даже Натаниэль Готорн писал: "Судьба милосердно поместила Маргарет, ее младенца и ее клоунского мужа на борт обреченного корабля". Между тем во время судебного разбирательства по поводу гибели судна выяснилось, что несколько

матросов видели, как выбежавшую на палубу Маргарет сбила в воду упавшая мачта, и ее "клоунский" муж передал ребенка стюарду и бросился за ней в волны. Мальчик тоже утонул — вместе со стюардом, который пытался его спасти.

Литература и публицистика Маргарет Фуллер не пережила ее век, но о ней можно сказать то, что она сама сказала про Жорж Санд: "Жизнь этой женщины гораздо убедительней доказала необходимость новой интерпретации женской природы и женских прав, чем все, что она написала".

SONIA PURNELL *Clementine: The Life of Mrs. Winston Churchill.* — Viking, 2015

Во множестве книг об Уинстоне Черчилле историки и биографы обычно игнорировали его жену. Клементина Хозиер, с которой Черчилль прожил 57 лет, если и появлялась в этих книгах, то вскользь — как преданная спутница жизни. Единственная биография Клементины была написана ее дочерью Мэри Сомс, но кто поверит портрету, созданному дочерью? И вот, наконец, полная, документированная биография, написанная известной политической журналисткой Соней Парнелл. Книга называется "Клементина. Жизнь миссис Уинстон Черчилль". Рецензент Миранда Сеймур пишет в газете "The Telegraph":

Премьер министр Асквит называл молодую Клементину Черчилль "оглушающе скучной". Его известная своей категоричностью жена считала Клементину "черствой и дерзкой молодой особой без чувства юмора". Адмиралу Бити — коллеге Черчилля по Адмиралтейству — Клементина, наоборот, казалась "доброй и любезной дурочкой". Невнимательные историки представляли ее "тихой мышкой, чуть ли не раболепно преданной мужу".

Новая биография рисует портрет совсем другой женщины. Черчилль посвящал ее во все дела, включая самые секретные; она была советником мужа во всех решениях — даже военных, и она была одним из немногих людей, кто умел противостоять Черчиллю.

Знаменитая невестка Черчиллей Памела Гарриман вспоминала: "Только Клементина могла сказать Уинстону "нет", и она говорила это часто, часто, часто". Эта биография показала нам женщину редкого обаяния, женщину-дипломата, смягчавшую отношения Черчилля со Сталиным, с Рузвельтом, с де Голлем, с королевским домом, а иногда и с собственным народом, — словом, женщину, без которой карьера Черчилля могла бы не состояться. Книга открыла нам глаза.

Высокая, красивая, царственная Клементина была недостаточно безупречного происхождения для того, чтобы стать женой будущего премьер-министра, потомка древней аристократии, внука графа Мальборо:

Титулованный отец Клементины не очень интересовался продолжением рода, и ее будущая мать — сексапильная, скучающая

и одинокая леди Бланш — искала утешения на стороне. На свадьбе с Черчиллем Клементину вел к венцу не отец, а лорд Редсдэйл — дядя, заботившийся о ней не просто по-родственному, но по-отцовски.

Это не остановило молодого Черчилля, потрясенного красотой и умом Клементины. После первой встречи он писал ей: "Какое наслаждение — встретить девушку такого ума и интеллигентности". А после пятидесяти лет (!) брака он писал:

Женитьба на умной, твердой, но и сложной женщине — самое блестящее мое достижение. Что может быть великолепней, чем союз с существом, не способным на подлую мысль?

Рецензент Эмма Мэсон назвала свою статью на сайте "History Extra" "Шесть неожиданных свойств Клементины Черчилль". Одним из первых автор называет отсутствие аристократического высокомерия. В детстве Клементина знала и горе утраты (у нее умерла любимая сестра), и отсутствие заботы (ее ветреная мать забывала кормить детей), и бедность. И во время Второй мировой войны царственная Клементина руководила девятью рабочими столовыми, а в дни бомбежек добровольно вызывалась тушить на крышах зажигательные бомбы.

Вторым "неожиданным" свойством Клементины была душевная смелость и независимость. Она была убежденной либералкой и гневно осуждала партию консерваторов, лидером которой был ее любимый муж. Мэсон пишет:

Их ссоры носили эпический характер. На Даунинг-стрит приступы ярости Клементины стали легендарными. Черчилль говорил: "В минуты ярости она похожа на ягуара, прыгающего на тебя с дерева". И часто просил о мире именно он. Черчилль хотел нравиться жене, тем более, когда чувствовал ее правоту. Он называл ее шутливо: "Та, чья команда — закон!"

В книге Уильяма Манчестера "Последний лев" знаменитый американский историк описывает те вихри идей, которые роились в голове Черчилля, часто приводя в замешательство его коллег и подчиненных. И, судя по биографии Парнелл, только Клементина решалась противостоять его невыполнимым требованиям. Недаром начальник штаба Черчилля генерал Исмэй писал в воспоминаниях: "Без Клементины история Уинстона Черчилля — и всего мира — была бы другой".

"Клементина была секретным оружием Черчилля", — пишет рецензент Миранда Сеймур. И далее:

Политическая карьера требовала терпения и дипломатии, а Черчилль не был силен ни в том ни в другом. К счастью, его жена оказалась гением дипломатии: она разъясняла взаимонепонимания; исправляла ситуацию после его ошибочных решений или светских "фо па". Она давала ему советы, как себя вести в трудных политических обстоятельствах. После катастрофы 1915 года в

Дарданеллах, в которой винили Черчилля как инициатора атаки на Галлиполи, Клементина посоветовала ему пойти на фронт и так заставить общество простить ему трагическую ошибку. Это был очень рискованный шаг, но он спас репутацию Черчилля.

Клементина мирилась с разницей своих и мужа политических взглядов, но считала себя его политической совестью. Она добивалась от него проведения социальных реформ, когда он был министром, и расширения прав женщин.

Биограф Парнелл, описывая Клементину с явной симпатией, не скрывает и недостатков, которые ей приписывают. Например, многие считали ее холодной матерью и отчасти этим объясняли то, что у четверых из пяти детей Черчиллей была несчастливая судьба. Только младшая дочь Мэри была удачлива — именно она и написала биографию матери. Но даже она признавала: "Для матери всегда нужды и интересы отца были на первом месте. И на втором. И на третьем". Невестка Памела, жена сына Черчиллей Рэндолфа, намекала на сомнительные поступки Клементины во время войны. Рецензент Сеймур пишет:

Клементина (вместе с Черчиллем) якобы участвовала в сводничестве соблазнительной и веселой Памелы с влиятельными американцами в Лондоне: журналистом Морроу и дипломатом Гарриманом — ради получения нужных сведений. Правда, сама Памела была искусной манипуляторшей, и ее явно самооправдательные воспоминания — наименее убедительный источник информации в книге Парнелл.

Брак Черчиллей был бурным. Самыми счастливыми для Клементины были ранние годы, когда молодой Черчилль — тогда либерал — часто шел против своего класса и даже семьи. Клементину тех лет помнят спортивной, веселой и смешливой. И смех у нее был "звонким — в отличие от тихих смешков Черчилля".

Рождение пятерых детей; смерть трехлетней дочери; требовательный эгоизм вечно занятого Черчилля; его частое отсутствие и постоянная нехватка денег поубавили счастья в жизни Клементины. (Кстати, мало кто знает, что годами главным источником дохода Черчилля были его литературные заработки.)

Период между войнами был эмоционально самым тяжелым для Клементины. Она дважды собиралась уходить от мужа и даже завела короткий роман. Черчилль же, судя по всему, никогда жене не изменял.

Вторая война снова сблизила их и сплотила необыкновенно. Черчилль как-то сказал Рузвельту, что он ничего и никогда не скрывает от жены. Рузвельт был так поражен, что даже записал это признание в своем дневнике.

Черчилль умер в 1965 году. На похоронах Клементина положила цветы на гроб, и ее внучка услышала, как она тихо сказала: "Я скоро буду с тобой". Но она прожила еще тринадцать лет и за это время похоронила троих из своих пятерых детей.

Эвелио Росеро
Evelio Rosero
[р. 1958]. Колумбийский писатель. Лауреат Национальной литературной премии [2006] и др.

Автор трилогии *Первый раз* [*Primera vez*, 1984–1988], романов *Сеньор, не знающий луны* [*Señor que no conoce la luna*, 1992], *Плутон* [*Plutón*, 2000], *Человек хотел написать письмо* [*El hombre que quería una carta*, 2002] и др. В *ИЛ* напечатан его роман *Благотворительные обеды* [2016, № 10].
Перевод публикуемого романа выполнен по изданию *Los ejércitos* [Barcelona: Tusquets Editores, S. A., 2007].

Жозе Режиу
José Régio
[наст. имя Жозе Мария душ Рейш Перейра]
[José Maria dos Reis Pereira]
[1901–1969]. Португальский писатель, поэт, драматург, литературный критик, историк португальской литературы, издатель влиятельного литературного журнала *Presença* [1927–1940]. Лауреат Большой премии Ассоциации португальских писателей [1963], Национальной поэтической премии Португалии [1970; посмертно].

Автор поэтических сборников *Стихи о Боге и о Дьяволе* [*Poemas de Deus e do Diabo*, 1925], Фаду [Fado, 1945], *Сын человеческий* [*Filho do Homem*, 1961], *Лёгкая музыка* [*Música Ligeira*, 1970], романов *Принц Ослиные Уши* [*O Príncipe com Orelhas de Burro*, 1942, экранизирован в 1980], *Женские истории* [*Histórias de Mulheres*, 1946, *частично экранизирован в 1986*], пьес *Иаков и ангел* [*Jacob e o Anjo*, 1940], *Бенильда, или Богоматерь* [*Benilde ou a Virgem-Mae*, 1947, экранизирована в 1975 и 1991], *Король Себастьян* [*El-Rei Sebastiao*, 1949, экранизирована в 2004], *Спасение мира* [*A Salvaçao do Mundo*, 1954] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Стихи о Боге и о Дьяволе* [*Poemas de Deus e do Diabo*. Coimbra: Atlântida, 1926].

Мануэл Алегре
Manuel Alegre
[р. 1936]. Португальский поэт, политик, депутат парламента Португалии. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Ассоциации литературных критиков Португалии [1998], Большой поэтической премии Ассоциации португальских писателей [1998], Большой литературной премии [2016]. Кавалер Большого креста и Ордена Свободы.

Автор многих поэтических сборников, в том числе *Судно, идущее на Итаку* [*Um Barco para Ítaca*, 1971], *Корабли из зелёной сосны* [*As Naus de Verde Pinho*, 1996], *Госпожа Буря* [*Senhora das Tempestades*, 1998], *Книга португальца-бродяги* [*Livro do Português Errante*, 2001].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Площадь песни* [*Praça da Canção*. Lisboa: DOM QUIXOTE, 2015].

София Де Мелу Брейнер Андресен
Sophia de Mello Breyner Andresen
[1919–2004]. Португальский поэт. Лауреат многих литературных премий, в том числе Большой поэтической премии Ассоциации португальских писателей [1964], премий Международной ассоциации литературной критики [1983], Петрарки [1995] и главной португальской литературной премии – премии Камоэнса [1999].

Автор книг *День моря* [*O Dia do Mar*, 1947], *Новое море* [*Mar Novo*, 1958], *Назидательные новеллы* [*Contos Exemplares*, 1962], *Плавания* [*Navegaçoes*, 1983], *Истории земные и морские* [*Histórias da Terra e do Mar*, 1984] и др. Ее стихи переведены на многие европейские языки.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Новое море* [*Mar Novo*. Lisboa: Assírio & Alvim, 2013] и из антологии *Море* [*Mar*. Lisboa: Editorial Caminho, 2002].

Луиза Нету Жорж
Luiza Neto Jorge
[1939–1989]. Португальский поэт, переводчик, сценарист.

Автор семи поэтических сборников, в том числе *Ночь позвоночная* [*Noite Vertebrada*, 1960], *Неподвижная земля* [*Terra Imóvel*, 1964], *Девятнадцать новых песен* [*Dezanove Recantos*, 1969].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Поэзия* [*Poesia*. Lisboa: Assírio & Alvim, 1993].

Даниэл Фариа
Daniel Faria
[1971–1999]. Португальский поэт, готовился стать монахом.

Автор семи поэтических книг, в том числе *Объяснение Деревьев и Других Животных* [*Explicaçao das Árvores e de Outros Animais*, 1998], *Люди как места, плохо расположенные* [*Homens Que Sao Como Lugares Mal Situados*, 1998], *Жидкости* [*Dos Líquidos*, 2000].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Поэзия* [*Poesia*. Vila Nova de Famalicao: Quasi Ediçoes, 2003].

Ирина Фещенко-Скворцова
Поэт, эссеист, переводчик. Кандидат педагогических наук. Член Союза российских писателей. С 2003 г. живет в Португалии.

Автор четырех книг стихов, литературно-критических эссе, статей об особенностях поэтической техники отдельных португальских авторов, более 60 научных публикаций по проблемам творчества в педагогике и психологии. Переводила португальских, бразильских, испанских поэтов, в их числе Ф. Пессоа и его гетеронимов.
В *ИЛ* напечатана ее статья о А. Нобре *Когда он родился, родились мы все* [2012, № 9], статья *Триумфальный день Фернандо Пессоа*, перевод поэмы С. Верде, сонетов Ф. Эшпанки, фрагментов романа-эссе Ф. Пессоа *Книга неуспокоенности*, португальских легенд Ж. Маркеша, очерк *Записки эмигранта* [2015, № 7] и др.

Лидия Дэвис
Lydia Davis
Американская писательница, лауреат многих престижных наград, в том числе Международной Букеровской премии [2013].

Автор романа *Конец истории* [*The End of the Story*, 1994], нескольких сборников рассказов и сборника эссе о литературном переводе *Пруст, Бланшо и жещина в красном* [*Proust, Blanchot and Woman in Red*, 2007]. Переводчик произведений М. Пруста, М. Бланшо, М. Бютора, М. Фуко и др.
На русском языке вышел сборник ее рассказов *Что-то со мной не так* [2016].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Разновидности расстройства* [*Varieties of Disturbance.* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007].

Цэрэнтулгын Тумэнбаяр
Монгольская писательница. Лауреат премий Д. Нацагдоржа [2006], Союза писателей Монголии, *Золотое перо* [2011].

Автор 10 книг, в том числе *Крылья ласточки* [1985], *Шаманка* [1993], *Предсказанный волк* [1998], *Травка гвоздики, Золотая монета Туракины хатан*, а также телевизионных и радиопьес *За независимость, Государственный титул Монгол, Белая ночь нового года, Яйцеклетка, Путешествие без обратного билета.*
Публикуемый рассказ взят из сборника *Предсказанный волк* [*Мэргэнд буусан шагай.* Здоровье, 1998].

Ласло Дарваши
Darvasi László
[р. 1962]. Венгерский прозаик и поэт. Лауреат премий Аттилы Йожефа [1998], Милана Фюшта [2005], Шандора Мараи [2008] и др.

Литературную деятельность начал как поэт. Автор сборника стихов *Антал Хоргер в Париже* [*Horger Antal Párizsban*, 1991], сборника стихов и рассказов *Португальцы* [*A portugálok*, 1992], исторического романа *Легенда о плачущих скоморохах* [*A könny-mutatványosok legendája*, 1999], сборников рассказов *Розовые кусты Вейнхагена* [*A veinhageni rózsabokrok*, 1993], *Моя любовь, товарищ Думумба – венгерские новеллы* [*Szerelmem, Dumumba elvtársnő – magyar novellák*, 1998], *Лоянские охотники на собак* [*A lojangi kutyavadászok*, 2002] и др. Его произведения переводились на русский, английский, французский, немецкий, нидерландский, испанский, чешский, македонский языки. В *ИЛ* печатались его рассказы [1997, № 2].
Публикуемые рассказы *Ki ne szeretne meg egyzer meguezni egg filmet* и *Papagai* взяты из книги *Бог. Дом. Семья* [*Isten. Haza. Csal.* Budapest: Magvető, Kiadó, 2015].

Цю Хуадун
[р. 1969]. Китайский писатель. Работал главным редактором журнала *Молодежная литература* [*Циннянь вэньсюэ*], сейчас занимает пост заместителя главного редак-

Автор десяти романов, составляющих две серии: о городской жизни современного Пекина – *Ночное обещание, Дневная суета, Полуденное признание, Цветы и рассвет, Профессор*, и о деятельности европейцев в Китае в Новое время – *Подзорная труба, Верхом на летучей рыбе, Город Джанайдар, Узник времени* – и исторического романа *Бессмертие*, а также повестей, рассказов, рецензий на кино-

тора журнала *Народная литература* [*Жэньминь вэньсюэ*]. Лауреат литературной премии имени Чжуан Чжунвэня, премий журналов *Шанхай вэньсюэ*, *Шаньхуа*, *Гуанчжоу вэньи*, премии *Чжунго цзоцзя* за лучшую редакторскую работу и др.

фильмы, очерков об архитектуре, эссе, путевых заметок, стихов. Его произведения переводились на японский, корейский, английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский и др.
Публикуемый рассказ взят из журнала *Литература Гуанси* [*Гуанси вэньеюэ*, 2016, № 3].

Милован Марчетич
Милован Марчетић
[р. 1953] — сербский поэт, прозаик. Лауреат восьми национальных премий. Основатель и главный редактор ежемесячника *Белградский литературный журнал*.

Автор семи стихотворных книг, сборников рассказов *Жизни поэтов* [*Живоши песника*, 1986], *Мой Голливуд* [*Мој Холивуд*, 2000], *Первое лицо* [*Прво лице*, 2003], романа *Книга о Беуке* [*Књига о Беуку*, 2014].
Перевод публикуемых рассказов осуществлен по изданию *Записки на снегу* [*Записи на снегу*. Белград: Службени гласник, 2012].

Поль Верлен
Paul Verlain
[1844–1896]. Французский поэт, заложивший основы импрессионизма и символизма в поэзии.

Автор сборников стихов *Подруги, сцены сапфической любви* [*Les Fmies. Scènes d'amour sapphique, sonnets*, 1867], *Любовь* [*Amour*, 1888], *Женщины* [*Femmes*, 1890], *Мужчины* [*Hobres (hommes)*, 1891], *Песни для нее* [*Chansons pour elle*, 1891], *Плоть* [Chair, 1896].
В *ИЛ* напечатаны его стихи из сборника *Параллельно* [2012, № 7], статья *Шарль Бодлер* [2014, № 10], сонет *Похороны* [2016, № 1] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Ваксмахера [2002] и *Мастер* [2008], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Про́клятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], Ю. Киискинена [2009, № 9], Й. Инкалы [2009, № 9], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические*

тексты П. Пикассо [2007, № 10], Ж. Роденбаха [2011, № 11] и др.

Ричард Престон [р. 1954]. Американский писатель.

Автор трилогии *Темная биология* [*Dark Biology*]: *Горячая зона* [*The Hot Zone*, 1994]; по этой книге снят фильм *Вспышка* [1995], *Операция Кобра* [*The Cobra Event*, 1998] и *Демон в морозильнике* [*The Demon in the Freezer*, 2002], романа *Micro* [в соавторстве с М. Крайтоном] и научно-популярных книг.
Перевод текста выполнен по изданию *Нью-Йоркер* [*New Yorker*, 2011, № 4].

Янош Хаи
Háy János
[р. 1960]. Венгерский прозаик, поэт, драматург. Лауреат премий Милана Фюшта [2001], Атилы Йожефа [2002], Шандора Мараи [2009] и др.

Автор романов *Джигердилен (именины сердца)* [*Dzsigerdilen (a szív gyönyörüsége)*, 1996], *Парень* [*A gyerek*, 2007; рус. перев. 2014], *Подземный гараж* [*Mélygarázs*, 2013], сборника рассказов *По эту и по ту сторону брака* [*Házasságon innen és túl*, 2006], сборников стихов *Боги* [*Istenek*, 1998], *Теплая дверная ручка* [*Meleg kilincs*, 2008], *История одного любовного стихотворения* [*Egy szerelmes vers története*, 2010], пьесы *Сын дяди Питю* [*A Pityu bácsi fia*, 2005] и др. В *ИЛ* напечатаны его рассказы [2015, № 5 и 2016, № 12].
Публикуемые тексты взяты из книги путевых очерков *Страна, город, парень, девушка* [*Ország, város, fiú, lány*. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2016].

Ролан Топор [1938–1997]. Французский писатель-сюрреалист, художник, артист, сценарист, телережиссер.

Автор книг *Жилец* [*Le Locataire chimérique*, 1964], *Принцесса Ангина* [*La Princesse Angine*, 1967], *Юбилей Йоко* [*Joko fête son anniversaire*, 1969], *Истинное естество Девы Марии* [*La Véritable nature de la Vierge Marie*, 1995] и др., рассказов, пьес, стихов для песен. Его карикатуры стали классикой XX века; рисовал мультфильмы, иллюстрировал книги, снимался в кино.

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Переводчики

Ольга Кулагина

Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик. Лауреат премии *Инолит* [2016].

Переводила тексты в области финансов и информационных технологий. В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа*, *Хоински*, *Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Н. Олгрена [2016, № 1], романы Х. Ибаргуэнгойтиа *Мертвые девушки* [2016, № 2], А. Неумана *Барилоче* [2016, № 4], Э. Росеро *Благотворительные обеды* [2016, № 10].

Елена Суриц

[Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премий *Инолит* [1994, 2009], *Единорог и Лев* [2006], *Мастер* [2006].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга. Дж. Стейнбека, С. Беллоу. Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стринберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* [2008, № 9] и *Не беспокоить* [2008, № 9] М. Спарк, *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10], *Миссис Шекспир* Р. Ная [2009, № 6], *Мемориал* К. Ишервуда [2011, № 3], *Стекло* С. Сэвиджа [2012, № 5] и др.

Сэнгээ Эрдэмбилэг

[р. 1951]. Переводчик с монгольского. Живет в Чехии.

В его переводе опубликованы рассказы современных монгольских писателей, среди них Д. Норов, Д. Намсрай, Л. Улзийтугс, Б. Номинчимид, Х. Болор-Эрдэнэ.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Максим Владимирович Леонов

[р. 1978]. Переводчик с корейского и венгерского языков. По образованию историк-кореевед.

Автор статей по истории корейского буддизма *Связь вон-буддизма с традиционными учениями Дальнего Востока*, *Буддийско-конфуцианская полемика в Корее конца XIV — начала XV веков*. В его переводе опубликована подборка классической корейской поэзии *Поэзия Кореи* [2008]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Алина Андреевна Перлова

Переводчик с китайского языка, преподаватель.

В ее переводе был опубликован рассказ *Ода к радости* Ай Вэя [2015], очерк *Убийство на Большом Хингане* Вэй Лин [2016] и главы из романа *Тетушка Тацуру* Янь Гэлин [*Неман*, 2017, № 1]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Василий Николаевич Соколов

[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Б. Чосича *Роль семьи в мировой революции* и *За что боролись*, М. Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе напечатаны фрагменты книги *Наставники* [2004, № 3; 2006, № 10] и фрагменты *Записных книжек Музиля* [2013, № 4] Б. Чосича, повесть М. Капора *Зеленое сукно Монтенегро* [2007, № 9], рассказ Р. Братича *Ты куда, Моисей?* [2012,

№ 4], новеллы В. Тасича, А. Тишмы, Г. Чирьянича, М. Мичич-Дымовской, Р. Бели-Марковича [2015, № 11] и др.

Александр Александрович Авербух
Переводчик с английского, преподаватель. По образованию биолог.

В его переводе вышли книги Э. Маккинти *Деньги на ветер* [2012] и Д. Лихэйна *Прощай, детка, прощай* [2013]. Переводил также фильмы для студий SDI-Медиа и СВ-Дубль. В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы Э. Энрайт [2016, № 3] и повесть Р. Форда *Прочие умершие* [2016, № 10], рассказы и афоризмы Д. Паркер [2016, № 12].

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], премии *Иполит* [2011], премии Милана Фюшта [2011], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

Переводил Л. Немета, М. Сабо, Д. Конрада, И. Кертеса, Я. Хаи, П. Фаркаши, Ш. Мараи, М. Корниша, Л. Дарваши, Л. Краснахоркаи, С. Эрдега, Д. Ийеша, Д. Драгомана, И. Силади, Д. Петри, И. Оравца, Б. Балашши, Ф. Кёльчеи, Л. Сабо и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

София Спиридонова
Переводчик с французского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

В оформлении обложки
использован
фрагмент картины
колумбийского художника
Фернандо Ботеро
[р. 1932]
Насилие в Колумбии [2000].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.03.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 5256.
Тираж 2700 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

[5] 2017

РАССКАЗЫ АЛЕКСА ПРЕСТОНА / ПОВЕСТЬ АНДЖЕЯ МУШИНСКОГО “ПАГУБНОЕ” / СОВРЕМЕННЫЕ ЯПОНСКИЕ РАССКАЗЫ / CARTE BLANCHE: “МОЙ КУБИНСКИЙ ЛАРЬ” ПАВЛА ГРУШКО / “ЛОВУШКА” ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / NB: ИЗ КНИГИ “МИР ИДЕТ” ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ / И ДР.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ISSN 0130-6545 17004 9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №4, 1–288